



КАРИНЭ АРУТЮНОВА

ПАТАРАГ

чышышршұқ

КАРИНЭ АРУТЮНОВА



ПАТАРАГ  
чышышршұқ

ИЗБРАННОЕ

КАРИНЭ АРУТЮНОВА

պարտարագ

# ПАТАРАГ

ИЗБРАННОЕ

Київ

Друкарський двір Олега Федорова

2022

**УДК 821.161.1'06(477)-3**

**A86**

**Арутюнова, Карине В'ячеславівна**

**A86** Патарак / К. Арутюнова. — К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2022. — 416 с.

**ISBN 978-617-8082-05-5**

Пока книга готовилась к публикации, началась война. И многие темы этой партитуры оказались пугающе актуальными. В который раз, окунаясь в прожитое, мы переживаем не только свершившееся, но и настоящее, мы вновь и вновь приносим в жертву самое святое, и это, пожалуй, главная тема бытия. И главная тема этой книги.

**УДК 821.161.1'06(477)-3**

**ISBN 978-617-8082-05-5**

© Арутюнова К. В., 2022

© Федоров О. М., видавець, 2022

Когда художник берёт в руки кисть, на каком языке он пишет? Когда композитор создаёт музыку, на каком языке она звучит?

«Патараг» в переводе с армянского — литургия, воспевание. И жертвоприношение.

И хотя в этой книге звучит множество голосов, голос и интонация автора первичны.

У этой книги нет линейного сюжета. Это, скорее, полифония, состоящая из разных музыкальных тем, написанных в разное время и в разной тональности, но объединённых сквозной мелодией. Не воспоминанием, не перечислением безвозвратно ушедшего.

Воспевание сиюминутного. Литургия по уходящему.







# ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

## КАК РАНЬШЕ

Успокаивает то, как раньше. Как раньше, несмотря на смог и пыль, вдруг откуда-то шлейф августовский горьковатый, и некто в шлёпках и майке, насвистывая, пересекает по двору с прижатым к животу арбузом, и где-то, совсем близко, как раньше, вспыхивает светлячок — ах нет, это зажжённая сигарета, но вспышка из густоты сумерек точно утешение.

Или, как раньше, буковки «Аптека» — не то чтобы светятся, но подаёт признаки жизни, и там, за толстым стеклом и перегородками, живёт старый провизор Гольдберг — а вы и поверили! — нет, там тётенька с буклями седыми, которая и родилась с этими буклями прямо в аптечном окошке, я её с детства помню... хотя нет, постойте, вот этого уже точно быть не может, видимо, всё-таки это её дочь, или племянница, или просто двойник, копия, клон. Хозяйка такого небольшого государства, в котором пастилки от кашля и укропная водичка для младенцев по-прежнему в цене — как раньше; грохочет трамвай, ничего ему не делается, те же рельсы и те же провода, и пассажиры глядят в мутные окна, провожая взглядом неказистую архитектуру окраин.

Серое так и осталось серым — пыль, дома, разбитые ступени.

Подземный переход, как раньше, гнетёт скудным освещением; как раньше, одна лампочка либо выбита, либо украдена, — но вот чудеса, я больше не боюсь (как раньше) темноты, я больше не семеню, затаив дыхание, не ускоряю шаг, иду ровно, нарочито уверенно (не так, как раньше).

Когда поезд проезжает станцию «Днепр», ты видишь всё ту же статую и реку, и сидящие напротив летние люди как будто просыпаются, и нет человека, который не посмотрел бы вдаль, сузив зрачки от внезапного света.

Как раньше, волнуют человеческие лица и голоса, радуется тяжёлая припорошенная пылью кисть винограда (почти как «изабелла»); как раньше, есть ожидание чего-то непременно особенного и важного, что должно произойти, — письма, напоминания, встречи. Как раньше, нараспашку окно, и не хочется думать о том, что ещё немного, и всё изменится, — впрочем, как и раньше, наступят долгие ранние сумерки, лишённые бесхитростного тепла.

Как раньше, живёшь сегодняшним, откладывая покупку зимних ботинок на потом. Потом будет потом, и оно никогда не будет таким, как раньше.

\* \* \*

Это было в какой-то другой жизни. Торшер казался диковинным пришельцем, книги таили секреты неизведанных миров. Уютный вечер, топот босых ног, хруст свежеснеженного снежка (помните укрытый пуховым одеялом двор?), тени на стене и наивные истории с картинками на белой простыне голосом папы или мамы или даже старшего брата. Счастливое время диафильма. Пыльная коробочка с плёнками — целое богатство! Огромный непостижимый мир, подвластный колёсику проектора. Главное, дождаться темноты, задёрнуть шторы, расставить стулья.

Многое стирается из памяти, распадается на фрагменты (точно стёклышки в калейдоскопе), стена становится просто стеной, торшер — торшером. Тикающие ходики остались в другой жизни. Никто не всматривается в белую простыню, никому и в голову не придёт повесить её на стену, достать с антресолей заветную коробочку с историями и выключить свет.



# ПЕТУШОК НА ДНЕ ТАРЕЛКИ

*Ляле*

Такой камерный день, сумерки уже с утра, и такая оглушающая тишина, прерываемая редкими каплями дождя и утопающими в ней, тишине, далёкими голосами. Хорошо просыпаться в мансарде старого дома с толстыми кирпичными стенами, с видом на крыши близлежащих домов, наблюдать, как меланхоличная дымка, точно облачко пара, проступает то тут, то там. Хорошо в подробностях воссоздавать ушедший в небытие мир: громко тикающие ходики с гирькой, накрытый скатертью овальный стол, горячий маслянистый свет лампы — он отражается в черенке мельхиоровой вилки, в золотистой кромке нарядного блюда, в глубокой синеве небольшого чайничка-заварника (есть ещё большой, пузатый, точно купчиха).

Словно долгий и тихий сон, в который погружаешься без колебаний, — далёкая, полная иносказаний и полутонов жизнь, она вся будто на ладони. И, если поднять голову, многократно повторённые и размноженные (в люстре) отражения мирно обедающего семейства вызовут беспричинный (для непосвящённых) смех.

Одно огорчало меня, один небольшой штрих — почти сырые яйца всмятку, которые подавались, точно главный приз, в этом гостеприимном доме и, видимо, считались необыкновенно полезными, они вызывали острый приступ неприятия и неповиновения.

Такой мягкий отсвет на лицах, такие долгие-долгие сумерки. Как жаль, что больше не будет раскладывающихся выкрашенных белой краской ставен, за которыми тень старой акации и постукивание костяшек домино. Глубокая мерцающая синева, золотой ободок, особенный, распространяющийся аромат вываренного и выглаженного постельного белья — сколько за этим ежедневного, нескончаемого труда.

Спать в чистом. Есть с красивого. Свет должен быть тёплым, янтарным, часы — точными. Юная пастушка в смешных панталонах подмигивает из недр массивного серванта (о, сколько неизведанных чудес скрывается за створками его).

Со дна глубокой тарелки проступает нарисованный безвестным художником петушок в щегольских сапожках. Я помню отчётливое ощущение триумфа при виде проявляющегося сквозь толщу бульонных вод) петушиного гребня. Тёплое, густое, округлое. У мирных времён свои приметы, их надо держаться в смутные времена.

## ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Всё вернётся на круги своя, и люди вновь начнут радоваться бесхитростным вещам. Луковице, прорастающей в двухсотграммовой баночке из-под майонеза, первому огурцу и первой редиске (когда-то у всего были сроки, дети мои, и у редиса, и у огурца, и, не про нас будь сказано, у клубники).

Всё цвело, плодоносило и увядало в законные, отведённые для этого Создателем сроки.

Я помню сводящий с ума запах первого весеннего огурца, хруст настоящей редиски, я помню (сквозь створки рам и ставен) чью-то недостроенную дачу, даже не дачу, а так, участок, сидящих за наспех сколоченным столом детей (среди них вижу себя), мятый картофель в стеклянной банке, благоговейно разрезанный (вдоль брюшка) огурец, неспешные беседы взрослых (о, таинство далёких миров), нас, ошалевших от обилия воздуха (такого же свежего, как огурчик на блюде), света (впрочем, солнце клонилось к закату, но и это было дополнительным бонусом к долгому счастливому дню).

Как вновь обрести утерянное очарование повседневности, тривиальности даже (кивают пупырчатые малосольные огурчики из кем-то зака-

танных банок), и кем-то сваренное варенье (о, будь трижды благословен вяжущий вкус кизила) покоится себе в хрустальном своём обрамлении, уютно так, точно в детской ладони, — янтарные складки желе таят в себе неразгаданные секреты ушедших миров.

Подумать только, эка невидаль — огурец. Да у нас, господа, этих огурцов... каких хочешь. Как и варенья, и джема — в нарядных баночках-упаковках — рядами теснятся на полках, ждут своего часа. Быть съеденными. Не всуе, не наспех. Ведь, если задуматься, никакого смысла в этом обилии всего, если нет спроса. Вожделения. Дрожащей от нетерпения руки, срывающей запретный плод.

Как хороша яичница (с подрагивающими яркими желтками посередине) — после ночи любви на продавленной поколениями койке, как божественен сладкий чай в подозрительно мутном стакане, как изнурительно прекрасен начинающийся за оборванными шторами весенний день.

Мир был открыт и светился — без фильтра и ретуши, без добавления яркости и контраста, — контрастов хватало идущим в обнимку нам, — мимо цветущих деревьев, затрапезных кафешек с нечистыми стаканами, мимо костёла и пока ещё незыблемых постаментов — свидетельств эпохи, которая, казалось, будет всегда.

Яичница, жареный картофель, разрезанный вдоль огурец.

Чем прозрачней собственное существование, тем ярче потребность восстановить (хоть как-то, по крупицам) картину мира. Вернуться к скудости (обретая яркость) вкусов, желаний — начать с негативов, с набросков углём, чёрной тушью, по дюйму (осторожно) добавляя резкости, растирая границы, — отходить, любясь сотворённым — бедностью, тишиной, вспыхивающим в ней, тишине, смыслом. И только потом браться за пастель, акварель, темпера.

Оставляя главное — на потом. Чтобы не растерять окончательно. Тот самый вылепленный с божественной смелостью мир, в котором каждый штрих и звук подобен бесхитростной трапезе за наспех сколоченным столом. Где всё настоящее. Редиска с грядки, блистающий гранями огурец, чертополох, растущий у забора, ты сам, сидящий у стола.

## ХАНУКА

И нфлюэнца — слово витиеватое, изысканное, прозрачное, как сегодняшнее небо. Холодная голубизна безусловно лучше унылой серости в ватных комках и войлочных потёках. Холодная голубизна декабря усмехается, дразнит, она будто намекает на то, что в жизни всегда есть место празднику, но праздник в декабре недолговечен, он заканчивается к четырём. Ещё остаётся Пьяццолла, он хорош именно после четырёх, ближе к вечеру, его рвущая сердце струна выжимает, выкручивает, вытряхивает, будто из старого сундука, письма, фотографии. Рассекает заштопанные небрежно прорехи, затянутые швы, и вот уже распластаный, молящий о пощаде декабрь у ваших ног — солнце ушло, только мандариновая россыпь напоминает о предвкушении, которое, как вы помните, имеет место в декабре.

\* \* \*

Зима, точно ватный кокон, обёртывает, укутывает, погружает в ранние сумерки. Сиди тихо, напеваешь, не суетись, — видишь — снежный ком катится? А за ним саночки? А на саночках краснощёкий в цигейковой шубке? Не узнаёшь?

Санки столкнули с горки, и вот он, этот головокружительный полёт! Скрип полозьев, серебристое похрустывание схваченного ледяной коркой снега! Уши закладывает от скорости, отваги, сладкого ужаса. Скорость меняет отношение к бытию. Улица перестаёт быть скучной. На тебя летит старушка с бидоном, карапуз, похожий на космонавта Юрия Гагарина, столбы кренятся, порхают, дома отплясывают краковяк.

Подъезд принимает тебя, бывалого и отважного, впитывает топот ног, быстро растекающиеся лужицы, лязг металла по бетонным ступеням. Ты больше не равен себе, бледному домашнему растению, с опаской и одышкой (сквозь плотные одежды, тесёмки, колючий шарф) вззирающему в темноту лестничного пролёта.

Улица становится притягательной, она влечёт — неизвестностью, бесконечностью, непредсказуемостью событий. Она пугает (всегдашней чуждостью в сравнении с домом, всегда одним и тем же, с его понятными запахами, с его мирами, — как отличается, однако, светлая студенческая обитель родителей от тёмного, перенасыщенного горестями и шёпотами пространства другой комнаты — и вправду далёкого мира, в котором много странного, забавного, тягостного и печального) и окрыляет, потому что только там (за пределами стен) существует эта самая скорость, этот ветер в ушах, это сладкое чувство непринадлежности ничему и никому, отдельности, важности самостоятельно сделанного шага.

Вылепленный жестокими мальчишескими руками снежок летит в лицо, это больно, обидно, но времени на обиду нет, торопливо сброшенные варежки свисают на предусмотрительно подшитых резиночках, пальцы горят от холодного ожога, немеют, но вот он, триумф, — кривой колобок, тяжёлый, как пушечный снаряд, летит вдогонку обидчику, и тут уже и вовсе некогда, не завопить «мама», да и кому вопить, окошко наглухо закрыто, ещё и заклеено (будто бинтами) специальной бумагой и обложено (как страдающее ангиной горло) комками жёлтой ваты, и потому ничего иного не остаётся, как быть жестоким и отважным, выдыхающим вместе с морозным паром робость и беззащитность ведомого за руку.

\* \* \*

Взрослые не вдавались в подробности, что за праздник такой. Но мне он нравился, этот странный праздник, который не отмечали ни в школе, ни по телевизору.

Во-первых, бабушка, таинственно посмеиваясь, звала меня в коридор и там, озираясь по сторонам, совала мне в ладонь рубль, а то и целых три.

— Спрячь, — шептала она, — чтобы старый дурак не увидел.

Старый дурак (да простит меня боженька), думаю, кое о чём всё же догадывался, но помалкивал. Так что не такой уж он был и дурак.

Далее. Намечался торжественный поход в гости. Тесные нарядные ботиночки (красно-коричнево-кожаные) поскрипывали раздражающе. Ненавистное платье, которое я в приступе любопытства пыталась изрезать маникюрными ножницами. Долгое путешествие на трамвае.

Но уже во дворе пахло ванилью, вишней, сдобой, и торопливые шаги за дверью предваряли длинный-длинный вечер в самом тёплом доме моей жизни.

И всё было неважным и существующим в иной, параллельной реальности, в общем абсолютно и беспросветно чужой, — сад, школа, все эти безжизненные структуры и институты, — всё было неважным и бесконечно далёким от главного.

А главное было здесь, в старом подольском доме, за круглым столом, где по правую руку было добро, а по левую — любовь, по правую — дед Иосиф, а по левую — бабушка Рива. Остальное довершали книжные полки, настенные часы и маленькие ходики с гирькой.

\* \* \*

В белом есть примирение. Внезапное успокоение, отрешённость, утешение. В пухлой белоснежной подушке тонут звуки. Можно вообразить себя буддийским монахом на склоне собственных лет. Врываются запахи, воспоминания. Если замереть (точно так же, как это делает природа), можно ощутить движение времени. Шорох секунд. Вращение жерновов. На засвеченной плёнке проступают лица, силуэты. Праздничное мерцание лампочек.

\* \* \*

Пожилой мужчина раскладывает пасьянс. Беззвучно перебирает карточки, тасует, меняет местами. Заносит кисть над внезапной перспективой. Будто управляет собственной жизнью, подсчитывает мгновения. Расставляет приоритеты. Не нужно ему мешать.

\* \* \*

Хрупкие, точно ёлочные игрушки, воспоминания. Глаза её полуприкрыты, с губ срываются слова. Смешные, почти невнятные. Птичий язык, нафаршированный звуками другой (за пределами твоего существования) жизни. Этого языка больше нет, как и этой породы птиц.

Она из местечка, и дед её из местечка, и дед её деда. Что там было? Две бакалейные лавки? Хедер? Синагога? Староста? Кантор? Резник? Я не могу прорваться туда, сквозь заколоченную дверь. Небрежно прорисованные углём детали — согбенные плечи, пыльные одежды, а вот и снег, укрывает неслышно, выравнивает, примиряет.

\* \* \*

Сколоченный из фанеры ящик. С треском отсоединяется верхняя часть с торчащими скошенными гвоздями. Я вижу, как несёт он его (на вытянутых руках) по проложенной между сугробами тропинке, как светится (ожиданием, предвкушением) лицо.

Я погружаю пальцы в благоуханные кущи. Мерцающие плоды, не отделённые от гибких ветвей и сочных листьев. Так пахнет канун. Цитрус.

\* \* \*

Она закрывает глаза, вдыхая запах снега, заботливо собирает (за створками век) воспоминания — слева журчит позабытое птичье, справа — голубоватый свет уличного фонаря. Кто-то идёт по тропинке, сгибаясь под тяжестью чуда. Чудо пахнет хвоей, мандаринами, вяжет язык, покалывает нёбо.

\* \* \*

Вспомни подробность каждого движения. Она проступает из ватного кокона, удивлённо ложится в ладонь. Невесомость. Детские пальцы познают (сквозь осколки, порезы) меру осторожности в любви.

## НА УЛИЦЕ ЗАКОЛДОВАННОЙ РОЗЫ

Из подвала тянет сыростью — ещё один признак близкой во всех отношениях весны. Помимо птичьего пения и обострённого обоняния, которое для утончённых натур отнюдь не дар. За окнами — чавканье мокрых подошв, стрекотание лап и голоса.

«В жизни всегда есть плюс и минус, видишь ли», — случайный голос за окном способствует отрезвлению и молниеносному переходу из мира беспорядочных сновидений в бодрствующий, но не менее хаотичный.

Голос на редкость мягок, доброжелателен, боже мой, какой музыкой может быть речь. Без привычного беззлобного матерка, без пьяного мычания, — видишь ли, душа моя, во всём есть плюс и минус, — носитель чарующей интонации удаляется вместе с голосом, унося тайну мироздания с собой, — все эти «мы не властны над», «послушай, дружок, а сейчас я расскажу тебе сказку», — волшебство начиналось с первых тактов, с внезапного щелчка, с поскрипывания и шипения иглы, протёртой трепетно, допустим, одеколоном «Весна», — послушай, дружок, сейчас я расскажу тебе сказку, — сверчок, хозяин музыкального магазинчика, пан Такой-то, овладевал вниманием со знанием дела, с вкрадчивой неторопливостью гурмана, — исполнением желаний звучали названия улиц — Заколдованной розы, Миндальной, Клетчатой, Канареечной и даже Полевой мыши, «пан Теофас носил костюм коричневого цвета, а у пана Боло была розовая жилетка в мелких цветочках», — стоит ли говорить о том, что в нашей с вами тогдашней реальности мало кто мог похвастать хипстерскими жилетками и пиджаками *от...* — но интонации всё же были, в них можно было кутаться, точно в клетчатый плед из ангоры, — журчащая с заезженной пластинки доброта вплеталась в уют того самого двора (за аркой), пока ещё пребывающего в блаженном неведении относительно недалёкого будущего, относительно недалёкого — пока



ещё не подозревающего о реальности пластиковых окон и беспроводного интернета, — ещё не разлетевшиеся по букинистическим лавкам добротные корешки выстроены вдоль прочных стен, ещё скрипят дверцы — в них нафталиновые шарики перекатываются, охраняя от вторжения вездесущей моли, — у нас хорошие новости, панове, — с молью мы справились, у нас больше нет моли, как нет комода, стен и, собственно, времени — оно не течёт привольно, а нарезается скупом, фрагментами, особенно ценятся обрезки, в них самый цимес, — украденное у самих себя откладывается про запас, — помните это «однажды»? «когда-нибудь»? — оно преследует смутной тоской, брожением, это отложенное на «когда-нибудь» время, изорванные лоскуты имеют странное свойство — трансформироваться в горсть бесполезного тряпья, кучу хлама, черепки, осколки, труху, пыль, — выигранное в жестокой схватке время уходит на бесконечную борьбу с пылью, — бесконечность — это пыль, усердно сметаемая веничком, дружок мой, — тлен, прах, — загляни под диван, буфет и книжный шкаф — видишь ли, душа моя, в жизни всегда есть место плюсу и, конечно же, минусу, добру и злу, любви и отсутствию её, — банальные сентенции, вползая в форточку, обретают новое измерение, — со временем (о, это пресловутое «со временем»), — с каждым днём мы постигаем обратную сторону бесконечности, хрупкость, изменчивость постоянных, казалось бы, величин, условность обстоятельств, изнанку часов и минут, — но стоит закрыть глаза, и говорящие на странном наречии сверчки распахивают двери, и улица Миндальная перетекает в Канареечную, с неё идёт трамвай, — щелчок, шорох, скрип, — так скрипят дверцы комода, шуршат книжные листы, струится пыль, разматывается время, — я вновь там, на улице Заколдованной розы, вслушиваюсь в неторопливое: «В одном городе, в каком, я вам не скажу...»

# БРОНЯ

Соседку зовут Броня, и ей нужно всего ничего. Пол-луковицы. Её силуэт, внезапно вырастающий в проёме обитой дерматином двери, на обратной стороне которой красуются цифры, выученные наизусть. Что-то, а номер квартиры нужно помнить.

— Повтори: бульвар Перова, сорок два, квартира — какая? Правильно, восемнадцать (одна из цифирек перевёрнута, но это ни на что не влияет).

Соседка с умилением провожает меня взглядом:

— Какая смышлёная у вас девочка!

Она втискивается в прихожую и жадно озирается по сторонам. Ей всё любопытно — какие обои, где и почём брали, отчего мы не покупаем приличный сервант, зачем столько книжек, кто их читает — и льстивое: у вас учёный зять! Особенный человек! У меня глаз намётанный.

Забыв про луковицу, она сидит у кухонного стола, теперь её силуэт вдет в другую раму — там перспектива окна, занавеска, уставленный разнокалиберными банками подоконник, бельевая верёвка, протянутая через кухню.

Их диалог одновременно напоминает шорох от монотонного перебирания крупы и звук включённого радио — саднящий звук осторожного кашля (в нём бултыхаются Бронины внутренности), шёпот (на всякий случай), повизгивающий бабушкин смех (как будто молящий о пощаде) — а она сказала, а он, а что он, ну и я ему говорю (она произносит «говору»), — шорох и вот это: *дз, дз, чш, щ, дз, грвр, грвр...* смысл утопает в звуках, и я с тоской думаю о том, что родители вернутся не скоро и всё оставшееся время будет вот это *дз, дз, щ, гр*.

— Да? А я — терпеть? Да? — неожиданно звонко и молодо взвизгивает Броня, и шарманка в её просторной груди издаёт резкий жалобный стон, и потом опять шорох, что-то елозит по столу, будто немая рыба с выпученными глазами.

Я слоняюсь по двору в поисках то ли подходящего камня (как любая нормальная девочка-сорванец), то ли зарытого в прошлый четверг клада; отбиваюсь от мучнистой Вали с третьего этажа. Она говорит «мясо», «папка побил», «верёвка» и трёт свои маленькие оловянные глаза. Для меня это чуждый непонятный мир. Дома меня не бьют, а на стене висит завораживающая репродукция голой и странной женщины, восседающей на трёхногом стуле. Хотя места в нашей комнатке до смешного мало, родители мои иногда танцуют твист и рок-н-ролл. Их молодые яркие лица не очень вписываются в облезлую раму, за которой однообразные пятиэтажные дома, гастронм с селёдкой иваси и выброшенным по случаю зеркальным карпом.

Ведь это же не навсегда. Пятиэтажка, половички старухи Ивановны, бельевая верёвка, трёхлитровые банки, выстроенные в ряд, увитый зарослями несъедобного винограда балкон... Один и тот же повторяющийся сон. Подъезд, будто глубокий колодец, на дне которого погребены звуки, запахи, воспоминания. Расстроенный инструмент, в котором то и дело западают клавиши, застревает на одной и той же мелодии.

Я (будто скованная тяжкими предчувствиями) медленно поднимаюсь по лестнице и вижу (о ужас) всё те же цифры на обитой дерматином двери. Одна из цифирек перевёрнута, но это, как вы помните, не имеет значения.

## ГОЛОСА

**Я** когда-то поражалась — отчего это бабушке моей всё не спится?

В четыре утра долгие пространные беседы у кухонного стола, причём такие довольно эмоциональные, с подтекстом и надрывом. Ну, там, слава богу, всегда был подтекст. Жизнь непростая. Лишения опять же. Невзгоды. Тут одну войну как вспомнишь, не до сна, знаете ли. Не до бу-

бликов с баранками. Опять же мастер Яша с четвёртой обувной время от времени мерцает. Соседка-алкоголичка тётя Паша. Та самая, которая в ногах плакала, умоляла не уезжать. Куда вам с ребёнком, Розочка, с дитём? В дорогу. А вдруг бомбить начнут? А кормить чем? Дитё малое, чахлое опять же, к тому же единственное. Уж тут как-нибудь сообща. Не дадим пропасть. Кто коржик, кто коврижку. А в дороге что? Жмых один.

Ну да, права была тётя Паша. Жмых и был. Только и был, что жмых. И холод, и вши. Зато живы остались. Как выжили, не спрашивайте. И полы за тарелку горячего мыли. И балетки за пазухой выносили, чтобы, значит, дитя подкормить. Вернулись, а тётки-Пашина семья уже тут как тут. В комнатке шестиметровой полуподвальной. Всей семьёй. Зять пьющий, мрачный, пузо чешет. Дочь на сносях. Присмотрели за комнатой, значит. Чтоб чужим не досталась.

И вот сидит моя бабушка в четыре утра, жестикулирует, обращается со всем своим почтением к Всевышнему — смотри, Отче, дитя сберегла и сама (хоть и с туберкулёзом) выжила, мир всё же не без добрых людей, там тарелку супа, здесь кусок жмыха, в общем, уговор сдержала. Но и ты будь человеком. Как разделить неделимое?

Не знаю, что ей там отвечал Отче, похоже, ему всё время было не до того. Манкировал бабушкиными просьбами и мольбами. Ну ясное же дело. У него там сотни окошек в чате. Мерцают, закликают, благодарят. Чудны дела твои. Одно слово — Творец.

Не до квадратных метров. Не до мелких потуг.

Однако, с божьей всё-таки помощью, и здесь выкрутились. Сколько радости от простых вещей! От кровати с пружинами. От никелированных шишечек. От платья с выточками где положено. От того, что жива. Пульс под белой кожей, шаг ровный, лёгкий. Куда вы бежите, девушка? Какая красивая! Девушка! Стойте!

В общем, бабушке моей Розе всегда было о чём поговорить со Всевышним. Там зажал, здесь недодал. С причудами дядька, забывчив по-стариковски, рассеян.

Вот так сидела она на кухоньке полутёмной, свет не зажигая, и телевизора никакого не надо! Бабушка моя сама себе была телевизор и

радио в придачу. Такие спектакли! Такие лица и голоса! Они у неё все в голове сидели. И рада бы избавиться, хоть ненадолго, но не тут-то было. Галдят и гудят. Будто места им другого нет, кроме её головы. Иной раз до такого договорятся!

Боже вас сохрани узнать!

А тут уже и пять, слава богу. До шести совсем ничего. В шесть можно взять кошёлочку, потёртую на сгибах, пальтишко набросить, балетки — и на рынок. Самая вкусная клубника, если хотите знать, та самая, утренняя.

Проснёшься, бывало, только потянешься (ах, как сладок утренний сон), окно раскроешь, а внизу — она. На скамейке. Бормочет, кивает головой. То так, то этак. С кошёлочкой своей. Полной мёда и молока. Сидит, ноги в балетках вытянув, ивовой веткой от мошкеры отмахивается.

Так вот отчего она не спала. Мошкара. Твари кровососущие. Иду на кухню, зажигаю свет, ставлю чайник. Сухари, если их в чае размочить, есть-таки можно. И голоса, слава богу, при мне.

## МОЖНО СКАЗАТЬ

**М**ожно сказать, что выросла я в скучном районе, застроенном пятиэтажками, совершенно одинаковыми, — но это как кому.

Вот я бы, допустим, ни за что бы не спутала свою пятиэтажку с соседней — там и подъезды пахли иначе, и стены были мрачней.

Наша была весёлой. В первой парадной жила такая Таня, абсолютно бесстыжая Таня в такой бесстыжей юбке, и в нашей же располагался подвал домоуправления с шахматным кружком.

Можно сказать, что выросла я под книжной этажеркой — весьма хрупкой, или в палисаднике — не в первом, а как раз во втором, дальнем, — или на лугу, который тогда был лугом, а не новым микрорайоном.

Можно сказать, что выросла я на растрёпанной книжке братьев Гримм, или на «Голом короле», или на «Неуловимых».

Или на скамейке под фонарём — с первым любовным посланием от Алика Б. из параллельного класса.

Или на похоронах Феликса, после чего мир не сошёл с ума и не взорвался, и никто не отменил первый звонок и последний, а также морфологический разбор в конце предложения.

Или в лагере, в банный день, когда впервые увидела вожатую голой.

Или на дискотеке, когда приглашённые мною кубинцы продемонстрировали крайне неприличный танец, после чего процесс «взросления» охватил даже самые отсталые слои.

Или когда меня подстригли и я весь день провела в шкафу, потому что всё было кончено.

Или в гостинице «Советская», где мне, идущей по коридору школьнице в нелепых зимних одежках, улыбнулся взрослый мужчина лет двадцати?

Я затрудняюсь.

Может, всё это был сон? И города, в котором я выросла, нет — ни на одной карте мира, ни в гугле, ни в яндексе, нигде.

\* \* \*

Мне повезло. Я застала настоящие дворы. Помните дворовую стенгазету? Позор пьяницам и хулиганам, бездельникам и тунеядцам. Солидный дяденька-управдом в растопыренном на пузе пиджаке делает «ну-ну-ну» кактусообразному человечку в брюках-дудочках (чуть позже — клёш), с носом, исколотым торчащими в разные стороны иголочками. С тех пор я всерьёз полагала, что пьянство и тунеядство приводят именно к такой деформации носа.

Я застала дворовую стенгазету, товарищеские суды и синюю школьную форму.

Уже через год она стала коричневой, и надолго. Мальчики ещё донашивали синие костюмчики из шерсти и синие же береты, но коричневый цвет постепенно вытеснял синий.

Школьные парты, те, первые, немного липкие от масляной краски, тесные, угрюмые, внезапно исчезли, уступив место изящным и лёгким. Исчез запах краски, но не мастики, — рыжие паркетины влажно блестели, и это был запах начала года, — астры, мастика, влажная тряпица или губка, которую перед уроком полагалось смачивать, выкручивать в туалете, — до сих пор испытываю стойкую неприязнь к мокрым тряпкам.

Ведь мы полагали, что живём в настоящем мире, и мир этот существовал всегда — парты, двory, палисадники, доски почёта и позора, управдомы в круглых соломенных шляпах, трёхэтажное здание школы, грозная фигура завуча — женщины в костюме-джерси, строгом, но вполне женственном, одновременно скрывающем и подчёркивающим крутизну бёдер и объём груди, — женщины со сложным именем-отчеством — Лионелла Викентьевна, — со сложным сооружением на голове — этакой медной башней, устрашающе покачивающейся при ходьбе.

Мы полагали, что всё это навсегда. Пятиэтажки, бельевые верёвки, игры в квача и штандера, в прятки и жмурки. Некоторые уверены, что прятки и жмурки — это одно и то же, — так вот нет!

Любая девочка, с утра до поздней ночи спящая по двору, назовёт вам десять отличий. Всё очень просто.

Если вы не стояли, прижавшись спиной к стене мусорки, — если не сидели, затаив дыхание, за дверью подъезда, или под ступеньками, ведущими в подвал, не чертили крестики, стрелки, нолики, — не метили асфальт таинственными знаками — ау, инопланетяне! только вам под силу понять смысл иероглифов, проступающих сквозь разломы в земной коре: «Смирнова — дура» или «Поля — жо...».

Если вы не жили в нашем дворе, то вы никогда не узнаете, чем прятки отличаются от жмурок, а казаки-разбойники — от «море волнуется раз». Игра в «представления» могла длиться часами — да что там, днями, неделями, — школа была всего лишь досадной помехой, но всё-таки, всё-таки...

В портфеле помещались — резинка, да-да, настоящая резинка, которую вшивали в обычные трусы, — но длинная, в худшем случае сшитая из многих маленьких, а в лучшем — цельная, упругая, натянутая, — предмет зависти и вожделения, — резинка, и не одна, пупс, ванночка, одежки, набор бумажных куколок, азбука со вставляющимися буквами — она была вкусной, эта азбука, и абсолютно бесполезной, так же как и натужное «мама мы-ла-ра-му», — всё это натужно-мычащее, оно казалось смешным бегло читающей мне, но тем не менее — азбука, а ещё — грохочущий во втором, смежном отделении пенал...

Мы полагали, что всё это навсегда, навечно — короткая школьная форма, старухи из первого подъезда, пыльная коробка со свёрнутыми лентами диафильмов, клеёнка в школьной столовой, — стаканы с киселем, поднос с пирожками, запахи перловки и яблочного повидла.

Я помню утро второго класса, сентябрьское, ещё тёплое, или позднее, уже после уроков, — мне полагалось часа полтора на проветривание головы, до приготовления домашнего задания на следующий день, — помню внезапно опустевший двор, шорох осенних листьев, щемящее чувство — тоски? одиночества? предопределённости? — предстоящей зимы, школьных будней, утренних завтраков, дневных обедов, проверок, контрольных, сложений, вычитаний, разборов, собраний, пришиваний и отпарываний воротничков, манжет, — впервые я ощутила укол, не зная ещё, не подозревая о дозе, — она будет увеличиваться с каждым годом, с каждой новой осенью будет угасать уверенность в том, что всё это навсегда, — лето, качели, царапина на локте, ссадина на ноге, заросли лопуха и крыжовника, стенгазета, мокрая тряпка у доски, паркет, откидывающаяся крышка парты, чернила на промокашке, расщеплённое надвое перо и мычание за спиной, — похожее на сон, страшный и одновременно сладкий, — *мамамылараму*.



## ВСАДНИКИ

Неуловимые воспоминания обступают, перегружая подробностями, которые так и останутся с тобой, в тебе, — будто вспыхивающие язычки пламени или мерцающие на горизонте огни, то близкие, ясные, то далёкие, смутные, — некоторым из них суждено прожить долгую жизнь либо же исчезнуть без следа, — надежда на некий безымянный банк памяти с заполненными и оцифрованными ячейками (помните детскую азбуку с уютными кармашками? в каждом по букве), — моё, твоё, общее, — отдадим должное неизбежной погрешности, — вспоминая одно и то же, мы видим и слышим разное, — тени, углы, выступы, — в моём — запах макушки, нагретой солнечным светом, подушечки пальцев помнят жёсткие кончики стриженных волос, тепло сонной щеки, след от горячих пальцев — то на стекле, схваченном морозом, то на песке.

Вон всадники на горизонте — из красного зарева проступают силуэты, с каким замиранием мы ждали их приближения, помнишь? — но за заревом оказывался натянутый белый экран, вспыхивал свет, с грохотом откидывались спинки неудобных кресел (наши скованные нетерпением и любопытством спины выдерживали всё), и самым разочаровающим оказывались лица идущих рядом, гуськом протискивающихся к выходу.

После сеанса неловко встречаться глазами — как будто все мы стали случайными сообщниками либо невольными свидетелями детской слабости, — но отчего же такая резь в глазах — и непременно желание обернуться, по буквам прочесть каждое вспыхивающее на тускнеющем экране слово, ладонью коснуться исчезающего — зарева, тумана, лошадей.

## В МИРЕ БЕЗЫМЯННЫХ ПУГОВИЦ

Окно — точно портал в другой мир.

Кто помнит вату между стёклами, деревянную фрамугу и маленькую лисичку, довольно тяжёлую, если взять её в руки. Хотя, вполне возможно, что это такая собачка. Но всё же я бы назвала её лисичкой. И ни за что бы не выпустила из рук. По крайней мере тогда. Я обернула бы её в ватный кокон и придумала историю лисичкиной жизни.

У меня была похожая. Или всё-таки это была собачка... Да! Была такая собачка, хранительница ниток, иголок, напёрстков и пуговиц. Собачка была довольно серьёзной и всегда смотрела вдаль. Собственно, собачкин организм был неотделим от такой специальной круглой штуки для хранения всякой всячины. Ох и любила же я рыться в этой самой всячине! Одних напёрстков было несколько штук. Я надевала их на пальцы и кивала ими, точно головами в шлемах. Это были такие суровые воины, хранители пуговичных тайн.

Среди пуговиц были у меня фаворитки. Например, крошечные золотые с хитрыми внутренними петельками — вне всякой конкуренции, естественно, не иначе как принцессы, — не чета плоским, неказистым, цвета слоновой кости, явно срезанным со старого пододеяльника, — эти, конечно, из челяди. Вызывающе яркие, точно пожарники, — алые, выпуклые, спесивые — вечно рвутся вперёд, затмевая нежное свечение изумрудной не пуговицы даже, а так, овального камушка, из которого, по всей видимости, собирались воспитать приличную пуговицу, но так и не успели. Ни петельки, ни ушка, ни дырочек. Но самыми прекрасными были крошечные, янтарные, некогда украшавшие цыплячьего цвета и лёгкости кофточку. Ах, с каким замиранием я ласкала их, какие смешные прозвища придумывала. Что стало с ними, загадочно светящимися в утробе задумчивого пса? Ведь не могли же они исчезнуть без следа?

Что стало с пуговичной собакой из дома на улице Притисско-Никольской? Одна лишь мысль о том, что её больше не существует, пе-

чалит меня. Она была довольно увесистой, с благородной тяжёлой головой, и, скорее всего, в допуговичные времена выполняла роль пресс-папье.

При переезде на другую квартиру многие вещи теряются. Как бесследно пропали обезьяна Жаконя, пеликан, кукла Алиса (ах, что за кукла это была! — мечта любой девочки, она и была мечтой, пока однажды не оказалась в моих руках вместе с подаренными в день рождения «Королём Матиушем» и «Алисой в Стране чудес»).

Но пока... ничего этого ещё нет и не предвидится. А маленькая гладкая лисичка... — мне кажется, с ней не так страшно, не так одиноко в мире безымянных пуговиц и бесполезных напёрстков.

## ЛИФЧИК

Лифчик был бумазейный, с тугими петельками сзади, с крохотными пуговками, которые с трудом втискивались в эти самые петли. Привычно поворачиваясь спиной, выпятив живот, сводила лопатки, представляя возню с пуговичками мужским рукам.

— Ну, пап, быстрее, мы опоздаем. — Чулочки натягивала уже самостоятельно, на них — смешные толстые трикошки (трико). Короткое платье доходило до середины этих самых трико — в общем, довольно неуклюже всё это выглядело на маленькой девочке, но ей и в голову не приходило возмущаться нелепостью странной конструкции.

В углу терпеливо дожидались красные валенки с галошами — предмет особой гордости. Пыхтя, она втискивала ступню в валенок, послушно просовывала руки в рукава шубейки.

Как непросто давались девочке утренние подъёмы, сборы, нервозность внезапно разбуженного и вечно опаздывающего человека, живущего по чужому и неудобному расписанию. Ватные ноги, тяжёлая голо-

ва, вкус зубного порошка, медленно остывающий чай, который не то что пить — на который и смотреть было противно.

И всё же череду мучительных подъёмов затмевает одно зимнее утро (на самом деле их было много, но в памяти они слились в единое целое, безразмерное), белое безмолвие за окном, уют развороченной постели и эти полчаса, отнятые у сна полчаса истинной свободы (от исправно работающего механизма). Раскрытая книжка, которую читаем вдвоём — то ли по памяти, то ли по слогам. Нет, слово рождалось целиком, не поддавалось дроблению и расщеплению — за ним тут же (а то и раньше) возникала любопытная и вздорная козья морда, покатые лбы семерых козлят — прообраз утреннего эдема в складках пододеяльника и скудного света, оттеняющего долготу тишины.

Здесь она ещё в пижаме, не стреноженная послушанием и зимними одежками, мучительно подробными, как будто специально неудобными, — вот-вот, со вздохом отложив книжку, коснётся разложенного на стуле платья, но первое — лифчик (смешное слово, не правда ли, ещё не обременённое взрослыми аллюзиями), пока что он плоский, полотняный, почти невесомый, — привычно сведя лопатки (откуда у маленькой девочки это движение?), она поворачивается спиной, терпеливо ожидая разрешения несложной задачи.

Впрочем, никто так и не заметит, как и при каких обстоятельствах исчезнет смешной и бесполезный (до поры до времени) предмет — наверное, вместе с чулочками, на смену которым придут колготки. Она многому научится. Протаскивать ускользящие, часто рыхлые, раздваивающиеся на концах шнурки в обмётанные узкие петли, завязывать узелки — о, трогательность неловких пальцев, вновь и вновь сжимающих и с явным усилием вдавливающих ремешок или пуговичку. Коза и семеро козлят уступят место куда более ярким героям, — какое сладостное ощущение начала с каждой новой книжкой, новой историей, — теперь она справляется сама, без посторонней помощи. Слова резво оживают перед глазами, вспыхивают под пальцами. Иногда они читают вместе. Устроившись поудобней, она вдыхает знакомый запах.

— Да нет же, ты пропустил! — с балованным смехом указывает на оплошность, и он послушно читает, уступая её требованию.

Всего полчаса. Полчаса, отнятые у сна и бодрствования. Она не знает ещё, что у всего есть предел и эти самые полчаса уступят место чему-то непреодолимому и архиважному — торопливому пришиванию воротничков, дописыванию домашнего задания. Красные валеночки и галоши, с которых натекла небольшая лужица, ещё не кажутся анахронизмом, но уже немного тесны, а новые кожаные ботинки, остро пахнущие, довольно неудобные, хоть и качественно прошитые суровой нитью, ещё красуются на витрине.

## КЛОУН ПИТ

Весь клоун состоял из одной деревянной грубо раскрашенной головы, которую можно было нанизать на палец.

И это абсолютно его не портило.

Я могла вести с ним долгие, изматывающие диалоги. По уровню интеллекта Пит ничуть не уступал голой Марусе, пеликану Додо, обезьяне Жаконе и прочим персонажам с руками и ногами.

С Питом у меня были особые отношения. Если с Жаконей связь была чувственная (я любила тискать его, мять и обнимать и часто укладывала в своей постели), то Пит брал интеллектом.

Всё-таки голова (в смысле, её наличие) обяывает. Надев её на палец, я задавала вопросы и получала пространные ответы. Об устройстве мироздания и прочих не менее важных аспектах бытия. Довольно часто из моего угла доносились странные звуки — попискивание и бас.

В зависимости от темы голова меняла тембр и тональность. Иногда брякала что-то совершенно невпопад, например в трамвае, лукаво выглядывая из-под краешка моей кофточки.

Голова была отчаянная, «без царя в голове» — да, звучит более чем странно.

Она бранилась, сквернословила, отпускала скабрёзные шутки, а отдуваться за эти проделки приходилось мне.

— Граждане! Предъявите билетки! Трамвай идёт на Подол! — пронзительный петрушичий голос выныривал откуда-то из-под сиденья, до обморока пугая безбилетных пассажиров.

— Божечки, — неистово крестились трамвайные старушки, — я чую, шо воно каже, а повертаюсь, нікого нема, — гражданочко, а вы чулы? Ни?

Пит, вовремя снятый с пальца, сардонически ухмылялся в кармашке платья.

Дорога предстояла долгая, трамвай, дребезжа, проезжал весь город, оставляя купола и днепровские кручи позади, и через пару остановок пассажиры приноравливались к странной девочке-чревоушателю с деревянной головой на пальце.

— Коля, Коля, Николаша, где мы встретимся с тобой! — надрывалась голова во всю, так сказать, ивановскую, демонстрируя незаурядные вокальные данные и совершенно не согласовывая действия с окружающими и уж тем более со мной.

Детство моё официально закончилось с переездом на новую квартиру. Так получилось, что Пит вместе с Жаконей и голой Марусей остались в большом ящике с игрушками и были случайно выброшены (кем-то из взрослых) вместе с ненужным хламом на помойку. Я, конечно, горевала, но не очень долго. На продолжительные страдания у меня не было времени. В моду входили прыжки через резинку, «море волнуется раз» и чёрная рука на красной простыне.

Зато теперь-то я могу воссоздать всего Пита по атомам. Мне кажется, присутствие беспечного жизнерадостного друга делает жизнь осмысленней.

Не парьтесь по пустякам, господа, — всем своим видом намекает он. И предъявите билетик! Трамвай идёт на Подол.

# НОЖИК

Ребе, у меня к вам дело. Вы, наверное, меня не знаете, а может, и знаете, я Ента, Ента Куролапа.

*Шолом-Алейхем*

**К**то из вас может похвастать тем, что, начитавшись Шолом-Алейхема, он узрел во сне саму Енту Куролапу.

Господи, кто мне только не снился! Например, Бася-швейка. Кто-нибудь знает, как она выглядит? Самое удивительное, что во сне ни Ента, ни Бася так и не показали мне своего лица. Но всюду были знаки их присутствия.

Вот как сегодня, например, — идя по заснеженной тропинке, я увидела знак. Пустые хлопоты, горшок пустой, горшок полный — всё вокруг указывает на Енту.

Снов с Басей я несколько опасаясь. Однажды (а было это давно) я встретила во сне одну знакомую, которая, заламывая руки, причитала: боже мой, ты знаешь, Бася-швейка умерла!!! Люди, какое горе...

Проснувшись от собственного воя, я долго сидела в постели, удерживая колотящееся сердце. Было мне лет десять, не больше. Такого неизбывного, сокрушительного горя я не ощущала, даже когда у меня украли специальный пластмассовый ножик для разрезания бумаги — ножик был цвета слоновой кости и так приятно покоился в ладони... Как же я любила его, и хранила под подушкой, и, время от времени просовывая туда пальцы, ласкала его гладкую рукоять.

Его украли. А потом я увидела точно такой же в руках у одного знакомого мальчика, — дело было в овощном, куда мы зашли с мамой выпить яблочного сока, — так вот, я даже сок пить не захотела, увидев свой ножик в чужих руках, свой возлюбленный ножик, наделённый характером, биографией...

— Это мой ножик, мам, — я указала в сторону мальчика, надеясь, что мама предпримет хоть что-нибудь, спасёт моё сокровище, выхватит его, разберётся и справедливость наконец восторжествует. Но, увы, мама не торопилась обличать вора. Она внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Что ты предлагаешь? Подойти и забрать твой ножик? Устроить скандал?

Я взвесила все за и против. Вернуть ножик хотелось, но скандала не хотелось очень. К тому же силы были не равны. Мама мальчика, которая стояла рядом с ним, была в несколько иной весовой категории и явно не из тех женщин, которые добровольно идут на уступки.

Так мы и ушли, — конечно, я выворачивала шею и озиралась, но пластмассовый ножик остался воспоминанием. Зато потом, через некоторое время, мне подарили ещё более прекрасный ножик, перочинный, перламутровый, голубой, — это была Песнь песней, а не ножик, тысяча и одна ночь, — его можно было гладить, открывать и закрывать (и сам ножик, и всякие чудесные полезные приспособления, встроенные в него), — история повторилась, он лежал у меня под подушкой и отзывался на самые лёгкие касания сонных пальцев, — господи, какое же это счастье — получить свой личный ножик, своё оружие в семь с половиной лет и уже на равных состязаться со взрослыми мальчишками, метко втыкая его в землю.

Увы, второй ножик постигла судьба предыдущего.

Я просто его потеряла. Там же, во дворе. Часа три, не меньше, я обыскивала все заросли, все кустарники, ощупывая землю, в ужасе думая о том, как сообщу дома об этой потере, — ножик был дорогим, рублей пять, — его мне подарил папа, и одна мысль о том, что самый ценный в мире подарок лежит под кустом, валяется, брошенный, на дороге...

Стеная и раскачиваясь, я шла к подъезду, воображая, как сообщу родителям о пропаже. На удивление, никто особо не всполошился, и вскоре под моей подушкой появился ещё более прекрасный нож — красного цвета, он был побогаче первого, это был ножик на все случаи жизни,



он делал меня всесильной и неуязвимой... Если бы я помнила, куда он подевался однажды.

Но я, в общем, не о том, а о Басе-швейке, которую увидела во сне. Такого неизбывного горя... ну, вы понимаете, я не испытывала с тех самых пор, когда потеряла первый ножик, и ножик второй, и третий...

И потому, если меня спросят, — не спросят, конечно, но я всё равно отвечу, — пусть лучше будет Ента, пусть она трещит без умолку, пусть стоит в дверях, протягивая пустой горшок, — это гораздо лучше, нежели какая-то швейка, которую я в глаза не видела, но которую надо почему-то оплакивать.

То ли дело Ента. Один из любимых персонажей, кстати, у Шолом-Алейхема. Болтливая женщина, которая битый час говорит о... Господи, да о чём угодно! О муже, сыне, о горшке, о мясе, которое в нём варилось... Горшок, курица, щепотка того, щепотка этого. Всё это бесконечно важно простому человеку. Его надо уметь выслушать. Для этого нужно иметь сердце.

## ЛЮСИК

**В** детстве всё было важным. Мир слов не стоял особняком, он был живым и разнообразным, подвижным и вкусным. Он был страшным и потешным, неотделимым от сказочных чудовищ и скачущей на одной ножке Вальки с третьего этажа, которая говорила: «мясо», «верьёвка», «пятьёрка», — от сумасшедшего Люсика с вороной на голове, который пробежал мимо, совсем как Кролик из «Алисы в Стране чудес». Только Кролик был джентльменом и бормотал по-английски, поглядывая на часы, свисающие на цепочке, а наш Люсик был огромным детиной в заячьем треухе летом и зимой. Он бежал на полусогнутых, пугливо озираясь, обеими руками придерживая втянутую в пухлые плечи голову. Бормоча нечто невнятное — на каком языке,

уже не вспомню, — возможно, это был какой-то специальный язык, полуптичий, полубожественный.

— Люсик, на голове ворона! Ворона на голове! — завидев Люсика, играющие во дворе дети уподоблялись гончим псам и гнали несчастного, дразня невесть откуда взявшейся на голове вороной.

Был язык моей бабушки, которая оправдывалась: а я по-русски не очень, — но раздражалась такими историями... Вставляя словечки на каком-то смешанном, необыкновенно смешном, точном и выразительном языке. Ну, например, «шифлодик». Это вам не какой-нибудь шкафчик.

Была тихая Любочка из первого подъезда — сидя на нашей кухне, она бормотала, всхлипывала, причитала, — она была старая, всегда старая, больная, обиженная, — её мир был маленьким, затхлым, печальным, но был он и пронзительно-смешным, такой смех сквозь слёзы.

А ещё был мир моей «летней» бабушки, руки которой пахли сушёной дыней и лавашем, глаза которой были глубокими, грустными, будто припорошенными пеплом. Ранним утром она заплетала свои косы, потом — мои... «Ахчик!» — кричала она вслед с растопыренной пятернёй, но меня уже не было, только краешек красного в белый горошек платья.

Улица была важней — там торговали фантами, продавали сладчайшую газировку, ситро, носились на трёхколесных велосипедах, делились жуйкой, раскрывали тайну деторождения, играли в пап и мам, во врача и больного, хоронили погибшего воробья, купали пупсов, шили одежды, — слова складывались из запахов двора, из звуков, из распахнутых окон, за которыми происходило ВСЁ.

Бушевал Валькин отец, растягивал гармонь Петро, добрый молодец с роскошным пшеничным чубом, кричала благим матом Криворучка, тонконогая и пузатая, с жидкой фигой на голове. За окнами ссорились, любили, вынашивали детей, воспитывали их громко, на потеху притихшему двору.

За окнами бормотали еврейские старухи: ложечку за папу, ложечку за маму. За окнами месили тесто, варили холодец, клубничное варенье, в огромных чанах вываривали бельё, — тут главное не переварить, — вы сколько синьки кладёте?

В сказках всё было настоящее, как в жизни. Как можно было не верить в злых ведьм, эльфов и гномов, когда на первом этаже жила Ивановна, и была она страшнее всех ведьм, вместе взятых? С маленькой головкой, обтянутой платком, поджимающая будто подшитые на скорую руку губы.

«Поздоровайся», — подталкивала меня в затылок мама, но я упрямо склоняла голову, опасаясь встретиться с крошечными недобрыми глазками.

В палисаднике за домом мы искали клад, я и ещё двое мальчишек, — вдохновителем и организатором была, конечно же, я, — мальчишки сопели, разрыхляя влажную землю детскими лопатками, — мне, в общем, всё было давно ясно, но я продолжала подбадривать землекопов довольно фальшивым голосом.

Вам это ничего не напоминает?

А ещё были истории. Истории, леденящие кровь, о белых простынях, блуждающих в потёмках руках и головах, — истории эти рождались на закате солнца. Истории передавались из уст в уста, обрастали новыми подробностями. Задрав головы, мы высматривали лунных человечков, абсолютно уверенные, что те, в свою очередь, наблюдают за нами.

Слова, как пузырьки из мыльной пены, кружили над нашими головами, порхали, как бабочки, испуганные, таинственные, чарующие.

## ТУДОЙ ИЛИ СЮДОЙ

К дому можно пройти *туда* или, в крайнем случае, *сюдой*. Через гастроном, панельный серый дом, палисадник. Или через соседский двор, банду Котовского, инвалида на колёсиках.

Инвалид добродушный, когда трезвый. И очень страшный в пьяном состоянии.

— Колька бушует, опять надрался, — добродушно посмеиваются соседи, и я с любопытством и ужасом поглядываю туда.

О, сколько раз являлся ты во снах мне, заросший кустами смородины, мальвой и чернобривцами старый двор. Два лестничных пролёта, и эти двери, выкрашенные тусклой масляной краской, и персонажи, будто вырезанные из картона, раскрашенные чешским фломастером.

Отчего Валькин отец чёрный, как цыган, и злой? Отчего он трезвый, и злой, и красивый? Отчего колотит Вальку, дерёт как сидорову козу за любую провинность и каждую четвёрку? Отчего Валька, сонная, с квадратными красными щеками, похожая на стриженного под скобку парнишку-подмастерье, боится, ненавидит и обожает своего отца? Отчего мать её, большая женщина в цветастом халате, из-под полы которого выступает полная белая нога, — отчего плывёт она по двору, будто огромная рыба, огромная перламутровая рыба с плавниками и бледными губами, на которых ни улыбки, ни задора.

Отчего бушует Колька, скрежещет железными зубами, рвёт растянутую блёкло-голубую майку на впалой, как у индейца, груди, — отчего слёзы у него мутные и тяжёлые, отчего грызёт он кулак и мотается на своей тележке туда-сюда, бьётся головой о ступеньки. Шея у него красная, иссечённая поперёк глубокими бороздами. Отчего на предплечье его синим написано... И нарисовано сердце, пронзённое стрелой.

Мимо первого подъезда пробегаю торопливо, оттого что пахнет там водкой и «рыгачками». Валька называет это так. Тяжкий дух тянется, вьётся по траве, добирается до нашего второго, не иначе как по виноградной лозе, прямо на кухню, где хозяйничает и кашеварит моя бабушка — бормочет и колдует над смешным блюдом под смешным названием «холодец».

— Шо вы варите, тётя Роза? — голос у Марии звонкий и певучий, и сама Мария прекрасна, с выступающими скулами, икрами стройных ног, — прекрасна, как Панночка, жаркоглазая, она парит над домом, свесив чёрные косы. Они разматываются, как клубок, стелятся по земле, струятся.

Прекрасна в гневе и в радости, в здравии и в болезни, — прекрасна с седыми нитями в затянутых на затылке волосах, с красными прожилка-

ми в цыганских глазах, с паутиной лихорадки на скулах, — она расплзается в пьяной улыбке, прикрывая ладонью прорехи во рту. Сиплым голосом выводит куплеты — застенчиво прячет за пазуху червонец. Долго смотрит мне вслед.

Отчего Мария несчастна? Отчего, если свернуть *тудой*, то можно увидеть, как разворачивает крыло бабочка-капустница, как тополиный пух окутывает город, забивается в глаза, ноздри, щекочет горло.

Отчего так прекрасны соседские девочки, шестнадцатилетние, недостижимо взрослые, загадочные, с тяжёлыми от чёрной туши веками, — пока я купаю в ванночке пупса, они уже отплывают в свою взрослую жизнь. Я завидую им, я различаю их запахи. Медовый, карамельный — Сони, щекочуще-дерзкий, терпкий, удушливый — Риты, сливочный, безмятежный — Верочкин.

Аромат тайны витает по нашему двору. Что-то такое, что недоступно моему взору, непостижимо, оно щекочет, и волнует, и ранит.

— Иди сюда, — говорит мне Рита, самая удивительная из всех, самая отчаянная, — воодушевлённая «взрослым» поручением, я слетаю по лестнице, несусь по улицам, сжимая в кулаке записку. Я готова на всё. Носить записки, беречь её сон, думать о ней — не знаю, я готова на многое, но это многое непонятно мне самой, что делать с ним, таким тревожным, таким безбрежным.

Рита носит чулки телесного цвета, и тогда её длинные шоколадные ноги становятся молочными. Чулки пристёгиваются там, под юрким подолом самой короткой в мире юбки. Когда я вырасту, то куплю себе такие чулки и такую юбку.

Пока я верчусь в тёмной комнате, вздрагиваю от наплывающих на стену теней, она выходит из машины, пошатываясь, помахивает взрослой сумочкой на длинном ремешке. Девочка в белом кримпленовом платье. В разодранных чулках, взлохмаченная, похожая на поникшую куклу наследника Тутти. Имя нежное — Суок.

Отчего бывает дождь из гусениц? Толстых зелёных гусениц? Они шуршат под ногами, скатываются, слетают с деревьев, щекочут затылок.

Хохоча, он несётся за мной с гусеницей в грязном кулаке. Ослепшая от ужаса, я уже чувствую её лопатками, кожей, позвоночником. «Вот тебе», — дыша луком и ещё чем-то едким, пропихивает жирную пушистую тварь за ворот платья.

Его зовут Алик.

Когда-нибудь я отомщу ему. Я выйду из подъезда, оседлаю новый трёхколёсный велосипед. И сделаю круг вокруг дома. Круг. Ещё круг, ещё.

Отчего похоронные процессии такие длинные, такие бесконечные? Отчего так страшна музыка? Эти люди, идущие молча, в тёмных одеждах. Его мать в чёрном платке. Падает, кричит, вырывается из крепких мужских рук. А вот и Колька Котовский на колёсиках. Слёзы катятся по красному лицу.

Море стрекочущих в траве гусениц, зелёное, чёрное, страшное. Мир перевернулся. Отчего так страшно жить?

Тополиная аллея ведёт к птичьему рынку, на котором продают всё. Покупают и продают. Беспородных щенков, одноглазых котят, мучнистых червей. Топлёное молоко, разноцветные пуговицы, сахарные головы.

Пока я расту, растут и тополя. Шумят над головой, кивают седыми макушками.

Если пройти *сюдой*, то можно увидеть очередь за живой рыбой, кинотеатр, трамвайную линию, бульвар, школу через дорогу и другую, чуть подальше, — а ещё дальше — мебельный, автобусную остановку, куда нельзя, но очень хочется, потому что там другие дворы и другие люди, совсем не похожие на наших соседей. Туда нельзя категорически, потому что уголовники ходят по городу, воруют детей, варят из них мыло.

Если вызубрить точный адрес, всё не так страшно.

Чужая женщина ведёт меня, крепко держа за руку, — это добрая женщина с усталым лицом и полупустой авоськой. Она непременно выведет меня к дому, на мой второй этаж, — *туда* или *сюдой*, не суть важно.

Все дороги ведут туда, к кирпичному пятиэтажному зданию с синими балконами, увитыми диким виноградом.

## ПОСЛАННИК НЕБЕС

— Я посланник небес, — немолодой мужчина в широченных брюках и светлом плаще пристально смотрел на меня сквозь толстые мутные стёкла старомодных очков.

За стёклами угадывались крошечные беспокойные зрачки. В тот день шёл дождь, не дождь даже, а мелкая мокрая взвесь летела из-за угла, — поддувал неуютный ноябрьский ветер, и вид у посланника был совсем невесёлый.

— Я посланник небес, — повторил мужчина и сильно качнулся. Хорошо, что рядом стоял перевёрнутый ящик, — крякнув, посланник плавно опустился и уронил голову на колени. Сквозь давно не мытые пряди редких волос проступала младенческая кожа.

Мне стало страшно.

— Михаил Аркадьевич, — пролепетала я и коснулась заляпанного грязью рукава.

Нет, мы и раньше подозревали, что с учителем моим не всё ладно — он часто опаздывал и переносил занятия, и, собственно, успехи мои на музыкальном поприще оставляли желать лучшего — дальше убогих песенок и корявых гамм дело не шло.

Начнём по порядку. Всё началось с того, что к нам пожаловали проверяющие из музыкальной школы номер шесть. Класс разбили на группы, и каждую группу прослушивали специально уполномоченные дяденьки.

Деловито одёрнув подол школьного платья, я рванула дверь на себя. Аккомпаниатор, полная яркоглазая брюнетка, вскинула голову и ободряюще улыбнулась.

Сейчас... сейчас я им покажу! (Надо сказать, до сих пор я абсолютна убеждена в том, что никто и никогда не исполнял эту песню лучше меня.) К девяти-десяти годам у меня прорезался голос — скорее низкий, нежели высокий, и радовала я своих домашних совсем не детским репертуаром, начиная с «Коля, Коля, Николаша, где мы встретимся с

тобой» и заканчивая «Вихри враждебные веют над нами». Так что, уж будьте уверены, внезапная музыкальная проверка не застала меня врасплох.

Откашлявшись, я отставила ногу чуть в сторону.

Брюнетка энергично ударила по клавишам и... Мне даже кажется, она не поспевала за мной, и высоченная, обтянутая джемпером грудь задорно подпрыгивала в такт громовым раскатам моего голоса, потому что от волнения (а я волновалась, как все начинающие артисты) я пела несвойственным мне басом (это потом уже, в музыкальной школе, окажется, что у меня альт, настоящий альт, тогда как у большинства девочек — сопрано, а у меня — серебряная трубочка, вставленная в серебряное горло, и называется она — альт).

— Наш паровоз вперёд летит, в коммуне остановка! — блистая глазами, я притоптывала ногой и, клянусь, если бы в непосредственной близости от меня оказался вороной жеребец...

Но жеребца рядом не было. Напротив сидели те самые скучающие дяденьки. Но это поначалу скучающие. Уже со второго такта лица их оживились — как будто некто невидимый смахнул влажной тряпочкой пыль. Ближе к концу выступления дяденьки раздумянились и весело переглядывались друг с другом.

На бис я исполнила, конечно же, «Тачанку», «Поле, русское поле», «Орлёнка» (когда я пою «Орлёнка», то отчётливо ощущаю, как во лбу моём загорается звезда) и песню из «Неуловимых» (а тут я становлюсь одновременно Яшкой-цыганом, Данькой, чистым полем, звёздным небом, вороным конём; я становлюсь синеглазой девочкой в белом платочке и Бубой из Одессы, я плачу и смеюсь одновременно).

Сморкаясь и утирая слёзы (это были слёзы восторга, дорогие мои), дяденьки долго расспрашивали меня о родителях, о том, что я люблю и кем хочу стать в будущем. Вердикт оказался вполне ожидаемым и ничуть меня не удивил.

— Скрипка! — один из них сделал меланхоличное лицо, изобразив, видимо, таким образом, этот прекрасный во всех отношениях инструмент.



— Фортепиано, — широко улыбнулся второй; нос его лоснился, а толстые стёкла очков затуманились. Я отметила несколько выступающие зубы и что-то кроличье в лице.

Можно сказать, что Михаила Аркадьевича я привела домой за руку, таким образом поставив недоумевающих родителей перед фактом.

Концертное фортепиано «Фингер» привезли через месяц. Покупка эта образовала зияющую дыру в нашем и без того весьма скромном бюджете, но родители, посоветовавшись, решили затянуть пояса потуже, и, знаете, элегантный чужеземец до сегодняшнего дня стоит у стены, изредка напоминая о себе глубоким вздохом всё ещё натянутых струн.

Я обзавелась нотной папкой и собственно нотами. Казалось, стоит откинуть крышку, водрузить ноты на пюпитр, и чарующие звуки польются, пальцы побегут, и это будет так же прекрасно и незабываемо, как, допустим, финальная сцена в «Неуловимых». Увы.

В тот самый день, когда изящный (но всё же громоздкий) инструмент стал членом нашей семьи (о, сколько радости от долгого ожидания, суеты, сдавленных криков «Левее! Правее! Осторожно, угол!»), — о, сколько благоговения перед этим заморским чудом, распахнувшим чёрно-белую пасть, — сколько надежд, увы, не оправдавшихся... В тот самый день, когда, коснувшись гладких клавиш (сиреневая, томная ля, нежно-голубая си, а до похожа на долгий-долгий понедельник), я замерла, вслушиваясь в постукивания невидимых молоточков по невидимым струнам... — в тот самый день жизнь моя превратилась в сплошной понедельник.

Детство кончилось.

Но тогда, ведя в дом (буквально за руку) этого немолодого, с розовеющими залысинами и набрякшими красноватыми веками мужчину, я об этом не подозревала.

Прихрамывающие гаммы, зубодробительные этюды, велеречивые и торжественные полифонии; портрет красноносого недовольного мужчины с оплывшим лицом в неопрятной бороде и распахнутом на толстой груди халате и напротив — портрет другого, степенного и округлого, с купеческим пробором в тусклых ровных волосах; уроки сольфеджио и

музыкальной литературы, тоскливые сумерки, презрительный взгляд хориста, ненавистный третий ряд, в котором окажусь я единственная, с выжженным на лбу клеймом «альт», — все эти палочки и крючочки, скачущие перед глазами, дни и вечера, вечера и дни, а также... смятые трёх- (пяти- и десяти-) -рублёвки... они порхали, кружились, таяли в глу-боком кармане светлого плаща моего первого учителя.

В школу меня брали сразу в третий класс, условившись, что первые два я пройду за пару месяцев с уважаемым Михаилом Аркадьевичем.

— Не дадите ли авансом пять рублей? — Смутившись, мама нашарила в сумочке бумажку и неловко протянула через порог. В следующий раз сумма аванса несколько возросла, но учитель так кланялся и шаркал ногами... От него странно пахло.

— Всё равно он хороший, — упрямо склонив голову, я продолжала уверять домашних, что лучше Михаила Аркадьевича... И это несмотря на то, что во время уроков мне приходилось не дышать или дышать в сторону.

Пальцы его рук были толстоватые, неповоротливые. Точно клешни, двигались они по клавиатуре, исторгая звук странным царапающим движением. Звук был сухой, глухой, тусклый, как, впрочем, и унылые экзерсисы, которые нужно было пережить, чтобы дойти наконец до настоящей гармонии. Иногда с красноватого вислого носа моего учителя свисала прозрачная капля. Я терпеливо ждала, когда же она сорвётся и упадёт, но она всё не падала. Коричневая дужка очков была старательно заклеена скотчем, а воротник пиджака густо усыпан перхотью.

Вместе с Михаилом Аркадьевичем в дом вползали тяжёлые запахи чуждого мира. Как будто кто-то распахивал комод, в котором нафталиновые шарики, вещи, прожившие долгую насыщенную жизнь, кисловатый запах кожи, мыла, резкий, цветочный — одеколону и тоскливый, красно-речивый — долгого безрадостного бытия. Мне было жаль его.

В очередной раз одолжив десятку, учитель исчезал на неделю. Звонить было, как вы понимаете, совершенно некуда, и мы терпеливо ждали. Я открывала и закрывала нотную тетрадь, догуливала (не без удовольствия) последние сентябрьские дни...

— Я посланник небес, — немолодой мужчина в широченных брюках и светлом плаще пристально смотрел на меня сквозь толстые мутные стёкла старомодных очков.

В тот день шёл дождь, не дождь даже, а мелкая мокрая взвесь, поддувал неуютный ветер, и вид у посланника был довольно жалкий.

— Я посланник небес, — повторил мужчина. Его сильно качнуло. Хорошо, что рядом стоял перевёрнутый ящик, — крикнув, посланник плавно осел и уронил голову на колени. Сквозь редкие светлые волосы проступала младенческая кожа.

Мне стало страшно.

— Михаил Аркадьевич, — пролепетала я и коснулась заляпанного грязью рукава.

Учитель поднял на меня блёкло-голубые глаза, испещрённые мелкими кровеносными сосудами.

— Валентина! — с неожиданным напором произнёс он. — Я требую уважения, Валентина! — Он громко выдохнул, и облачко пара вылетело из его губ. Я отшатнулась.

— Женщина! — собрав, по-видимому, остаток сил, учитель поднялся с ящика и плавно взмахнул руками. — Иди домой, женщина!

— Я посланник небес, — повторил он, возвышаясь надо мной. Широкие его брюки трепетали на ветру, а тонкие пряди взмывали, образуя что-то вроде нимба над головой, — казалось, ещё немного — и он взлетит...

— Дядь Миш! — чей-то невнятный тёмный лик вынырнул из-за угла. — Иди до нас, дядь Миш. — Там, в глубине арки, которая вела к тыльной стороне гастронома и овощного, уже звякало что-то, блестяло, булькало — так вмиг обратная сторона бытия открывается взору ошеломлённого ребёнка, бегущего вприпрыжку с зажатой монеткой в руке.

— Мишаня! Иди до нас, не вы...буйся. — Я отпрянула, вжав голову в плечи, и ринулась назад, к дому. Позади раскачивался силуэт моего учителя и его соратников, наверное таких же верных последователей Модеста Мусоргского и Михаила Глинки.

В четверг, как ни в чём не бывало, смиренный и какой-то уменьшившийся в размерах, даже несколько усохший Михаил Аркадьевич вырос на пороге нашего дома.

— Не могли бы вы... — вежливо начал он, в широкой улыбке обнажая розовые дёсны и выступающие кроличьи зубы. — Не могли бы вы до полочки... авансом, богом клянусь, — он улыбался и шелестел невидимыми миру крыльями, из тихих глаз его струилась совершеннейшая гармония небес — нежно-голубая си, сиреневая ля и длинная до, долгая, как долгий понедельник.

## МЕЛОДИЯ

Далёкие воспоминания становятся ещё более дальними, размытыми, и место их занимают другие, яркие, свежие, но между ними образуется зазор, воронка, провал, и вот тут-то вспыхивает та самая лампочка, без которой немыслим прошлый век, немыслимы ранние сумерки (уже сквозит, поддувает из подворотен, уже маячит призрак зимы, то есть абсолютного обнуления всего), и щемящая нота (посыл оттуда, издалека) внезапно расставляет акценты, отсекает лишнее, обозначая тот предел, за которым уже не страшно.

Там тоже жизнь. Но другая. Едва уловимый привкус забвения, долгого сна, в котором пёстрые гирлянды и сверкающая мишура детского праздника (без него нам не выжить, все это знают, и ты, и я) удлинняют и без того бездонную ночь, и мерцание далёких окон создаёт иллюзию жизни, присутствия (эй, кто бы ты ни был, отзовись) и отсутствия (ветер сбивает с ног, фонарь раскачивается, жизнь теплится из последних сил).

И тут входит он. Этот человек. Или его силуэт. Или воспоминание о нём. Или след воспоминания (как будто некто касается клавиш, рискуя сбиться с главной темы). И долгий звук (то ли расставания, то ли надеж-

ды, то ли сожаления или же всего сразу) прорвёт слепую плёнку тишины, и вспыхнет свет (тот самый, из октябрьских тёплых дней, из шороха и всплеска листьев, слов, всего того, что между ними), и это будет та самая мелодия, которую ты вспомнишь, закрывая глаза.

## СОЗЕРЦАТЕЛЬ ПТИЧЬЕЙ ЖИЗНИ

На моём карнизе (за окном) какая-то голубиная вакханалия. Что-то происходит. Явно космического масштаба. Карниз сотрясается от ударов птичьих лап, воздух раздираем голубиными стопами и (как бы назвать этот странный множественный звук?) бурным и частым взмахом крыльев, клёкотом и таким... горловым квохтаньем и курлыканьем.

Звук, вступая во взаимодействие со степным августовским ветром (ничего, кроме сухого ковыля, сушёного кизяка и нет-нет да и пахнёт стоячими водами, их тяжёлой недвижимой массой, и потом вдруг раз — далёкими странами, голубыми озёрами, кувшинками и ласточкиными гнёздами), — так вот, звук, вступая во взаимодействие с воздушными массами, создаёт странный эффект — моего случайного присутствия в бурной жизнедеятельности обитателей этого кусочка земли.

Август — удивительное время. Похоже, они выют гнёзда. Или подыскивают место для таковых.

Я тихий созерцатель птичьей жизни. Не хочется нелепым движением разрушить выверенность (на первый взгляд) хаотических действий. Вот беспокойный стон — в просвете рафаэлевский профиль кроткой голубки, и вновь — мощный взмах развёрнутых крыльев. Сложенные, они скрывают реактивную мощь взмывающей ракеты. Потоки воздуха несут её к ближайшему дереву, и там, похоже, разворачивается основное поле действий. В семейное собрание вплетаются сторонние голоса — каких-то тропических случайных птиц, неведомых тварей, болотных ужей, дятлов и полевых мышей.

Моё присутствие столь бесполезно и малозначимо в этой картине мира. Влияет ли оно на популяцию птиц? На мерцание далёких звёзд? На зарождение новых галактик? На устройство птичьих гнёзд? На разрастание старого дерева у моего окна? На созревание каштановых плодов, на их недолгий маслянистый блеск, на ажурную вязь листьев, на небеса, просвечивающие сквозь ржавые прорехи?

Венец творения? Не смешите меня. С какой скоростью (и изяществом) эти существа вьют свои гнёзда. У них нет времени. Вот этот короткий просвет в жарких волнах августа, вот этот взмах и пикирование — по человеческим меркам и есть те самые годы активной жизни (успеть обзавестись потомством, построить кооператив, выкормить птенцов).

Кто из нас соглядатай? Голубка, косящая удивлённым глазом, или я, заносщая в условный блокнот свои наблюдения?

В последние дни августа всё живое наконец равно самому себе. Невидимый распорядитель отдаёт приказания, невидимые музыканты разворачивают партитуры. Движения выверены, точны, стремительны. Нет права на ошибку, оплошность.

Дерево у моего окна раскачивается, шелестит, сверкает, оно всё ещё (как никогда) полно света и заключённой в нём жизни, но счёт пошёл на дни.

\* \* \*

Эти тучные птицы облюбовали дерево за моим окном. Не знаю, есть ли у них календарные праздники, отмечают ли они Рождество или Новый год. Уже с утра будничная переключка, равномерное и ритмичное бурление голубиной жизни. Дерево, плотно обсиженное птицами, важными, будто депутаты какой-нибудь небесной думы, пустеет в секунду и остаётся с потерянно торчащими голыми ветвями. Куда столь деловито срываются они всем скопом, что обсуждают, глядя на меня? Возможно, я всего только деталь некоего конструктора, которую принимают они за часть урбанистического пейзажа. Возможно, на их порывистый и поверхностный птичий взгляд, положение моё довольно статично относительно всего прочего движущегося мира. По крайней мере, сейчас. В те несколь-

ко минут осмысленного осознания присутствия в существующей системе координат. Не станция метро и не улица такая-то, а широта и долгота поясов, охватывающих тело Земли. Моё положение статично относительно пикирующего голубя и стабильно относительно многих. Хотя, если вдуматься, что может быть надёжней воздушных струй и небесных потоков? Желая устойчивости, всё живое избегает её, стремится к проникновению вглубь и вширь, к развитию скорости и покорению вершин. Как жаль, что я не обладаю особенными познаниями в точных науках! Что я не в силах вывести изящную формулу и закрепить её, записав как непреложное свидетельство вечного движения и взаимодействия всего и со всем.

Какая восхитительная связанность действий, следствий и причин, мотивов и поводов. Как сладко слышать вопрошающий детский голос, первый из человеческих в этом дне.

\* \* \*

Я вижу сидящего на карнизе голубя, и в этом благая весть. Она в подступающем грозном облаке, во влаге, которой должно разрешиться оно. В ветре, пригибающем деревья, в близости речной воды.

Река пахнет настоящим. Плывёт себе и плывёт, без всяких видимых причин и усилий. Может, и мы можем так? Часами можно сидеть у реки, отпустив свои мысли по течению.

Птицы летают низко. Воздух напоён будущими грозами, влагой, жаром, щебетом. Подходим к середине лета. К сердцевине его. Точно косточка абрикоса. Плоть вокруг неё смята, упивается собственной сладостью, брызжет соком, источает соблазны. Время подвисает в паутине, течёт по проводам, напоминает о себе неслышными толчками, точно сеть кровеносных сосудов, опутывает с ног до головы.

Как будто кто-то наводит театральный бинокль, взятый напрокат у тётеньки в гардеробе. Такой, в уютном сафьяновом футлярчике того же вишнёвого оттенка, что и тяжёлый пыльный занавес.

Картинки прошлого, приближенные бесхитростной оптикой, обретают ясность и завершённость. Наконец-то становится очевидным замысел! Случайная подробность оказывается незабываемой. Масштабное,

значительное — меркнет, сворачивается по мере приближения. Тут и там вспыхивают светлячки воспоминаний, душа сама выбирает, чему быть близкой.

Память — это не увешанная планками грудь юбиляра, не пыльный альбом с чёрно-белыми снимками. Это нежное свечение изнутри. Звук аккордеона из колодца чужого двора. Спотыкающаяся гамма из окна напротив. Уголок тюлевой занавески. Пыльный фикус на подоконнике. Мелодичный перезвон посуды. Топот обиженных ног. Его запрокинутое лицо. Его честные слёзы. Её наивный триумф. Лёгкость обожания. Дыхания. Походки. Восторг междометий, пожатие сведённых робостью пальцев. От батареи идёт ровное, будто от печки, тепло.

Так хорошо засыпать под шорох дождя. Слышен звук сдвигаемой каретки, суховатое покашливание, одинокий голос ребёнка, напуганного сном. И чей-то бубнёж за стеной — четверть алоэ, четверть каланхоэ, по капле в чайную ложку молока...

## ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Прошедшее время. Я его переписываю, если хотите, смещаю акценты, вырезаю кадры и целые серии. Например, школу. Безжалостно кромсаю плёнку. Выбрасываю метры, рулоны. Там, на месте этих кадров, чёрные дыры. Космические пустоты. У меня, у девочки из в целом приличной семьи. Конечно, иллюзию безопасности создавали родители. Дома, среди книг. Зарыться, отсидеться, отогреться (на потом, навсегда) на низком топчане у коротковолнового приёмника, за папиной спиной, под клацанье печатной машинки («Эрика», «Мерседес»), или на Подоле, у тёти. Весь мир, выстроенный, обжитый исключительно для тебя, — вот он, поток безграничной любви. Что было до того (слёзы, потери, страхи) — неважно, ты всего этого не знаешь ещё: ни про эвакуацию, ни про соседей, ни про самое страшное, о чём не принято вслух, — тебе на



фарфоровом блюде — вся мощь и сила добра, в котором ты расцветаешь и плависься, — на вырост, на потом. Двор с необъятной акацией, кошачья свора (у каждого своя индивидуальность, имя), радио на стене, сдвинутые ставни — вот пробивается полоска света, вот ходики с гирькой, подвешенной руками деда Иосифа, — поворот головы, наклон её, полузакрытый глаз (след от казачьей нагайки), мерный звук, мерный и мелкий, — такое подвешенное на цепочке время, и вторит ему утробный бас настенных, напротив, часов. Подушка-думочка под щекой, дыхание где-то там, в тазах клубящегося, зарождающегося варенья — вишнёвого, допустим, с крепкими, мелкими, твёрдыми, очень сладкими ягодами. Всё это для тебя, весь этот волшебный, по кирпичику выстроенный мир — как будто сказочный джинн одним щелчком породил запахи, вкусы, звуки, плотность стен, торжество уюта. Торшер, блюдо, подстаканник, плед, раскрытая книжка, струение голосов, они обтекают тебя, разглаживают, насыщая теплом, защищённостью, — впрок, на все времена, но ты не знаешь ещё, полагая, что навсегда этот крепкий детский сон, байковое одеяльце, заботливо подоткнутое (не дай бог раскроется, простудится). Не навсегда. Но в тебе. С тобой. Этот дар на дрожащих вытянутых руках — сок, чай, неважно, — главное, донести, не расплескать.

Иногда я прохожу мимо этого дома. Точнее, мимо того, что было им. Ворота, массивная цепь, замок. Напротив ресторанчик, довольно, впрочем, уютный, как многое на Подоле. Военная часть. Стена. Провожу рукой. Ладонь вспоминает каждый бугорок, трещину, выступ. По сантиметру можно добраться до главного. Они там. Всё ещё там. Ждут меня у стола. От печи мерное тепло — на века, на века, в глубоком тазу — ах, какой таз! (вы хоть помните, как покупался, как обживался?) — вскипает варенье. С кислинкой. Кизил, клубника, смородина. За кадром — речитатив радио, голоса со двора. Кто-то месит тесто, руки по локоть в муке. До золотистой корочки обжаривается вермишель, получается «бабка», такое смешное лакомство. Люблю, задрав голову, смотреть, как зажигаются огни, как движутся тени. Неважно, что снаружи: осень, зима, весна. Внутри — лето. Оно навсегда. Так отчего же ты медлишь, сорви замок, разорви цепь, иди, ничего не бойся.

## ДОРОЖКИ

Сознание хватается за незначительные детали в тщетной попытке войти в мир, подобный кэрролловскому Зазеркалью.

Цепляясь за краешек истёртой жёсткой ткани, подобной домотканому «паласу», устилающему деревянные крашенные половицы, я вхожу в комнату.

Но нет, никаких половиц, конечно же, не было. Наблюдался светлый, новенький, поскрипывающий паркет — дань новой стилистике, под стать светлой неустойчивой мебели, — ну как мебели, — раскладывающаяся низкая тахта, секретер, полки с книгами, тогда их было относительно немного, — в начале жизни всего, в общем, немного, это минимализм молодости, в которой главное — не подробности бытия, а само, собственно, бытие как свершающийся сиюминутно факт — вот тут оно происходит, на этих квадратных метрах, заполняя собой все углы и плоскости.

Не до подробностей было в крохотной квартирке на Перова. Вот только половички... Подозреваю, не без участия Розы Иосифовны, бабушки, в доме нашем заструились дорожки — предмет дополнительной заботы и пристального внимания. В них регулярно скапливалась пыль — о, сладостный звук выбивания, вытряхивания, — сквозь толщу ранних сумерек, — тёмные квадраты пыли, — на ослепительно белом, это отчётливо видно с нашего второго этажа, — отмытые, пахнущие свежестью и чем-то неуловимо праздничным, ложатся они на паркет, вызывая нечто вроде почтения — как можно ступить на только что вымытую, выбитую и ещё влажную от первого снега ковровую дорожку?

Странно, я не вспомню, при каких обстоятельствах они исчезли, — возможно, обрели новое дыхание в комнате бабушки и её «другого» мужа, — ведь там всё было под стать им — подзадержавшиеся (из другой жизни) громоздкие предметы: сервант, комод, металлический каркас кровати, повизгивающие пружины, за которые можно было хвататься,

извлекая звуки различной сложности, и да, никелированные шишечки, которых я так любила касаться. Похоже, им (дорожкам) уютно было там, в тёмном и сложном мире компромиссов, претензий и уступок, соглашений и пактов о капитуляции.

Ведь в нашей, светлой и праздничной, немного безалаберной, часто бывали гости, и тут уже, вы понимаете, было не до чинных ковровых дорожек, — раздвигался, а после складывался стол, вращались бобины, змеились ленты... Мелькали узконосые ботинки, лакированные туфли на шпильках, оставляя едва заметные отверстия между паркетинами.

Как печально должно было быть в тёмной комнате с никелированными шишечками, когда звуки твиста или рок-н-ролла врывались в быт, подкрепляемый сложившимися ритуалами — время парить в эмалированном тазу ноги, охлаждать холодец, разделявать курицу, время футбольного матча или громоздкого, с храпом и присвистом, сна.

Как часто, переносимая в тёмный и душный мир стариковского присвиста и сопения, лежала я, накрытая чуть ли не с головой, не в силах пошевелиться. На соседних кроватях глыбились глыбы, со стульев свисали белые штанины кальсон, ночь казалась провалом, дурной бесконечностью, но вдруг — о чудо, — поворот ключа в замке, и сердце, объятное ужасом, подпрыгивает — я спасена! Босые ноги, взметнувшись, оказываются на полу, но дорожки, предательски свернувшись под ступнёй, становятся неожиданным препятствием к побегу.

Они хватают меня за лодыжки, утягивая в трясину зыбкого сна...

О, мир стариковского ворчания, размокшая булка в молоке, стакан с плавающим в нём странным предметом, похожим на акулю пасть, тёмное нутро комода, его выдвигающиеся ящички, щедро усыпанные нафталином.

Я помню дамскую сумочку с защёлкивающимся замочком, и в ней, в этой сумочке, сложенные вчетверо бумаги, их желтеющие сгибы, — таинственный и непонятный мир квитанций, уведомлений, повесток.

Скреплённые резинкой письма, тусклые буквы, проступающие на рыхлой бумаге.

Бабушка, откашливаясь, вводит меня в свой мир. Мне кажется, она немного важничает. Ведь это так похоже на музей. Застывшие предметы вызывают боязливое, однако не лишённое любопытства чувство.

Из этих тарелок ели. Из этих бокалов пили. Квитанции хранились. Столы раздвигались. Полки громоздились одна на другую. Книги, журналы собирались в стопки. Доставались, читались, дарились, подписывались.

И только ковровые дорожки... зачем они были нужны? Возможно, исключительно для того, чтобы, являясь в моей памяти, проступали солнечные блики на сплетении нитей, образующих нехитрый узор.

## ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ

Там, с обратной стороны Земли, люди ходят вниз головой. Нет, не то чтобы совсем вниз — только по отношению к нам, идущим как положено. А вот по отношению к ним вниз головами ходим уже мы. Ходим, торопимся, смеёмся, грустим.

Какая из сторон обратная? А вот обе. Абсолютно обе. Говорят, там живут наши двойники. Живёт, например, точно такая, как я. Интересно, неужели и платье у неё моё, красное в белый горошек, и голый пупс в ванночке, и заросли дикого винограда вьются с балкона первого этажа? Неужели длинный пятиэтажный дом, в котором живут обыкновенные люди? А может быть, там, с обратной стороны, люди эти ведут себя по-другому — вежливо раскланиваются при встрече и говорят по-китайски. Потому что Китай — он тоже примерно там находится, и двойник мой — дивная китайка, живущая в бамбуковой хижине, а вовсе не в пятиэтажном доме на улице Перова. И Люсик — китаец, и Рыжая Галоша, и учительница младших классов, маленькая старушка в шерстяном платке.

Зовут её Дина Хаскелевна. Некрасивая, сгорбленная, она возникает на пороге, улыбается, кивает седой головой. Передвигается неслышно, в обрезанных войлочных сапожках. Ходит, будто утюжит натёртый рыжей мастикой пол, вжик-вжик.

— Однажды, — произносит она — и выпускает из-под платка маленькие уютные ручки, — однажды, — говорит она тихо, так тихо, что слышна жужжащая за окном муха, — однажды в одной стране жил фараон.

Когда я слышу слово «однажды», меня два раза спрашивать не надо. Сорок пять минут пролетают как одна, и к дому я иду медленно, стараюсь не расплескать это «однажды». Фараоны, их жёны и сыновья, голодные и сытые коровы.

Медленно ползёт караван по обратной стороне Земли. На золотой колеснице восседает многорукий фараон, а за ним тащится голодная корова. У коровы тощее иссохшее вымя и налитые печалью глаза.

Я горделиво озираю окрестности. Все эти люди — мои подданные. Подданные моего королевства. Старушки на скамейках, небритые мужчины у ларьков, заспанные продавщицы. Растущие у обочины васильки, примятые листья подорожника. Им и невдомёк.

Ведь настоящий король, он всегда немножечко нищий, он такой... специальный король, внутренний. Он может спокойно прогуливаться по бульвару Перова и пить трёхкопеечную газировку. Настоящий король ничем не отличается от своего народа.

Только однажды... Вы слышите? Однажды...

Кто-то хватает меня за ворот платья. Визжат тормоза.

— Ты что, ослепла? Куда прёшь?

Огромный детина в полосатой тенниске выскакивает из кабины грузовика. Он озирается по сторонам, и лицо у него растерянное, пунцовое.

— Ты хоть понимаешь? Мне что, в тюрьму из-за тебя садиться? Ты где живёшь?

Живу я напротив и всякий раз, переходя через дорогу, смотрю на наши окна. Я жила здесь всегда.

Дом — это такое место... В общем, оно навсегда. Щербатые ступеньки, скособоченный почтовый ящик, обитая дерматином дверь, падающие с дерева марельки. Такие маленькие твёрдые абрикосы. Их можно есть зелёными, так же, как и кислющие райские яблочки. Яблочки скатываются под ноги, ударяют по макушке.

Отсюда никуда не уезжают. Разве что однажды... Навсегда алкоголь дядя Стёпа. Иногда её называют старой перечницей. Ну, старая — это понятно. А почему перечница? А потому что нос у неё — огромной картофелиной, мясистым мятым перцем, да ещё и в таких забавных чёрных крапинках и глубоких рытвинах. Иногда пахнет от неё странно, очень странно.

Покачиваясь, стоит она на ступеньках, улыбается мягкой, слезливой, неприятной улыбкой. Морщинистое лицо разъезжается в стороны. Запльввший глаз закатывается под самый лоб, а нос, он уже не перец, а целая груша, — раскачивается над подбородком — туда-сюда.

Дядя Стёпа озабоченно роется в чёрной, истёртой на сгибах кошёлке. Пахнет от кошёлки чем-то тяжёлым, удушающим.

— На вот, деточка, возьми ириску.

Ириска липкая, пачкает ладонь. Я осторожно кладу её на подоконник в пролёте второго этажа.

Там, с обратной стороны Земли, похожая на меня девочка в перекрученном чёрном фартуке так же медленно поднимается по ступенькам. А та, другая, семенит в сторону гастронома, раскачиваясь на ходу вместе с носом и потёртой кошёлкой. Когда-то её звали... Впрочем, это неважно. Когда-то её звали женским именем. Простым и благозвучным.

Однажды в одной стране жил фараон. У него была золотая колесница и прекрасная жена. Колесница колесила по прекрасной, волшебной стране с бесплатной газировкой (три копейки стакан), бесплатными жареными семечками и бесплатным кремом от бисквитного торта. Кремовые завитушки, похожие на собор Василия Блаженного (я видела на открытке). Там, в этой волшебной стране, каждой старушке полагалась куча ирисок «Золотой ключик». Только успевай. В распахнутые кошёлки сыпались конфеты, леденцы, шоколад. Каждой старушке полагался

эскорт из вежливых девочек и мальчиков в ослепительно-алых галстуках.

Эскорт переводит старушек через дорогу и отдаёт честь.

— Я милёнка полюбила, я милёнку отдалась, — так и есть — хлопает входная дверь, это возвращается совсем весёлая дядя Стёпа. То есть теперь её веселье немножечко буйное, опасное даже. Она спотыкается и произносит слова... Это такие слова, которые не следует повторять детям. Чертыхается и спотыкается снова.

— Я милёнка, — она стучит в собственную дверь. — Открой, курва старая, открой, — садится на ступеньки и плачет.

Странно, в однокомнатной квартире дяди Стёпы никто, кроме неё самой, не живёт.

Я припадаю к замочной скважине и вижу, как шарит она по дну кошёлки в поисках ключа. Всхлипывает и сморкается прямо на пол.

Однажды в одной стране жили одни люди. Обычные люди. Обычные, да не совсем. Они катались на трамваях, ходили в цирк, стояли в очередях, спускались по ступенькам. У них, у этих людей, всё было как у нас. Пятиэтажные дома и тёмные подъезды. Лестничные клетки и тесные комнатки. Папиросы «Беломор-канал», конфеты «Золотой ключик», кремовые завитушки и полные жмени жареных чёрных семечек. Облигации государственного займа, сложенные вчетверо и лежащие в комоде, в стопках глаженого белья.

Белые шарики нафталина. Несметные орды клопов. Полчища рыжих тараканов. Алюминиевые кастрюли, чугунные сковородки, деревянные прищепки. Мастика. Никелированные шарики кроватей, группы продлённого дня. Дворовая стенгазета, шахматный кружок. Метро, самое красивое в мире. Статуя пионерки с отбитым носом. Горн, построение, поднятие флага. Политинформация, товарищеский суд.

Это были очень счастливые люди. Насколько могут быть счастливыми те, кто ходит вниз головой. На противоположной стороне Земли, разумеется, от нас, идущих головами вверх.

## ОСКОЛОК

«Глянь, как зыркает. Я те позыркаю. Смотрит как волк. Нехристь». Таков был вердикт этих достойных женщин. Большая часть из них говорила на суржике, закалывала на затылке жидкую дулю, и все вместе они слились в одну полную, на тяжёлых ногах, которая, кряхтя, моет полы, говорит «дывысь» и не любит меня. Просто не любит. Почему-то не любит меня, ту, которую любят папа, мама и бабушка.

К сожалению, я не очень помню. Вдруг они всё-таки любили других детей. Но если бы это было так, наверняка я бы об этом помнила. Нет, не было никакой любви в мире унылых каш и тягучих киселей. Не было её в баке с компотом из сухофруктов. Не было в толстом омлете, в жидком гороховом супе, в синеватом картофельном пюре.

Не было её в глубоком бидоне, который волокли по коридору две хохочущие (не для меня) нянечки. Ни в тихом часе, ни в мёртвом свете зимних ламп, ни в новогоднем утреннике, ни в молочных пенках, над которыми роняла я слёзы неподдельного и неизбежного горя. Ну откуда же было им знать, что у нехристи этой наверняка непереносимость лактозы! И было ли в их лексиконе слово такое — лактоза?

Пытаюсь вспомнить лица. Хотя бы одной. Нет, не было лиц. Круглые расплывающиеся блики, пятна, громоздкие силуэты. Отчего старуху Ивановну с первого этажа я помню в мельчайших подробностях, отчего помню горбатую Любочку из соседнего подъезда? Я даже помню её зятя и дылду дочь, и даже маленького несчастного Илюшечку помню.

Я помню стриженную под горшок девочку Валю, которая говорила «мясо», «дадишь», «верьёвка», я помню тяжёлую дверь подъезда, и как она открывалась (сопротивляясь холоду) зимой, и как ударял в грудь и лицо острый воздух.



Я помню тягучее слово «ангина», горло, обложенное плёнками, жжение горчичника под лопаткой и этот густой ненавистный запах его (сквозь жар и бред). Пальцы нащупывают обезьянку (о, сколько в Жаконе любви, с какой готовностью она, то есть он, прижимается ко мне), иди же сюда, мой маленький дружок, я расскажу тебе сказку. Рассаживаю полукругом кукол, читаю им книжки. Книжки-растрёпки, — смеётся папа, и в этом столько любви.

В комнату вливается малиновое облако, оно накрывает меня, вынуждая глотать, о, как больно и сладко, как горячо. Чьи-то руки взбивают, переворачивают подушку, вытаскивают градусник. Прохладная рука на пылающем лбу.

Я не пойду в садик? И в школу не пойду? Ни завтра, ни даже в понедельник? Ведь ты не дашь им забрать меня, этим чужим людям из казённых домов со слепыми окошками?

Мама смеётся, качает головой, она разрешает мне оставаться в постели с Жаконей сколько я захочу (в то зимнее зябкое утро), из кадра уходит тягостная повинность, и это безусловная любовь. Утешенная, распаренная, забываюсь, не выпуская маминой руки.

Помню осколок разбитой чашки и чувство непоправимого. Какое тяжёлое, давящее детское горе. Как теснит оно грудь, как жжёт под ресницами.

Вечер. Бабушка наряжает меня в какие-то «гости». К каким-то её (их с маминим отчимом) знакомым, в тёмные улицы, в душные комнаты, во что-то чужое и неприятное мне. Там накрытый тёмной скатертью стол, лица, которые я не помню, зудящие голоса и тяжкая, монотонная, непереносимая скука. Я даже готова идти в сад, лишь бы не ходить в эти «гости», к незнакомым вздыхающим людям. В тот вечер всё тёмное, всё ненужное, от глубокой тоски мне хочется громить и кромсать всё вокруг, и я хватаю тупые ножницы и с наслаждением высверливаю дыру в нарядном и тесном платье.

Ах, сколько любви в солнечном свете! В виноградной лозе, опоясывающей синий балкон. Я купаю пупса, переворачиваю его так и этак, обёртываю носовым платком, вытираю насухо. Немного важничая. Конечно, мой пупс точно такой, как у других девочек. Всё точно такое. Ванночка, пупс, какие-то обрезки материи. Это целая жизнь. Огромная летняя жизнь.

Мне выносят стульчик на улицу, во двор, и я воображаю себя билетёром. Как будто подъезд — это кинотеатр. Я раздаю билетки. Люди смеются моей изобретательности. Кто-то хвалит — какая сообразительная. Я важно нарезаю бумагу квадратиками и пишу на ней буквы. Это ваш билет, говорю. Пятый ряд, седьмое место.

Почтальонша смеётся, поплёскивая металлом. Что-то беспокоит меня. «Мама, у всех бывают железные зубы? Ведь это же так некрасиво!» Впрочем, у многих встречаются золотые. Полный рот золота. В нашей семье ни у кого нет ни золотых зубов, ни железных, и это несколько утешает меня.

Вечер. Родителей нет, их так долго нет, что я ощущаю сквозняк. Сиротство. Особенно когда бабушка пытается накормить меня булкой, размоченной в молоке. Если вы хотите сделать вашего ребёнка абсолютно несчастным, накормите его тюрей.

Бабушка, сейчас (кричу я) такое не едят! Это старая еда! Это для старых! Для железных зубов!

Булка плавает в молоке, будто распухшее шестипалое чудовище. Я слышу, как тикают ходики, как одиноко тикают ходики, как надрывается изношенный часовой механизм, приводящий в движение Вселенную.

— Мирзолзайн<sup>1</sup>, — говорит бабушка, и я забываюсь горьким и беспроектным сном. В этой соседней комнате (которая как другое государ-

---

<sup>1</sup> Пусть все твои несчастья станут моими (*идиш*).

ство со своими законами и порядками) живут другие сны. Они тяжёлые и душевные... Стараюсь не думать про розовую челюсть (бабушкиного мужа), которая плавает в стакане с мутно-белёсой водой. Сквозь прикрытые веки наблюдаю за бабушкой — она бормочет, вздыхает, то сидя на стуле, то тяжело ступая по полу, переставляя, перекладывая какие-то предметы. Это как долгий безутешный плач, как жалоба, которая останется безответной.

Одна надежда на утро. Я вернусь в наш светлый, залитый солнцем мир, в котором книжки, растрёпанные журналы и ленты от бобинного магнитофона. Там нараспашку окна, там пахнет яичницей-глазуньей, там юные люди танцуют твист и ча-ча-ча и почему-то смеются, глядя на стоящую в пижаме сонную меня.

## БУЛЬВАР ПЕРОВА, 42

— Ну, иди уже сюда, горе моё, — расставив полные ноги в балетках, баба Роза придирчиво наблюдает за неистовыми прыжками по асфальтовой дорожке. — Ну, уже иди сюда, — она ещё шире раздвигает ноги, изготовившись сомкнуть их на моей вертлявой талии. — Первое, — высморгаться — вот так, не жалей, я же слышу, у тебя там осталось, — второе — не бегай ко второй парадной, — кто там сидит? кто? — умничка моя, золотко, — пра-авильно! — баба с кастрюлей на голове и баба Череп, а ещё кто? — Хромая Люся, Петрова с противоположного дома, мало ей своих скамеек, и Криворучка.

Клятвенно пообещав не бегать ко второй парадной, я наблюдаю за тем, как медленно всплывает бабы-Розина спина в дверной проём, — авоська с селёдочными хвостами бултыхается у сливочных икр, — стоит роскошная середина южного лета, и баба Роза не носит чулок, а надевает балетки на босу ногу — не балетки, а чистое наказание, жмут в пальцах, натирают нежную кожу.

Если бог создал рай, то рай находится где-то здесь — между первым и вторым палисадником приблизительно, в сени огромной акации, на примятой, растущей как попало траве, окружённой кустарником, в спутанных ветвях которого нет-нет да попадаются кислые сизые ягодки — есть их категорически нельзя, от них могут вывалиться глаза, вырасти волчья шерсть и клыки, но разве ж можно удержаться и, зажмурившись, не прокусить тонкую синеватую кожицу...

Про рай баба Роза, конечно же, не догадывается и потому строго-на-строго запрещает переходить из первого палисадника во второй — ведь всем давно известно, что по городу ходит банда и крадёт маленьких детей, и даже таких непослушных, со сбитыми коленями в зелёнке. Что делает банда с маленькими девочками, баба Роза не уточняет, но именно то, что она деликатно не договаривает, волнует и будоражит моё воображение.

Конечно же, баба Роза и не подозревает о том, что она давно уже не является единственным источником информации и истиной в последней инстанции тем более. С некоторых пор я снисходительно отношусь к её историям, потому что она уже старенькая и многого просто не понимает.

То, что баба Роза уже старенькая, не может не печалить меня — мне кажется, что старость — это что-то постоянное, ведь я никогда не видела бабу Розу молодой. Баба Роза старенькая, и она может умереть — как, например, Танькина бабушка с третьего этажа.

Уже засыпая, я вижу процессию, плывущую вдоль дома и выплывающую на бульвар Перова, и слышу торжественную оглушительную музыку, — а-а-а-а-а-а, — кричу я и просыпаюсь и долго вслушиваюсь в свист и храп, доносящийся с высокой кровати. Баба Роза храпит так, как может храпеть только *очень живой* человек, — она храпит не однообразно, а весело — с нежными переливами, с бульканьем, с клокотанием, и это гораздо страшней, чем скорбная процессия и играющий вразнобой оркестр, — баба Роза, шепчу я, — баба Роза, мне плохо, я умираю, проснись...

Если бог создал рай, то он позаботился о том, чтобы в раю было вечное лето — оно ещё бывает бабьим, но я в этом мало что понимаю, — в

этом году бабье лето, — сообщает мне баба Роза, и это значит, что до резиновых бот и красных валенок ещё целая вечность, а пока можно охотиться за жуками, обкладывая разноцветными стёклами «секретики» и прятаться за мусоркой, вжимаясь спиной в крашенную известью стену.

Можно играть в «казаков-разбойников», выбрав в пару самого отчаянного мальчика двора, и однажды взлететь на подножку уходящего неведомо куда автобуса, и очутиться в незнакомом районе с точно таким же гастрономом и такими же пятиэтажками, и долго блуждать по чужим улицам, повторяя, будто заклинание, вызубренное однажды и навсегда: «Бульвар Перова, 42, квартира 18».

Если бог создал рай, то он населил его старушками, восседающими на лавочках у первого, второго и третьего подъезда. Эти старушки, кивающие головами в разноцветных платках, знают обо мне всё — что я бабы-Розина внучка, что я уже «совсем выросла», что вчера у нас были гости, что родители у меня не такие, как все, что «они армяне», что они, страшно сказать, «евреи», — не слушай их, — сжимая мою руку, баба Роза подымается по ступенькам, — ну армяне, это так же непонятно, как индейцы, — я распускаю косы и издаю победный клич — хей-о!!! — недавно меня водили на «Виннету-вождь-апачей», после чего я решила, что интересней всего быть индейцем, индейкой то есть.

С индейцами всё ясно, они благородные и сражаются против белых, но евреи? Если евреи — это баба Роза, и баба Рива, и дед Йосиф, то против кого сражаться им? И смогут ли они сражаться? Смогут ли они действовать слаженно и бесстрашно против неведомого врага?

У бабы Розы вставные зубы, на кухне она часто сидит у окна и разговаривает сама с собой, ведёт долгие беседы, кивает головой и пожимает плечами.

Она вспоминает эвакуацию, понимаю я, и пристраиваюсь в уголке с книжкой, но листаю её рассеянно, потому что монолог бабы Розы гораздо интересней, гораздо, — он страстный, гневный, умоляющий, напевный, — в нём баба Роза сводит счёты с кем-то явно всесильным и всезнающим, но каким-то бесчувственным, что ли...

— Ты слышишь? Ты слышишь меня? — вопрошает она и сладко прикрывает веки, — всего на секунду забывается, а потом вновь заходится, соединяя обрывки слов, междометий, — горестно раскачивается на хрупком табурете, складывает щепотью пальцы и прикладывает их к груди.

— Они хитрые и жадные, — Танька Мороз поглядывает исподлобья и добавляет: — И богатые.

Таньку Мороз я знаю сто лет, мы сто раз ссорились и мирились здесь же, под старой акацией, но поводом для ссор были гораздо более серьёзные вещи, например немецкий пупс с гибкими ручками и ножками и ярко-красным морщинистым ротиком, а ещё набор пластмассовой посуды для крошечной кухни, а ещё — прозрачные наклейки с изображением ягод, а ещё — жвачка, которую мы жевали по очереди до тех пор, пока она не превращалась в серую клейкую массу.

Жевать жвачку в одиночестве, согласитесь, просто смешно — во-первых, об этом мало кто догадается, во-вторых, так приятно, так здорово мять в пальцах толстую серую гусеничку, раскатывать колобок, делить его на две, а то и четыре части. Жевать иступлённо, поглядывая друг на друга с ликованием заговорщиков... Хочешь жуйку? — небрежно выдуть огромный пузырь, втянуть его обратно и жевать, жевать, жевать...

— А ну, дай сюда, — баба Роза шарит под подушкой и заставляет открыть рот. Больше всего она боится, что я так и усну со жвачкой, и тогда, не про нас будь сказано, — она горестно качает головой и рассказывает ужасный случай про одну глупую девочку.

Они хитрые и жадные, — ну, что-то в этом есть, — я ловко прячу своё сокровище в наволочку и засыпаю под тиканье ходиков, так и не дослушав ужасную историю до конца.

Утро начинается с истошного «вейзмир», потому что волосы мои, от природы и так не слишком послушные, оказываются склеенными намертво. Я шарахаюсь из стороны в сторону, уклоняясь от густого гребешка, понимая, что не избежать мне судьбы одной глупой жадной хитрой девочки, голову которой обрили и густо обмазали зелёной. А потом продали в цыганский табор, водили по улицам и показывали за деньги.

## СИНИЕ ТРИКО

В старой квартире через кухню была натянута бельевая верёвка, а на ней сушились именно они. Беззастенчиво распятые, они парили над головами и шлёпали по макушке каждого проходящего под. Хозяйкой трико была молчаливая Дора; кто и когда назвал её молчаливой, ума не приложу, но факт остаётся фактом — рот у Доры не закрывался двадцать четыре часа в сутки. Утро начиналось с неё, и день заканчивался ею же. Она комментировала всё — собственные действия, действия окружающих, свои мысли о предполагаемых действиях и впечатления от увиденного.

— А! — восклицала она, делая большие глаза. — Это та, у которой ни копейки, а с рынка полные сумки тащит. Эй! — вопила она, высунувшись в форточку. — Почём вишни? — Голос у неё был хриплый, как будто она ещё не прокашлялась спросонья, и хотелось взять её за ноги, за две большие массивные ноги, и хорошенько потрясти, словно грушу. — Почём вишни? Сколько купила? А крыжовник почём? — Развернувшись, она сообщала только что услышанное, увиденное и добавляла от себя парочку-другую эпитетов.

— Десять — кило, ведро — двадцать рублей, — бормотала она, наморщив лоб. От этого она становилась похожей на бухгалтера из домоуправления. Не хватало только синих нарукавников и круглых очков с перебинтованной дужкой.

На сумки она налетала, будто хищная птица, — профиль её алчно нависал, а глаза так и шныряли.

— Ай-ай, — стонала она, причмокивая, — вишенки, только дорогие, на мою пенсию не разгуляешься. — Веки её скорбно прикрывались, но глаза под ними не переставали перебегать — с вишен на крыжовник, с крыжовника — на яблоки, — она, разумеется, пробовала и то, и другое, и даже третье, — скривившись, швыряла в ведро огрызок. — Фе! — што-то кислое, как не знаю что, — деньги на ветер! — выносила она вердикт и стремглав неслась к окну.

Она знала всё и про всех. Кто когда женился, у кого кто болеет, кто завёл интрижку на стороне и кто собирается разводиться. Она чуяла близкую кончину и рождение — да что там, она рождалась и умирала с каждым, не прекращая комментировать. Самое ужасное — её невозможно было выключить, как радио, — малейший намёк на «многоговoreние» вызывал вспышку смертельной обиды — молчаливая До обращалась в соляной столп и делала жест, которым якобы зашивает себе рот.

— Ни слова! — как будто произносила она, яростно вращая зрачками, — больше ни слова вы от меня не услышите — но от кого тогда вы узнаете о ценах на ягоды и на гречку, об урожае и прогнозе погоды, словом — обо всём! Кстати сказать, молчание Доры было ещё страшней, чем говорение. Молчала она страстно, виртуозно — как хорошая драматическая актриса, она держала паузу...

Но не уходила!

Она продолжала присутствовать, всем своим видом напоминая о себе, — откашливаясь, в тысячный раз прохаживалась тряпкой по кастрюлям, горестно заглядывала в шкафчик, укоризненно вздыхала и — молча! — стояла у окна. Можно только представить себе, каких невероятных усилий стоило ей молчание! Казалось, слова клокочат и трепещут в её просторной груди, подкатывают к гортани, щекочат язык... Молчание её становилось воистину непереносимым! Оно было огромным и заполняло собой всё пространство кухни. Все отчего-то принимались ходить на цыпочках.

Сопя, она раскладывала на доске курицу и молча принималась за разделку. Это было то ещё испытание. Наточенное лезвие порхало, ошмётки взлетали, и, верите ли, это было ужасно. Ужасно было не слышать сладострастного бормотания: ай, какой пупочек, ай, крылышко, ай, шейка!

Но я не об этом. Я о трико. Всё это время синие трико угрожающе (или торжествующе) развевались над головами. Что это было? Капитуляция? Победа? Перемирие? Всё, что нам было нужно, — это немного терпения. Совсем чуть-чуть. Потому что с каждым взмахом ножа лицо



молчаливой До разглаживалось и светлело. Казалось, распластанная на доске курица вдыхала в неё новую жизнь. Дыхание Доры становилось размеренным, а на щеках появлялся нежный, точно у девушки, румянец.

— Фрикадельки, — это было первое слово после часа или даже двух, — фрикадельки — детям!

Кастрюля с бульоном и фрикадельками так благоухала, так источала, — за кольцами вздымающегося пара лицо Доры казалось молодым и даже красивым... Ей-богу, молчание было ей на пользу!

— Фрикадельки — детям! — повторяла она и величественно удалялась. Её необъятный зад колыхался, а исчезающая в дверном проёме спина была красноречивей многих слов. Но я не об этом. Речь о Дориных трико. Иной раз, откашливаясь, мама заводила беседу о том, что хорошо бы, — понимаете ли, Дора, — у нас бывают гости — интеллигентные люди, аспиранты и даже профессора, — это неудобно, — пускай пока повисят в комнате, вы не возражаете?

— В комнате? — уперев руки в массивные бёдра, Дора запрокинула голову и раздражалась визгливым хохотом. — И это вы называете комнатой? — Смех её переходил в клёкот, вой, рыдания.

Мы, дети, с интересом ожидали развязки, потому что в чём-чём, а в истериках молчаливая До слыла великой мастерицей!

— Это вы называете комнатой? Это гроб! — взвизгивала она, обводя собравшихся торжествующим взглядом, — слава богу, истерики сегодня не предполагалось, всего только немного иронии, сарказма... — Этот гроб вы называете комнатой? И в этом можно жить?

Что сказать, в предложениях равных нашей До не было.

— И что, вам стыдно за моё бельё? Вполне приличное бельё, не рваное, слава богу, не латаное и, что самое главное, чистое!

Последний аргумент крыть было абсолютно нечем — бельё было действительно чистым и даже подсинённым. Тяжёлую выварку Дора собственноручно водружала на плиту и священнодействовала над ней часами, орудуя такой специальной деревянной палкой. Конечно, интеллигентные молодые люди, которые заглядывали в наш дом, в первый

момент были несколько... как бы это сказать... фраппированы, но только в первый момент.

В доктора Жан-Поль-Марию я была тайно влюблена, как влюблена была и в его предшественника. И во всех папиных студентов, а потом аспирантов, в друзей их друзей, в их жён (временных и постоянных), а также просто подруг. После Жан-Поль-Марию в нашем доме бывали перуанец (японского происхождения) Мигель, маленький, будто выточенный из тёмного дерева, перуанец Хорхе (и его прелестная жена, похожая на индейскую пёструю птицу, её звали Бригитта, а также их крохотный сын Пепик), доминиканец Отто и его прелестная юная возлюбленная из Венесуэлы Паулина. В каждого нового гостя влюблялась я страстно и почти безответно, хотя нет — они тоже питали к неловкой девочке-подростку, по всей видимости, добрые чувства.

Однажды я влюбилась одновременно в пятнадцать человек — это были аспиранты и студенты из Сирии и Ливана — все как один статные и яркие юноши (и взрослые мужчины) армянского происхождения, — все как один сидели они за нашим столом, подвергаясь безудержному гостеприимству хозяев и моему безусловному молчаливому обожанию. Но это тема совершенно другой истории.

Темнокожий аспирант из Конго, кажется, был тайно влюблён в обладательницу столь роскошного белья. Польшая белками глаз, он воздавал должное фрикаделькам, бульону — он одаривал До чарующей белозубой улыбкой и время от времени, поглядывая вверх, вздыхал; что напоминала ему синяя бязевая ткань? Невесту? Возлюбленную? А может быть, некую могучую прародительницу, мифическую богиню плодородия?

— Надо же, кушает, — подперев подбородок пухлым кулачком, Дора с умилением поглядывала в сторону заморского гостя. Она немного... по-женски... по-матерински... жалела его, такого чёрного, такого одинокого на чужбине. — У них, наверное, там голод, не то что у нас, слава богу.

Доктор Жан-Поль-Мария — а он был доктор — уже не вполне молодой — благоухающий, корректный, весь в манжетах и запонках, — бла-

годарно кивал, склонив жёсткую плюшевую голову над тарелкой, — всё-таки удивительная страна, удивительные нравы... Под его бархатным взглядом До расцветала — она трепетала, точно птичка, и щебетала, щебетала, щебетала...

Доктор Жан-Поль был благодарным слушателем: ни разу! — ни разу он не перебил молчаливую Дору, напротив — с грустным и сосредоточенным вниманием он вслушивался в её голос, вспоминая, должно быть, интонации спиричуэлс и таких же щедрых, смешливых и гневно-прекрасных женщин своей далёкой родины.

## РЫБА

**В** тот день папа принёс рыбу. Не просто рыбу. Рыбину. Не знаю, где он её достал (в те времена настоящую еду именно что доставали или добывали, как трофей).

Уж, во всяком случае, не на удочку. И не в рыбном (там такие сроду не водились).

Это была огромная красная рыба, необыкновенно вкусная (я такой больше нигде и никогда не ела), какого-то специфического посола, — казалось, я могу её есть всегда, длить и длить это блаженство, которое так и тает на языке, оставляя солоноватый вкус счастья.

К слову сказать, явление этой особенной рыбы пришлось как раз на постскарлатинный период, когда я шла только на солёное. Обычную каменную соль из солонки я могла есть, подбирая крупинки влажным пальцем и слизывая их по одной.

Рыба, повторюсь, была особенной, редкой и слишком... роскошной, что ли, для нашей небольшой кухоньки на втором этаже обычной пятиэтажной хрущёвки. Несоразмерной, должно быть, обстоятельствам чувствовала себя и она.

«Не тот масштаб», — наверняка думалось ей, уныло лежащей на столе, с которого пришлось убрать всё лишнее. Чувство вселенской несправедливости, вероятно, теснило её перламутровую грудь, незаметно переходящую в серебристый животик.

Господи, какой прекрасной она была. Упругой, скользкой, благоухающей. Надо ли упоминать о том, что холодильник наш был соразмерен квартире, но уж никак не прекрасной гостье?

— Боже, — выдохнула мама, склонившись над страдалицей. Бедная юная мама, она вообще не понимала, с какой стороны подступиться к этому фантастическому явлению. И даже бабушка, которая в жизни не видела ничего крупнее карпа или леща, заметно сникла.

Что же касается добытчика — главы, так сказать семейства, то он тоже, в общем, был не очень искушён в рыбных вопросах, — скажу больше: он не только не ел ничего рыбного, он его на дух не переносил. Одному создателю известно, как удалось ему донести это самое рыбное до дома. С трудом представляю папу, всегда со вкусом, с иголки одетого, — в трамвае, среди кошёлков, авосек и корзин, — с увесистым пахучим свёртком в руках.

На семейном совете решено было поделиться рыбой с Верочкой, которая жила неподалёку. Это была интеллигентная женщина неопределённого возраста и миниатюрного роста, кажется мамина сотрудница, переводчик.

Но для начала её нужно было разрезать. Не Верочку, разумеется, а рыбу. Вооружившись острым ножом, мама сделала тонкий надрез вдоль жемчужного брюшка. Папа предпочёл удалиться, не вынеся благоухания и вида беспомощно распростёртого на столе существа. Ах, что за жабры, что за плавники, какой немислимый хвост и чешуя на нём!

Воображаю, как обрадовалась маленькая Верочка такому королевскому дару.

Не помню, сколько длилось рыбное благоденствие нашей семьи, — казалось, даже оставшейся половины хватит на долгую-преддольную жизнь.

Собственно, именно таковой она и является, особенно если дело происходит в тесной кухоньке, окнами выходящей на бульвар. За кото-

рым — школа, но об этом потом, возможно через месяц или два, а пока же солонка полна отборной, чуть сероватой крупнозернистой соли, она не закончится никогда.

## ДО КУРИЦЫ И БУЛЬОНА

**Е**сть ли в вашем доме настоящая шумовка? Которой снимают (в приличных домах) настоящий жом. Жом — это для тех, кто понимает.

В незапамятные времена дни были долгими, куры — жирными, бульоны, соответственно, — наваристыми, и жизнь без этой самой шумовки уж кому-кому, а настоящей хозяйке показалась бы неполной.

Шумовка как важный предмет кухонного обихода была ничуть не менее важна, чем, например, стиральная доска или чугунный утюг. Таким утюгом можно было выгладить всё что угодно! Какими безупречными казались складки, стрелки, воротнички — стоило только пройтись по ним тяжеленным (не трогай! обожжёшься, уронишь, покалечишься) и полным незаметного достоинства чугунным чудовищем. Чудовище было сделано на века (и где он теперь, где? не иначе как в одной из антикварных лавок, коих развелось великое множество). Как, впрочем, и дверцы комода, и выдвижные ящички (шифлотики, или шухлядки — кому как нравится). Однажды пришлось обильно попотеть, прежде чем открылся запертый на ключ нижний ящик письменного стола, — ключ всё не поворачивался в засорённой чем-то замочной скважине, я долго корпела над ней, сопя, пока не раздался характерный хруст — что-то предательски треснуло в этой самой скважине, и ладони мои взмокли, — обломки ключа я выковыривала с каким-то извращённым сладострастием, а после уже рвала и терзала ни в чём не повинный ящик — клянусь, мало что могло остановить юную взломщицу в момент совершаемого преступления, хотя картины Страшного суда одна за другой являлись перед затуманенным взором.

Хруст, щелчок, рывок, и ящичек плавно поддался, — не ожидая столь быстрого разрешения, я замерла — перед свершившимся (о, не исправить, не скрыть) фактом и богатством открывшегося.

Чего только не было в тайнике! Насладившись вдоволь — перечисляю по порядку — записными книжечками, перьевыми ручками, курительными принадлежностями (и в том числе изогнутыми причудливо трубками), сладким табачным ароматом, сверкающими зажигалками, кнопками, монетами, открытками, ножиками для разрезания бумажных листов — дрожащими руками я выудила со дна ящичка старательно перевязанную бечёвкой пухлую пачку писем.

Не мешкая, развернула её — впрочем, я делала это столь же поспешно, сколь бережно, — письма (это я поняла, уже разворачивая, на ходу вчитываясь, вникая) оказались от довольно близких мне людей — сказала бы, самых близких, — и что удивительно, по тональности писем, легко сопоставив даты, события, факты, я сделала весьма важный вывод. Забравшись с ногами на застеленный грубым паласом топчан, стоявший неподалёку, — а дело происходило в кабинете отца, в святая святых, — я погрузилась в чарующий мир чувств, эпитетов, иносказаний.

Странное дело. Преступницей я себя не ощущала. Счастливо улыбаясь, листала странички, исписанные порывистым папиным почерком, придирчиво всматривалась в даты, искала соответствующий дате и смыслу мамин ответ — о, я ощущала себя донельзя причастной к таинству, и потому мысли о противозаконности моих действий были весьма далёкими от меня. Ведь то, что находилось у меня в руках, было очевидным доказательством того, что рождение моё стало всего лишь звеном в цепи почти случайных событий и что без этих писем (в которых... о боги, в которых, будто удивительнейший роман, развёртывалась история, конечно же, любви — не родителей, а пока ещё незнакомых мне людей, незнакомой мужчины и незнакомой женщины), что без этих писем, сумбурных, полных противоречий... не было бы...

Пока писались эти письма, уже (где-то там, на небесах — даже я, без пяти минут пионерка, смутно об этом догадывалась) зажигалась крохот-

ная звезда, предшествовавшая моему рождению. При чём здесь шумовка, спросите вы, при чём здесь бульон? Да вроде бы ни при чём, — отвечаю я, чуть подумав.

Вроде бы ни при чём, хотя... Это был долгий, долгий сентябрьский день. Бабушка возилась на кухне, снимала шумовкой жом (такая мутная желтоватая пена), — она снимала жом, радуясь тому, что курица оказалась, слава богу, упитанной, — варка курицы была, если хотите, миссией, судьбой, счастливым итогом состоявшейся жизни... Я, вполуха вслушиваясь в бабушкино бормотание (там было и насчёт курицы, и насчёт всего прочего, но об этом потом), исступлённо возилась у взломанного ящика, а после, забыв обо всём на свете, упивалась романом в письмах. В нём был долгожданный ответ на постоянно задаваемый вопрос — что было до всего? Ну, до всего — до того, как появилась земля, луна, солнце, звёзды, — ещё до курицы и бульона, до громоздыхающихся одна на другую пятиэтажек, до сгущающихся осенних сумерек, до жёсткого папиного топчана, до бабушкиного бормотания там, на душевной кухне, до сломанного, застрявшего в замке ключа, до моего преступления и последовавшего за ним наказания (а вы как полагали?) — несерьёзного, впрочем, — ну как ты могла? как? чужие? письма? читать? не говоря уже о ящике? — ещё до всего, что случилось тогда и должно было случиться после.

Любовь — именно она — до звёзд, луны, бульона и курицы, — она явилась причиной всему — как начало длинной-предлинной истории, в результате которой на свет появилась я — потное, виноватое, взъерошенное существо со стиснутыми кулаками — ещё минуту назад потрясённое великим открытием, пожалуй, самым значительным в жизни.

## ЛЮБОВЬ К ЧЕРНОЗЁМУ

— Знаете, я вам так скажу, не любит она землю, не любит, — произнесла она, проводив взглядом мою макушку, мелькающую там и сям между деревьями за окном.

Окно школьного коридора выходило прямо во двор, выложенный бетонными плитами, между которыми пробивались чахлые травинки. Эти травинки мы выщипывали во время уроков ботаники.

Понукаемые бабой Таней, Телегой, Оглоблей, которая страстно любила полоть. Полоть, сапать и таскать землю.

Похоже, душа её изнывала по земле, по тяжёлому крестьянскому труду, а приходилось воспитывать школьную мелкоту, заодно прививая ей, этой самой мелкоте, любовь к прополке. Сама она тоже не отлынивала. Большая, нелепая, вся в каких-то буграх и жилах, с наслаждением засаживала сапку и разгибалась, сжимая в пальцах жирный ком земли. На лице её в этот момент наблюдался элемент явного сладострастия — она добрела на глазах, узлы морщин распускались, и если бы не огромный веснушчатый лоб и выдающийся подбородок, а ещё уходящие вглубь черепа крохотные глазки, то её можно было бы назвать даже хорошенькой.

По слухам, баба Таня была не замужем и одна воспитывала дочь, большеногую девочку с затянутыми до обморока тусклыми косичками вдоль широких скул.

Однажды я видела, как идут они рядом, большая Таня и маленькая, обе нелепые, отчаянно некрасивые. Что-то щемящее было в этом сером дождливом дне и двух не нужных никому фигурках на фоне одинаковых серых домов. Я пыталась представить себе мужчину, который, возможно, любил её, которого любила она... Пыталась вообразить юную девушку, да, нескладную, но... желанную? Интересно, какое было у неё лицо, когда... А у него? Каким был этот удивительный человек, осмелившийся поцеловать нашу бабу Таню?



Сачков баба Таня откровенно не любила. Что-то содрогалось в ней при виде «этих задохликов», «очкариков», спотыкающихся на каждом шагу, волокущих очередное ведро с землёй.

— Землю — её любить надо, любить, — задыхаясь, разминала кусок грязи с торчащими там и сям травинками. Пальцы у бабы Тани были жёсткие, узловатые, а под ногтями чернела траурная кайма.

Мне сложно было любить землю.

Не то чтобы «любить не любить», но отношение моё к сельскохозяйственным работам оказалось довольно прохладным.

Это при всём том, что возня за пределами неуклюжего серого здания была гораздо приятней, чем привычные сорок пять минут скуки...

После урока на воздухе мы возвращались в класс возбуждённые, красные, — некоторые держались за животы, потому что вёдра, доверху набитые вязкой землёй, оттягивали плечи.

Самое смешное началось в конце третьей четверти, когда девочки, одна за другой, стали отпрашиваться с урока.

Причём смешно было бабе Тане, но уж никак не девочкам.

— Освобождение? Медпункт? (Добрая Люся Поляк из медпункта давала освобождение на три дня.) А во время войны? А в окопах? А на заводах? А на полях? Им давали освобождение?

Монументальная фигура раскачивалась у доски, а присмиревшие нарушительницы переминались с ноги на ногу.

Стоит ли говорить о том, какой камень ворочался в баба-Таниной груди при виде презренных сачков?

— Ваша дочь — типичный сачок, — угрюмо сказала она. — Вот, справка об освобождении от уроков третий раз за месяц! — У меня действительно болел живот, — прошелестела я, вспомнив о коробке шоколадных конфет, припрятанных на майские.

— Не любит она землю, не любит. — Мама виновато потупилась, понимая, видимо, что недостаточно усилий прикладывала для того, чтобы привить своим детям истинную любовь к земле.

Что и говорить, родственников в деревне у нас отродясь не было, ну разве что в одной заброшенной деревушке с нерусским названием

Шикагох<sup>1</sup>, — да и земля там не чета этой — сухая, красноватого цвета, благородным чернозёмом, как говорится, и не пахнет.

Я не любила землю, молоко из-под коровы и ранний подъём.

Какой подъём, если до позднего вечера мы с папой слушали «Голос Америки» и «Немецкую волну»?

«Вы слушаете голос “Немецкой волны” из Кёльна», — этот резковатый женский голос я любила более всего.

О какой ботанике могла идти речь, если коробка недоеденных конфет и застланный жёстким паласом топчан в папином кабинете сушили полную событий взрослую жизнь, далёкую от школьных уроков, неподшитых воротничков и исполосованного алым дневника?

Надо ли говорить о том, что познания мои о жизни были довольно сумбурными?

— Здравствуйте, девица, — как поживаете, девица? — Я обожала гостей, которые не сюсюкали и не делали большие глаза, а вели при мне довольно взрослые беседы. Некоторые из них садились прямо на пол, а чай пили без сахара, из круглых белых пиал. Чай в нашем доме всегда пили из пиал. Из маленьких узбекских и глубоких японских.

В общем-то, папе даже не требовалось произносить то самое слово. Вполне достаточно было взгляда. Чтобы понять — чужой.

Чужие приходили и, как правило, задерживались допоздна. После их ухода мама проветривала комнату, а папа придвигал кресло к укоризненно молчащему приёмнику.

Сквозь скрежет и вой пробивались звуки с другой планеты, на которой не предполагалось ведер, любви к чернозёму и незваных гостей.

---

<sup>1</sup> В переводе с армянского — красная земля.

## КОВЧЕГ

Это был очень хороший ковчег. Новенький, надёжный, с гладкой обшивкой.

Мы добирались до него долго, целых семь остановок.

Видимо, я тогда уже выросла и красный цвет трамвая не вызывал неукротимых рвотных спазмов. Мы ехали долго, а за окнами проносился редкий лес, многоэтажные здания. Это был новый район, он строился для новой и светлой жизни.

— Для наших детей, — с гордостью сказала мама и поцеловала брата в макушку. И посмотрела на отца. В той, прежней жизни оставались палисадник, школа, обезьяна Жаконя с оторванным ухом — не везти же весь хлам с собой!

Остались дворовые друзья и враги, Ивановна с первого этажа, соседка Мария, кинотеатр на углу, пивнушка, подвал, в котором здорово прятаться и играть в гестапо.

В прежней жизни оставалась бабушка и её муж, которого она сама называла не иначе как «он» и «старый дурак». Иногда «старый дурак» трансформировался в «старого пердуна».

— Возьми, пока старый дурак спит! — Мятая рублёвая бумажка проделывала долгий путь, из внутреннего кармашка «его» пиджака в карман бабушкиного фартука, а оттуда — в мою ладонь.

Бумажный рубль полагалось тратить. Он не влезал в копилку и не гремел оттуда тяжело и многозначительно, как копеечные медяки. Лежал в кармане и время от времени напоминал о себе нежным шорохом.

На рубль можно было купить... Ох, на рубль можно было владеть целым миром. Сколько пачек мороженого, сколько шоколадных конфет, а леденцов-цилиндриков, тянучек, воздушных шаров. Не говоря уже о сладкой газировке. Или томатном соке. Нет, яблочном. Или всё-таки томатном?

От обилия возможностей кружилась голова.

Всё это были такие смешные, маленькие удовольствия... Такие незначительные по сравнению с главным. Каким, спросите вы? А вот каким. Например, улучшить момент, когда мама озадаченно роется в кошельке, а потом незаметно вздыхает и отводит глаза от прилавка. Небрежно протянуть сокровище и потом долго, весь день и весь вечер чувствовать себя... Понимаете?

В прежней жизни оставалась смежная комната, забитая книгами и стеллажами, выходящая окнами на бульвар Перова.

Комната была маленькая и солнечная, во всяком случае, солнечные зайчики в ней не переводились.

Окна выходили на бульвар и шоссе, и, не выходя из дому, можно было быть в курсе всех важных событий. Дорожные аварии, свадебные машины с куклами и шарами, похоронные процессии, пьяные разборки у гастронома, — вот через дорогу семенит соседка из первого подъезда, с кошёлкой, это если с базара, а если с авоськой, то из овощного.

В квартире на Перова было весело, потому что скучать было решительно некогда.

Добрая ссора — соль земли. А что вы скажете о хорошем скандале?

Скандалили все. Танькины родители с третьего, Мария с пьяным мужем за стеной, Ивановна снизу, бабушка с «ним», бабушка с мамой, мама с бабушкой. Слава богу, повод находился всегда.

— Не слушай её, — бабушка заговорщицки сжимала мою руку, — она малахольная, твоя мама.

Боевые действия разворачивались стремительно. «А вот тебе», — бабушка подскакивала на удивление резво и торжествующе выбрасывала вперёд стиснутый кулак. Это было похоже на танец.

На пантомиму, балет и оперу одновременно. «А вот тебе», — маленькая смешная дуля описывала круг, и я не помню уже, чем именно отвечала ей мама, зато помню истошный вопль, который, несомненно, слышали все без исключения соседи. — «Ой! держите меня!» — бабушка хваталась за сердце и медленно опускалась... куда? куда попало опускалась она, изумлённым взглядом обводя стены, призывая в свидетели всё застывшее в смертном ужасе человечество.

О бабушкином муже, маминим отчиме, я помню только намотанные на больные ноги тряпки и выражение «жмать масло», которое обозначало весьма странное действие, носившее явный садистский подтекст. Острые болезненные щипки — таким образом бабушкин муж занимал ребёнка, то есть меня.

Мама с трудом терпела его и всё время устраивала сквозняки, потому что ей всегда пахло «старым пердуном», а бабушка кричала, что она нарочно, назло делает сквозняк, что в квартире ничем таким не пахнет, а пахнет нормальной жизнью — супами, кастрюлями, болячками.

Иногда всё же наступало затишье — я мирно играла в бабушкиной комнате, а «старый дурак» говорил «жмать масло» и делал мне козу. Это случалось накануне дней рождений и когда транслировали футбольные матчи.

Во время матчей вообще было весело. С певучим хохотом вбегала соседская Мария. Она забегала узнать, не здесь ли её Петро. И напомнить, «шоб дядя Миша ему больше не наливал». А дядя Миша, конечно же, наливал, и Мария прибегала во второй раз. На этот раз уже не с пустыми руками, а, допустим, с тарелкой холодца и огромными мятыми огурцами, потому что где наливают, там и закусывают, верно?

Во время всей этой шумной беготни я монотонно раскачивалась на ручке двери, а папа писал диссертацию. Он ловко отбивал чечётку на новенькой пишущей машинке и на любой вопрос отвечал: м-м-м... Мама одевала меня, набрасывала жакет, и мы долго гуляли по бульвару Перова, под шум поющих тополей и вопли футбольных фанатов.

Через дорогу я поглядывала на наши окна. В одном размахивали руками и кричали протяжное «гоооо!!!», а в другом — громоздились шаткие книжные полки и маленькая фигурка перемещалась из угла в угол и замирала в задумчивости, склоняясь над кипой бумаг.

\* \* \*

Первым полагалось внести котёнка, но котёнка не было, и потому первой вошла мама. Она вошла неуверенно, озираясь по сторонам, каждую минуту готовая к отступлению.

Но отступления быть не могло. В каждой комнате мы останавливались и кричали: ура! Обнимались и опять кричали. Кружили охрипшие, восторженные, стояли неподвижно, взявшись за руки, потом вновь принимались бегать и кричать. Пахло свежей побелкой и больше ничем. Наверное, так пахнет счастье.

Первую ночь мы спали на полу, на расстеленных как попало коврах и одеялах. Это было похоже на табор. Настоящий цыганский табор. С разбегу я нырнула в постель и долго лежала в темноте, вслушиваясь в шёпот и смех. Ну точно как маленькие, снисходительно подумалось мне. Подумалось только на мгновенье, потому что это был очень длинный день. В прежней жизни оставался ящик со старыми игрушками, балкон, увитый виноградной лозой, школа через дорогу. Осталась сумасшедшая Валечка из первого подъезда, слепой старик у дороги, воробей, погребённый в четверг под ивовым деревом. Нашествие гусениц, свалка за домом, участковая Ада Израильевна, учебники за первый класс, красное платье, из которого я выросла за лето.

Впереди было долгое плавание, и наш маленький корабль раскачивался вместе с книгами, пластинками, собаками, виолончелью, вместе с детскими обидами, страхами, снами, с утерянными дневниками, невыученными уроками, — раскачивался, но упрямо плыл — влево-вправо, вперёд-назад...

## КАРУСЕЛЬ

Время от времени она поднимала на меня глаза и восклицала — иногда восклицала, а иногда выпевала протяжно, смакуя каждую букву: *мирзолзайн...* Я, конечно, понятия не имела, что же такое это самое «мирзолзайн», но ощущения были приятные. Это было какое-то специальное, возможно даже волшебное слово. Оно, будто кокон, обёртыва-

ло меня и подбрасывало... легко, как пушинку, и я, без преувеличения, казалась себе неуязвимой.

— Мирзолзайн, — пела бабушка, жонглируя нехитрой утварью на нашей кухне, выходящей окнами прямо на школу и пролегающий между домом и школой бульвар. Тут у меня всё было как на ладони. Весь мир.

Какое колесо обозрения? По шоссе (между бульваром и школой) весело пролетали автобусы — однажды и я улетела на одном из них и, вцепившись в поручень, тряслась, точно заячий хвост, — автобус уносил меня в даль далёкую, заповедную, — до сих пор не могу понять, что же вынудило меня пойти на этот отчаянный шаг, согласиться на предложение полудруга-полуврага, коварно заманившего чёрт знает куда под предлогом игры в казаков-разбойников, — уже и не вспомнить, в каком тумане возвращалась я домой и какими прекрасными, вырастающими словно из доброй сказки казались родные пятиэтажки с балконами, увитыми хмелем и плющом, — а вон и наш, синий, на котором стояла, подобная капитану дальнего плавания, или штурману, или мичману, или верховному главнокомандующему, — стояла, будто изваяние, приложив козырёк ладони ко лбу, кто бы вы думали?

У неё уже и сил не оставалось всплёскивать ладонями, выбегать во двор, выпытывать у всезнающих соседских старушек... Казалось, все вдохи, выдохи, причитания ушли в одно смешное, непонятное слово, которое, как охранная грамота, сопровождало меня в скитаниях по чужому и страшному микрорайону. Наверное, оно сверкало у меня во лбу.

Любимых детей видно издалека. Что-то такое они несут в себе... или носят — похожее на амулет, зашитый в потайном кармашке.

Однажды в нашем доме на Перова завелась жаба. Огромное, пупырчатое, жадное существо тускло-зелёного цвета, с прорезью жадного рта, — с неизменным энтузиазмом оно пожирало всё — медные монетки, серебряные рубли и мятые бумажки достоинством в рубль или даже три.

Мне нравилось трясти её, вслушиваясь в шорох и звон, и воображать себе несметные сокровища, которые, уж будьте мне покойны, я найду на что истратить! Иногда я пыталась просунуть указательный палец в щель её рта, но жаба была начеку и не спешила расставаться с богатством.

Она стояла на почётном месте, вытаращив глаза. И ждала. Её зрачки следовали за каждым входящим. Казалось, ещё немного, и она щёлкнет челюстью. Она жирела с каждым днём — белёсое брюхо её раздувалось, а глаза вылезали из орбит. Бедная, бедная жаба! Предчувствовала ли она свою судьбу? Свою бесславную и скоропостижную кончину?

Проходя мимо жабы, бабушка жестом фокусника выуживала свёрнутую бумажку и, озираясь по сторонам, подмигивала — мне, или ей, или обоим вместе, но однажды, когда вспоротая и поверженная хранительница сокровищ лежала на боку, а по столу перекатывались монетки и шуршали рубли, я без труда узнала эти, меченые, свёрнутые в трубочку... Их было больше остальных.

Самое смешное, что мне и не вспомнить уже, на что были потрачены все эти копейки и рублики. Кажется, я торжественно преподнесла их маме, ощутив приятную усталость добытчика, хранителя и защитника очага. Точно ёж с наколотыми на колючках осенними припасами, я торопилась избавиться от накоплений, вновь стать свободной и безмятежной.

И это было очень приятное чувство. Ведь на самом деле у меня и так было всё.

Всё, чего может пожелать девочка, живущая в пятиэтажке с балконом, с которого, как на ладони...



Автобусы, школа, бульвар, очередь, стекающая от гастронома к противоположной стороне улицы, за живой рыбой, или за квасом, или ещё за чем-нибудь, — если свернуть плотный лист бумаги, то получится подзорная труба. Я навожу её на крыши, окна, людей. Вижу покрасневшие лица соседей, а ещё мальчишек из соседнего подъезда — вечно они трутся у бочки с квасом. Я слышу острый запах хмеля. Пахнет летом, прудом, ряской, горячим асфальтом, прелыми листьями, осенью, первым снегом. Золотая паутина носится в воздухе, щекочет ноздри.

А вот и моя бабушка — кажется, уже оттуда. Помахивая авоськой, переходит дорогу. Щёки её раздумянулись от быстрой ходьбы. Время от времени она поглядывает на наши окна и шевелит губами — конечно, на людях бабушка не даёт себе воли и из последних сил сдерживает присущий ей темперамент.

— Ша, я сейчас умру, нет, ну где вы видели такое нахальство? — что может быть интересней, чем рассказ о двух или даже трёх очередях, — не рассказ даже, а сводка с полей — с количеством павших, раненых, победителей и побеждённых. — Вот, — говорит бабушка и вытаскивает из авоськи измождённую курицу с растопыренными жёлтыми лапами и изогнутой волосатой шеей, — лицо её светится (не куриное, разумеется, бабушкино). Меня бабушка как бы не замечает. Вначале — прелюдия. Ритуал. Очень подробный, живописный, — порхающее лезвие ножа, — это на бульон, а это — на котлетки.

Курица — это жизнь! Кастрюля золотистого бульона и много-много крошечных котлет. Не котлеты, а сплошное удовольствие, я уже не говорю про сладкую фаршированную шейку. — А! — вскрикивает бабушка время от времени как бы в некотором забытьи, — а! — завидев меня, она спохватывается, — ну что ты стоишь? А кто будет фарш крутить? — она вытирает руки и выдыхает... Смешное, непонятное и такое длинное слово, но отчего-то лопатки мои расправляются, а ручка мясорубки вертится как карусель.

## КОМОД

Все эти добрые рождественские картинки с видом на заснеженную улицу — это же оттуда, родом из детства. На санках можно было доехать — да хоть куда угодно! Допустим, в прачечную, в гастроном, в мебельный — в кварталах трёх, а то и четырёх от дома. А если ехать по Перова, а там завернуть за трамвайную линию... Как вкусно скрипели полозья, каким гладким был снег. Так и подмывало зачерпнуть горсть-другую.

Казалось, так было всегда. Скрип полозьев, застывшие в ожидании улицы. Звон трамвая вдалеке. Там, за каждым светящимся окном, — канун. Предвкушение. Смешная уютная суета между балконом, холодильником и сервантом. Хотя слово «сервант» лично мне казалось старомодным. Серванты — это у старушек. Стоило перешагнуть порог, и мир серванта, шариков и стариковского бормотания сменялся другим.

Рёв тромбона, рык Армстронга, скороговорка Беко — магнитофонные ленты цеплялись одна за другую, наматывались на пальцы и щиколотки, хлипкие книжные полки кренились, угрожая обвалом. После мерного тиканья ходиков — рваный ритм рок-н-ролла. Смешно, но всего, что было после, я уже не вспомню. Нет, что-то мелькает, кружится... Как щиплет язык от шампанского! Всего этого я не помню. Зато дорогу...

Не верьте тому, кто скажет, что нам было плохо. Там, на окраине города, за двумя палисадниками и бульваром, был кинотеатр и птичий рынок, а ещё — мебельный магазин! Много ли человеку нужно для счастья?

Допустим, сервант, а в нём — слоники, ровно семь, — именно то, что может пригодиться скучным зимним вечером, слоники, фарфоровая пастушка, круглая коробка от монпансье. Пуговицы. Тяжёлые, круглые, похожие на конфеты-тянучки, прямоугольные, будто ириски, плоские и тусклые, цвета слоновой кости — для белья. Их можно разложить на столе, вот эти — важные, король и королева, а эти, бесцветные, — все-

го лишь подданные, мелкая челядь, кухонные адмиралы и их подчинённые. Стареющая фрейлина в пыльном кринолине. Дерзкий безусый паж. В ход идёт старый подсвечник, шахматные ладьи, подушечка для иглока.

С какой радостью мы покидаем обжитые места! Оказывается, там, за мебельным и птичьим рынком, трамвайная линия не обрывается!

Кто знает, как будет там. Кто знает. И кроме того, сервант, он такой неподъёмный, куда без него? Послушайте, но ведь как-то его вносили? Может, под каким-то особым углом? Кто вспомнит, как вносили сервант, покупали посуду — тарелки глубокие, для первых блюд, и мелкие, а ещё блюдца, чайный сервиз, как без сервиза и серебряной ложечки на зубок? Милая, куда подевался комод? Большой тяжёлый комод, который стоял в том углу, помнишь? С такими выдвигающимися ящичками, поскрипывающими в тишине?

Там были габардиновый костюм, дамская сумочка с квитанциями, совершенно новое платье. Неужели у кого-то поднялась рука? Мне даже вообразить это страшно. Они лежали в дальнем углу комода, вряд ли кому-то могли помешать. Милая, мне казалось, это навсегда. Перевязанные бечёвкой связки писем с надписью «Хранить вечно». Где они?

## СКВОЗНЯК

По району, застроенному пятиэтажками, бродил высокий белобородый старик с холщовой сумой через плечо. Помню, был он слеп, и я замедляла шаг, стараясь быть поближе к взрослым, — осознание чужой беды ранит и оставляет ощущение сквозняка в тёплом и несколько рыхлом (безразмерном) летнем дне, в котором всё вроде бы ясно и предсказуемо, — и тут внезапная смена декораций — беспечное тепло сменяется пыльной бурей, слезятся глаза в ожидании бед, раскачиваются

фонари, и этот старик, высокий, прямой, наверняка красивый, — это я сейчас понимаю, — а тогда слепой, слепой, одинокий, — почему он один, мам? — вдоль трамвайных путей, давно, по всей видимости, идёт, становясь всё ближе и ближе, и кто-то (наверное, папа) подталкивает меня: иди — и я, онемев (сквозит ведь, из всех щелей сквозит), делаю шаг, чтоб осторожно (зажмурившись, в ладонь? в холщовую суму?) опустить монету, увидеть сомкнутые плотно коричневые веки, выбеленные волосы, впалые щёки, лёгкую тень улыбки (не тень даже, а рябь), ощутить сухое тепло на макушке — не касание, а так, шелест, дуновение, — я долго смотрю ему вслед, помню длинный плащ (до пят), возможно, была вышиванка, под плащом или пальто (или даже шинелью), не в этом, так в другом дне, в других декорациях, сложенная аккуратно на дне чемодана, пахла чем-то забытым, из детства — компотом из чёрной сливы, вареньем из крыжовника, летним днём, райскими яблочками, тополиным пухом.

Среди множества сохранившихся чёрно-белых снимков, увы, нет ни одного, запечатлевшего долгий летний день (один из многих), сквер, трамвайные пути, чужую девочку, сквозняк небытия, слепого старика, идущего сквозь время.

## МИР ЗАТЕРЯННЫХ ПРЕДМЕТОВ

**З**а день солнце совершает кругооборот вокруг дома и, соответственно, нашей квартиры, которая расположена в торце.

Я следую за ним, перемещаясь в лоджию, а из неё в боковую комнату.

Утро я встречаю у мольберта, постепенно сдвигая его вдоль, открывая окно за окном. Господи, это такое упоительное путешествие! Тень от треноги становится острее, чётче, там и сям следы от маленьких лап моего друга. Наконец-то мы живём в унисон, радуясь простым вещам.

Солнце включили, места под ним хватает. Да, вдобавок нашёлся теннисный мячик, пропавший из поля зрения в прошлом году.

По мере передвижения вслед за проснувшимся светилом обнаруживается уйма предметов. Упаковки кисточек (про запас), коробки с пастелью, карандашами, засохший растворитель, ретушный лак, свечи, коллекция монет, полная коробка из-под леденцов с турецкими лирами, армянскими драмами, грузинскими лари.

Будет чем занять себя долгими вечерами, перебирая горсть монеток и загадывая, пригодятся они когда-нибудь или нет. Некоторые из них (грузинские лари с нанесённой на их поверхность утончённой чеканкой) можно разглядывать часами.

Жаль, канула в Лету коллекция пуговиц, марок, запонок, зажигалок и курительных трубок.

Как, однако, удивителен мир затерянных (в недрах домов) предметов, обладающих памятью и связью с прошлым. Записная книжка с ненужными телефонами и адресами. Шнуры и зарядки от бездействующих телефонных аппаратов (о, сколько тайн таят они в своих проводках и мембранах), сколько будничных, смешных и горьких фраз.

А чёрно-белые снимки ушедших эпох?

Из окна моей комнаты можно наблюдать угасание дня. Как медленно солнце опускается за крыши домов, и где-то там (уже за ними) его последние лучи касаются земли.

Долгое путешествие заканчивается на подоконнике, и я вспоминаю героиню одной картины из старого подольского дома на улице Притиско-Никольской.

Точно так же сидела она, обхватив колени сцепленными пальцами рук, у окна с распахнутыми ставнями, и картина эта была про счастье.

\* \* \*

Внутренняя (утробная) жизнь, похожая на приоткрытую кладовку со множеством ящичков и шифлодиков. Приоткрывается, оттуда тряпье, старушки, кастрюли, густая, пахучая, точно мясной навар, жизнь.

Зимой всего этого как будто не существует. Но стоит какой-нибудь двери остаться открытой, как тяжкий дух вырывается наружу, стелется, проступает, точно жирное пятно на скатерти (ну как тут не вспомнить мамлеевское «мы всё ядим, ядим» — голосом востроносой старушки, идущей через комнаты с шипящей чугунной сковородой).

Внизу четыре квартиры занимает одна семья. Давно всё перемешалось. Дети, родители, зятя и золовки. Будто осиное гнездо. Дети давно стали родителями, родители — детьми. Иногда появляется пожилой мужчина с наполненным доверху ведром. Он носит его на улице. Бог его знает, что там, в этом ведре.

Жизнь семейства кишит изнутри. Крестины, именины, проводы и смотрины. Я вижу старшего сына, высокого, тощего, точно жердь, с неряшливо растущей рыжей бородой. Он похож на старообрядца. Вскидывает глаза, в них одно и то же выражение. Что-то истовое, из другой жизни. Интересно, куда он ходит каждый божий день со своим рыжим облезлым портфелем? Старики на моё приветствие косятся настороженно, но упорно молчат.

Боюсь окон первого этажа. Скорбных недвижимых занавесок. Обычно за ними скрываются раздражённые уличным движением и детским гомоном старушки. Всё-таки образ старухи Ивановны из детства до сих пор жив.

В памяти моей странным образом удержались пыльные (будто припорошенные временем) желтоватые тюлевые занавески в одном из окон нежилого на вид дома в случайном провинциальном городке. Я помню долгий день, себя, родителей, маленького брата, бегущего впереди, и это тяжёлое чувство — будто невидимая глазу жизнь наблюдает за идущими нами, пришельцами из другого, насыщенного событиями и движением мира.

Как, каким образом чудо возникающей тут и там жизни закрепляется и удерживается (благодаря, вопреки) в одном из этих городов, на одной из улочек, почти безликих, почти безымянных, со стёртыми выражениями на осевших фасадах.

Пришельцу эта жизнь кажется незначимой, случайной, лишённой смысла. Один день похож на другой. Один и тот же цветок герани в

тусклом окошке. Сонное (лишённое пола и возраста) лицо в просвете. Расплывшийся, ко всему безразличный кошачий силуэт на подоконнике.

Тревожное чувство сдавливает грудь. Я оглядываюсь на идущих родителей. Они молоды, но кажутся безмерно уставшими, как будто бессмысленное сражение с действительностью высасывает из них силу, молодость и красоту.

Я выдыхаю с облегчением только дома, в окружении книг. Всё становится на места. Папа в своём кабинете за пишущей машинкой, я, блуждающая в нескончаемом книжном лабиринте. Чужой непонятный мир остаётся за порогом. Где-то там, за трамвайной линией и автобусной остановкой.

## ВЕРОЧКА

У же с порога она объявляет: боже, как же я соскучилась! Мои вы родные, дайте-ка я вас обниму-поцелую, у меня же больше никого не осталось, ни единой души, — и тут уж приходится со смехом и стоном уворачиваться от жарких объятий, потому что мы, ну как бы это сказать, стоики, измученные и испорченные виртуальной реальностью людишки, а Верочка — живой, страстный и горячий человек из другой эпохи, в которой наварил картошки, включил телевизор — и красота. Опять же Верочка существо сугубо тактильное, она любит лизаться и ласкаться, и от её вытянутых трубочкой губ не удавалось ускользнуть никому.

Найдутся ещё старожилы, которые помнят двухлетней давности историю о спасаемом котёнке. Вообще Верочка своего рода Ной, выстроивший уютный ковчег на улице Жиланской: там, в этом самом ковчеге, обитают по паре коты, собаки, птицы, кони.

— А одна курица, — улыбается Вера, — прожила у нас семь лет (улавливаете, да? библейская совершенно история), и курица эта не-сла золотые яйца. Ну, не то чтобы золотые, а крупные такие, отборные

яички несла эта самая курица (нежная была девочка, ручная), пока её не украли злые люди.

— Господи, — восклицаю я, нанизывая ломтик печёного картофеля на вилку, — и они её съели, да? сварили?

Ума не приложу, как можно съесть семилетнюю курицу с каким-никаким, но интеллектом и человеческим именем. Господи, да она была член семьи, и каждый день совершала променады по двору, и узнавала соседей, и откликалась на своё имя (а звали её Циля, Цилечка), и, собственно, делила с обитателями комнатухи — Верочкиными питомцами — хлеб, воду, жизнь. Годы были тяжёлые, несъятые (то ли дело сейчас), и вдохновенно несущаяся курица была залогом и условием этой самой жизни.

История с курицей заканчивается относительно благополучно: она всего лишь попала в рабство к алчным и нечистоплотным людям, но от горя куриное сердце зачехло, вдохновение иссякло и детородная функция сошла на нет. Напрасно ждали жадные глупцы золотых яичек, напрасно высиживали на корточках, заглядывая курице под хвост, — безутешная суетливо металась или же сидела истуканом, накрыв крылом голову, — яиц не было — и всё тут.

— И что потом, Верочка?

— Потом? — Верочка улыбается какому-то далёкому прошлому — пока в мире существует она, вместе с этой её лукавой и одновременно мечтательной улыбкой, можно питать надежду на не самый трагичный исход.

— Она улетела, улетела моя Цилечка, — вздыхает Вера, и глаза её блестят как-то уж очень подозрительно, и тут как нельзя кстати оказывается коньяк, который мы пьём и пьём третий год и всё никак не допиваем: порой кажется мне, что в бутылке этой коньячной живёт армянский джинн, сошедший с горы Арарат, и всякий раз, обнаруживая недостачу янтарной жидкости, он вырывает три волоска из нескудеющей своей бороды и произносит три заветных слова.



## УРОК ГЕОГРАФИИ

Циклонам принято давать красивые звучные имена. Изольда, Эль-Ниньо (малыш, мальчик), Катрина. Наивная попытка очеловечивания дикой стихии. Конечно, если всё объяснить и назвать, оно уже не так страшно.

Как вы говорите, они встречаются, эти холодные и тёплые воздушные массы? Над Тихим, говорите, океаном? Захотелось взять в руки учебник географии. Муссоны, пассаты... География считалась так себе предметом. Не тригонометрия. Средний по значимости.

Где-то после истории. Но как же уныло беспросветно ползли строки, от раскрытого учебника разило тоской. Все эти экибастузские месторождения.

Я ничего не помню. Все уроки я смотрела в окно. Или на смугложёлтое лицо нашей географички. Душной грузной женщины, с уверенностью крейсера плывущей по классу. Как шла её властной руке указка. Есть женщины с тёмными тяжёлыми лицами, с печатью призвания на них. Допустим, нелюбви к детям. У нелюбви этой был отчётливо выраженный запах. Скорее всего, это был запах отечественной косметики. Пассаты с запахом сладкой рассыпчатой пудры, кричащей помады морковного цвета. Муссоны — тёмно-вишнёвого, хищного, жирно поблёскивающего на узких, точно прорезь в копилке, губах.

Отрезвляющая реальность обыденного. Формирующиеся над Атлантикой воздушные массы никакого отношения не имели к смеющимся девочкам, стайкой идущим из школы. К сливовому дереву у дороги.

К канцелярскому отделу в книжном магазинчике на углу — там можно было заметить охваченное необъяснимым желанием лицо девочки лет десяти. Блокнотики, ручки, карандашики. Новизна развёрнутого тетрадного листа, целостность и цельность крошащегося грифеля. Лавка чудес.

В магазинчике торговали похожие на мышей женщины — видимо, из одного семейного клана. Красноватые глаза на белых, будто обсыпан-

ных мукой, острых лицах, неслышная походка, бескровные, лишённые рисунка и цвета губы. В помещении царила тишина — то ли больничная, то ли храмовая. И мышеобразные женщины казались служительницами неведомого культа.

Я часто паслась в этом храме, сжимая в ладони сэкономленные на обедах копейки. На них я покупала крохотные сшитые книжечки для младшего брата — довольно славные, разукрашенные наивными иллюстрациями. Нечитаная книжица дарила ощущение лёгкого триумфа над предсказуемостью будничных дней. Сколько этих незамысловатых, точно знаки препинания, книжиц пылилось на полках. Прочитанные, они теряли смысл. Уже с первой страницы проступало разочарование. Их невозможно было перечитывать, упиваясь подтекстом или сюжетом.

Зачем же я покупала их вновь и вновь? Очарование бездумной траты? Лёгкой добычи? Небрежности пересыпаемой из детской руки мелочи?

Как-то, уже повзрослев, я вновь оказалась в книжном на углу. Снисходительно обвела глазами полки. Ничего не изменилось. Притихшая детвора (под строгим взглядом старшей мыши — или это была постаревшая младшая?). Мучнистые пальцы с заусенцами, запах клея.

Писчебумажное царство, заманивающее мигающими лампами скудного света. Заколдованный мир раскрасок и карандашей.

Я провела там полтора часа. Перебирая книгу за книгой, листая жёлтые страницы, я ловила на себе пристальный взгляд белой мыши, робея (как и в прежние времена), пристыженно ставила книгу на место. Ещё бы, некоторые хитрые покупатели так хитры, что читают книги, не отходя от книжной полки, и уходят, не заплатив ни копейки. Вот о чём был её взгляд.

Да, она была почти права. Давно уже я могла отличить пустышку от настоящей книги с первой страницы, с несмелого шороха её, с формы шрифта и расстояния между абзацами. Я раскрывала книги одну за другой, распознавая текст, ощупывая буквы, я предавалась древнему, как мир, инстинкту — познания. Ощупывая, впиваясь, разглаживая, я не могла остановиться, вырваться из заколдованного круга.

Очнулась я уже за порогом. От нехватки кислорода мысли путались в голове, мой будущий сын нетерпеливо постукивал крошечной ступнёй изнутри, ему тоже не хватало воздуха, он явно пресытился запахами типографской краски, книжных корешков, клея. Выходя, я столкнулась с немигающим взглядом мыши.

Дни магазинчика были сочтены (знала ли она об этом?). В учебники истории (и географии) скоро внесут поправки. Экибастузский угольный бассейн окажется в другой стране, у ураганов появятся звучные иностранные имена. Изольда, Эль-Ниньо, Катрина.

## ДУША ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА

Опять звонила Верочка. Она говорит, что всё будет хорошо. Её «хорошо» такое простое, как стакан воды, как дважды два. Более того, в случае с Верочкой это не предположение с многоточием в конце, а самое что ни на есть убеждение.

Ну как же, улыбается она по ту сторону провода, который тянется с моего второго этажа на улицу Жилианскую, на Верочкин балкон, — вот где колесо обозрения, — весь мир как на ладони, — купола, овраги, церкви, синагоги, Бессарабка, Евбаз, цирк, стадион.

— Ну как же, — улыбается Верочка, — разве ты не знаешь, мы же выбранные богом, он нас защитит.

И знаете, это именно тот случай, когда рушится вся выстраданная логика, алгебра и даже философия и Гегель с Фейербахом разводят руками: ну что уж тут сделаешь, супротив веры (и Веры) не попрёшь. И ничего не остаётся, как тихо выдохнуть, дивясь твёрдости и смиренности верующего во что-то непостижимое мне человека, «выбранного богом».

Так вот, звонит Верочка, «кошачья мама, выбранная богом». Она хочет в гости.

А кто не хочет в гости, я вас спрашиваю? Тем более в прекрасный праздник Песах?

Я тоже, может быть, хочу фаршированную рыбу с хреном. Я хочу сидеть за длинным, накрытым тяжёлой скатертью столом.

Я хочу выпить четыре бокала красного вина и налить ещё один, для пророка Элиягу.

Но как быть с открытой дверью?

И потом — дойдёт ли Элиягу до улицы, на которой стоит мой дом, в котором не водится фаршированный карп?

Когда-то его приносила бабушка (не пророка, разумеется, а живого карпа).

Не знаю, в каких жарких боях добывала она его.

Тень карпа являлась примерно недели за две до праздника.

Она укоризненно маячила в дверном проёме, не решаясь войти в наш не особо богобоязненный дом.

Заглядывала тихая Любочка, — карп, вы ещё не купили карпа, — с ужасом шелестела она уже с порога. Она открывала и закрывала рот, сама похожая на диковинную рыбу, — костлявая, с крошечным личиком и огромным наростом на спине, — Любочка потеряла голос лет двадцать тому назад, и потому не осталось этом свете тех, кто ещё помнил его тембр, — тётя Роза, я в гастроном, вам заниматься? — соседская Мария время от времени посылала в разведку сыновей — стриженных под ноль оболтусов десяти и восьми лет.

Иногда слово «карп» звучало как «короп», и от этого оно становилось ещё более загадочным.

За «коропом» занимали с вечера, записывались, слюнявили жирный химический карандаш.

Но самое интересное было впереди.

Эмалированный таз с водой, в котором плавал он, ещё живой, упругий, скользкий, с перламутровыми боками и розовыми жабрами.

Как она несла его домой, ума не приложу? За что держала? За жабры, за хвост, за голову?

Рыбьи глаза выглядывали из миски — поверьте, мне достаточно было увидеть их один раз! Не больше.

— Ай, какой красавец! — соседи кивали головами, умильно складывали руки, поздравляли бабушку с победой.

Тема рыбы витала в воздухе, сообщая разговорам утраченную двусмысленность. Взрослые переговаривались загадками и сентенциями.

Ведь раньше, оказывается, всё было другое — и карп, и голова, — вы помните, какая была голова у карпа? Она не помещалась в кастрюле.

Всё-таки та, прошлая жизнь была гораздо насыщенной, полней. Вам доводилось когда-нибудь нести зеркального карпа?

\* \* \*

Пророк Элиягу кружил вокруг дома, приняхивался к запахам.

Пророк знал толк в фаршированной рыбе! Иногда он посматривал на наши окна — там мелькали тени — колдовали, размахивали руками, жестикулировали.

Позовут или не позовут, — думал он, поднимая ворот светлого плаща.

Одет он был не по-нашему легкомысленно, и восседающие на лавочке старухи с подозрением переглядывались, — не наш, по всему видно, не наш, — отмечали они, а в окно выглядывала раскрасневшаяся бабушка Роза, — после удачи с зеркальным карпом она помолодела, — какой карп, ай, какой карп, — бормотала она, ловко соскребая перламутровую рябь с рыбьего бока.

Иногда мне кажется — мы утратили что-то важное.

Всё вроде бы есть. Одна чёрствая булочка, одна морковь, две луковицы, одно яйцо, соль, перец, пучок петрушки.

Но чего-то не хватает. Соседей? Гостей? Бабушки Розы? Очереди у гастронома? Эмалированного таза, заполненного водой? Длинного стола, накрытого тяжёлой, желтеющей на сгибах скатертью?

Запаха рыбы, дождя, земли?

Карпа, мне не хватает зеркального карпа, дорогие мои, — его сладковатой плоти, его плачущих глаз, его жертвенности и мудрости, его серебристого свечения там, в далёком доме моего детства.

## СВЕТ ЯНТАРНОЙ ЛАМПЫ

Разрозненные крупички так и остались репликами, вырванными из контекста. Память то и дело подбрасывает щемящее, — не голые факты, нет, — скорее, ракурс, интонацию, — будто рентгеновский снимок на просвет с проступающими там и здесь подробностями.

Мне часто снится дом. Его запах, совершенно неповторимый, его откуда добыть сейчас, — кстати, я пробовала, стоя у ворот, перекрывающих дорогу к несуществующему дому. Замок, тяжёлая цепь на нём создавали некую иллюзию. А вдруг его всё-таки не снесли? Вдруг там, за чугунной оградой, — остановившееся время? Те самые скошенные ступеньки (да, всего три, не больше), ведущие в длинный коридор (осторожно ступая красными ботиночками, заглядываю в его разверстый зев). Оттуда, в неясно расплывающемся свете проступают (будто прорывая плёнку тьмы) лица.

Тёти Лизы (нежно семенящей своими крохотными ножками), всегда с повёрнутой к вам джокондовской полуулыбкой (из боковой комнатки — целый мир с обилием деталей), — пронзает мысль — как умудрялись они разместиться на столь ничтожной площади — как помещалась в ней целая жизнь со всеми её коллизиями, значимыми и не очень событиями, явлениями, предметами — статуэтка балерины, тяжёлые тома Брема (вот я, забравшись с ногами на кушетку, листаю один из них, предвкушая нескончаемое удовольствие).

Как умещалась в этой комнатке тётя Лиза (миниатюрная женщина с явным физическим недостатком — у неё был горб, правда почти незаметный, не нарушающий гармонию её образа), ещё можно понять. Но

как умещался там дядя Даня — исполин с детской улыбкой и огромными добрыми руками?

Разыгрывающий скетчи (кушать подано, мамзель), в поварском колпаке, с глупой подобострастной улыбкой склоняющийся к ножкам юной мамзели, хохочущей взахлёб.

Откуда же мамзели было знать, что за целым спектаклем (застеленный белоснежной скатёркой табурет, на нём чугунная сковорода с двумя яичными глазками, — божественность ритуала, его щемящая сквозь годы подробность, вплывающий в комнатку аромат глазуни, явственность желтков) — за всем этим скрывалось тривиальное — накормить гостью, сотворить невозможное, выстроив мизансцену, сюжет, декорации.

Счастливая улыбка торжествующего Дани, небольшой поощрительный приз в виде согревающейся в детских ладонях фарфоровой статуэтки.

Вот и яичница съедена, и мякишем чёрного хлеба любовно подбирается быстро подсыхающая корочка, и вот уже блистающая чистотой и опустошённостью тарелка под звуки фанфар и рокот барабанных палочек уплывает на кухню, взрослые хитро посмеиваются над выполненной задачей — дитя накормлено (существует ли что-либо важнее?).

Я помню жёлтый — нет, *жолтый*, маслянистый горячий свет лампы, ревнивые переговоры за узкой белой дверцей, открывающейся, будто пенал, внутрь, — там бабушка Рива и дед Иосиф, мягко увещевая, требуют беглянку и отважную путешественницу обратно, в большую, тихую, наполненную молитвами и сверчанием сверчков комнату.

Тётя Лиза и дядя Даня — всего только соседи, — импровизированный обед «на стороне» нарушает планы целого вечера.

Чувство бесконечности всего. Чаёвничанья (подстаканники, синие блюдца, круглый стол) со сладкой коврижкой или штруделем, расстеленной постели (о, первозданность, похрустывающая свежесть пододеяльника, никто не заметит немых ног маленькой замарашки, никто не вырвет коржик из слипшихся пальцев). Но кто-то любовно погасит свет (задует свечу), подоткнув одеяло, поправив подушку.

Вот и книжка прочитана, поставлена на полку, и маленькая балерина, вращаясь на одной фарфоровой ножке, исполняет лучший свой танец, она танцует, освободившись наконец от тягостных дум, оторвавшись от кружевной салфетки и комода, ведь её призвание — танец, а не унылое прозябание за толстыми пыльными томами.

Единственное произнесёт дед Иосиф, прервав воцарившуюся (после объявленного тарелкой) тишину.

Гишторбн<sup>1</sup>. Ничего более. Всего одно слово, в котором и масштаб произошедшего, и отношение, собственно, к нему. Тишина, воцарившаяся буквально на секунду, уступит место ежедневному ритуалу.

За круглым столом, склонив голову над книгой, сидит девочка в немарком тёмном платье. Как сидит она (поджав ноги под себя, уронив голову на скрещённые руки, подперев ещё детский подбородок сжатым кулачком)? Задумывается ли она над значением этого слова, осознаёт ли значимость его для миллионов людей, застывших перед говорящей тарелкой?

Может ли она предвидеть (как не мог бы никто из сидящих за этим столом) в мартовский вечер 53-го года, что через какой-то десяток лет (перевёрнутая страница в книге, не более того) ощутит внезапное недомогание, слабость и тошноту, и это окажется началом новой жизни, которая, осуществившись, передаст дальше те самые крупницы воспоминаний.

Старый дом, круглый стол, чёрная тарелка, висящая высоко, отходящий от неё провод. Лица, освещённые неярким жёлтым свечением янтарной лампы.

И это странное, тяжёлое, будто тёмное облако, нависшее над накрытым к ужину столом, слово.

---

<sup>1</sup> Сдох (*идиш*).



## ПЕРЕСТУК СЕРЕБРЯНЫХ ЛОЖЕЧЕК

В доме на Притисско-Никольской была печь с изразцами (цвета топлёного молока), к ней хотелось прижиматься, вбирая медленное густое тепло, — помню себя стоящей у печи с прижатыми к ней ладонями.

Зима — это печь, и ровное, медленное тепло, чувство незыблемого равновесия. Что стояло за этим теплом? За видимым и ощутимым достатком — не в виде припаркованных иномарок или дачи, вовсе нет, и не в виде дорогих тряпок и драгоценностей (не до того было).

Всего только тепло и вкусно, вкусно и тепло. Сладко, остро, горько.

Искусство выпечки коржей и маринования сельди, искусство меры и пропорции во всём, выверенности затрат и доходов — нет, ни в чём не было роскоши, чего-то вызывающего, но всякий попадающий в этот дом был накормлен, обласкан, спасён.

О вишнёвой наливке деда Иосифа слагались легенды. Это был прообраз хереса — только гуще, слаще и прозрачней, — почти маслянистая взвесь в хрустальном кубке, — процеженная в аккуратные миниатюрные стопочки, она разливалась целебным теплом, и весь остальной мир (за пределами этих стен) казался всего лишь уютным дополнением к основному блюду. Оно (блюдо) врывалось на вытянутых руках под восторженный выдох присутствующих. Перестук серебряных ложечек, перезвон округлых бокалов. Витые вилочки для десерта, вкус вишнёвой косточки на языке, его благородная терпкость, его вяжущая горечь.

Ковчег на улице Притисско-Никольской. О горе там не говорили, не смаковали, не выносили. Слишком непереносимым оно было, по всей видимости, чтобы упоминать его всуе.

В последний раз они встретили Сёмочку на вокзале в тёплом и не бедствующем городе Баку. Там оказались маленькая Ляля и её отец (застряли проездом). Прочие обитатели ковчега уже добрались до Северного Кавказа, а Иосиф с маленькой девочкой застряли. (Ляля, рас-

сказывая об этом событии, вспоминает жару, тяжёлую жару, что-то вкусное, купленное во время долгого ожидания, — возможно, это были румяные (с пылу с жару) бублики-симиты, густо усыпанные кунжутом, чуть подсоленные, хрустящие, — праздник, событие во время долгого пути с бесконечными полустанками, скученностью людей, с подушками, набитыми лебяжьим пухом, одеялами, которые уходили быстро — за буханку хлеба, щепоть муки, кубик масла, — детей в ковчеге том было немало, их нужно было довести.)

Итак, бублик-симит в руках маленькой еврейской девочки, послушно сидящей на чемоданах (вокруг крики, гвалт, восточная кутерьма, суета, всё тает, плывёт от жары).

— Я помню — папа побежал за мороженым, — мечтательно улыбаясь, вспоминает Ляля; тут же вижу эту полную предвкушения улыбку, отца, бегущего за брикетом мороженого — в мареве лиц, теней, звуков...

И вдруг — Сёмочка. Лицо сияет, тоже на бегу. Их часть оказалась там. Случайность? Возможно, отец (дед Иосиф) узнал об этом каким-то образом и совсем не случайно оказался на вокзале в Баку.

Это была недолгая и последняя встреча. О чём говорили они (девочка, болтая ножками, ела мороженое), сын стоял напротив отца, отец не сводил с него глаз — как похудел (возмужал?), осунулся его мальчик, его ироничный веснушчатый мальчик, — ты ел? Хочешь пить? Мороженого?

Не знаю, как долго они стояли так на перроне, как расстались, кто уехал первым, — об этом не узнаю уже.

\* \* \*

Ковчег, как я уже сказала, был полон. В город вот-вот должны были войти немцы. Страшные слухи ползли, в них не хотелось верить.

Дед Иосиф поверил сразу. Не знаю, колебался ли он, принимая решение. Не знаю, сколько думал — день? сутки? Трое?

Ехали всем кагалом. Дети, старики. Розочка кинулась Риве в ноги, — а места уже не было, всё было впритык, — как же я останусь, как я одна

(её Иосиф уже был на фронте, и она мыкалась с мамой на руках в подвальной коммуналке с соседями).

Соседи утешевали: куда ж вы, Роза, с малым дитём — разве выдержит ребёнок тяготы дороги, холод, голод, — а тут мы, всегда рядом, все же — свои. Может, и свои, да не все, — смекнула Роза, укутывая ребёнка потеплей, — тётя Паша, может, и не сдаст, а вот зять её, провожающий тяжёлым взглядом — эх, хорошенькая какая жидовочка...

— Без Розочки я не уеду, — Рива, Ревекка, мягкая, добрая, уступчивая, но непреклонная в главном, — она знала, что её слово окажется решающим. Подвода без них не двинется с места.

Место нашлось. Ковчег двинулся, отдаляясь от охваченного паникой города, — ещё немного, и на окраине его начнут рыть глубокие рвы, — туда уйдут все, кто не смог выехать.

\* \* \*

По субботам дед Иосиф молился. Пока мог, ходил в синагогу, до последнего ходил.

— Пойди поздоровайся с дедом Иосифом. — На цыпочках ступала я по половицам, выкрашенным коричневой краской, в смущении застывала на пороге.

Будто невидимая глазу грань отделяла меня от того, кто сидел за столом.

Помню луч света из-за прикрытой неплотно шторы и мириады пляшущих пылинок, — словно кто-то щедро плеснул золотистой краской и она растеклась по полу, по столу, накрытому праздничной скатертью. Дед Иосиф шевелил губами, водя пальцем по строкам, по непонятным буквам, таким непохожим на те, что я уже знала. Помню бледное, гладко выбритое лицо, голову, покрытую круглой плоской шапочкой (тогда я не знала, что это называется кипа), и шапочка эта смешная была неотделима от невидящего взгляда, блуждающего в неведомых мне мирах. Один глаз деда Иосифа был плотно прикрыт (последствия удара казацкой нагайкой в юности, он так и не открылся, этот глаз), второй — оставался на мне, робеющей.

Как будто возвращаясь издалека, оживал — худая веснушчатая рука тянулась к моей голове, — жизнь побеждала таинственную строгую книгу, — а-а-а-а, какие гости! Какие гости к нам пришли! Какие нарядные взрослые барышни! Рива, что ты молчишь, ты посмотри на неё, на нашу мейделе...

## ФИРА

Сидела на скамейке такая Фира. Её было много. Есть женщины, которых всегда много. Во всех смыслах. Голос, фактура, блеск глаз. Фира была квадратная, широкая, приземистая, как черепаха. Она была такая иудейская царица. Особенных, жарких кровей. На смуглом оливковом лице выделялись ассирийские глаза-угли. Бог мой, что это были за глаза! Они всё пережили. Инквизицию, изгнание, пустыню, роскошь и нищету, страх, холод, гонения, погромы, черту оседлости, заброшенное кладбище в каком-нибудь Овруче или Бердичеве...

Они всё пережили, всё знали. Сколько в них было печального знания, сколько страсти! Единственного не было — безучастия.

Такой уж она была человек. Где бы она ни находилась, дома или на лавочке (дальше она не шла, страдая избыточным весом и одышкой), присутствие её было деятельным, страстным, слышимым и видимым.

— Петечка, иди уже сюда, счастье моё, кися моя, рыбка! Ах ты ох-ламон бесстыжий!

Грудь её необъятная волновалась в предчувствии объятий, цепкие пухлые ручки так и стремились мять, гладить, шлёпать. Петечка, небесное создание, вырос на её любвеобильной груди, в кругу этих цепких рук.

Подбрасывая его на коленях, она заливалась кудахтающим смехом, призывая в свидетели всё человечество.

— Вы только посмотрите на этого принца! Моё ты золото, моя ты радость!

Петечка, задумчивый мальчик с лилейной кожей и такими же черносливовыми глазами, как у бабушки, застывал с крохотным пальчиком во рту.

— На тебе ещё бабин палец! Что? Не хочешь? Не нравится бабин палец? Скажи: баба, БА-БА!

Она хохотала, сотрясаясь телом, и в груди её хрипела целая фисгармония. Фира страдала хроническим бронхитом, грудной жабой, почечной и сердечной недостаточностью, щитовидкой, ноги имела тяжёлые, слоновьи, и, поднимаясь по лестнице, кряхтела, охала и причитала так, что вся улица замирала в суеверном ужасе. Дойдёт или не дойдёт?

Она с божьей помощью доходила, и теперь её слышно было из распахнутого в летний двор окна. Можно только вообразить, что происходило на кухне! Там шкворчало, томилось, пригорало, тушилось, парилось и сохло, настаивалось и пахло. Доносился грохот, звон, причитания.

— ...а я ему сказала, а он...

На кухне Фира выясняла отношения со всем миром, а также с горячо любимым зятем и единственной дочерью, иудейской принцессой, которая, несомненно, достойна была лучшей партии, чем этот внешне ничем не примечательный, лысоватый, неказистый человек с портфелем, — вот сейчас он завернёт за угол, и маленький Петечка побежит ему навстречу и с разбегу уткнётся в живот, в расставленные широко руки, — нет, всё-таки такой зять — это подарок, не гневи бога, Фира, у него не голова, а счётная машина, а сердце, что вы скажете за его сердце? Это же ангел, а не человек! И, слава богу, Петечка — личиком в маму, не ребёнок, а дар божий, нет, всё чтоб не сглазить, хорошо, но, согласитесь, с её внешностью... У кого ещё видели вы такие стройные ноги, высокие, округлые (точно финикийская чаша) бёдра, а гордо очерченные губы с родинкой, а крылатый нос, а тяжёлые смоляные кудри, а расходящиеся от переносицы брови, а миндалевидные глаза...

Фира знала, о чём она говорила. Дочь была её копией, только улучшенной. Короткая талия, ноги, стремительно вырывающиеся из-под

юбки, — ноги эти сводили с ума всю округу, девочку опасно было выпускать из дому. Но главное, конечно, было не в ногах, не в осанке, не в смуглых египетских ступнях, не в прохладной оливковой коже.

Запах. Волнующий, жаркий, густой, он вводил в искушение любого. Эти тяжёлые, с поволокой глаза источали обещание. Но стоило Злате открыть рот, как всё становилось на места. Тембр был несколько разочаровывающий, интонации местечковые, с такой прелестной ленцой.

Злата, как и Фира, выучилась на бухгалтера, цифры хорошо уживались в её восхитительной головке. Она была прилежной матерью и женой. Но до безудержного темперамента и тревожного обаяния Фиры ей было, пожалуй, далеко.

Но когда она, закусив губу, улыбалась, бог мой, всё становилось важным... Голос, тембр, интонации... Она несла с собой аромат пряной, насыщенной, нездешней жизни. Точно изысканный цветок, всем своим видом сообщала — радуйтесь мне, я здесь проездом, по случаю, ненадолго.

Беременная вторым ребёнком, она внезапно располнела, тем самым напомнив мать, но и это шло ей, и аромат становился ещё более густым, вязким, от подмышек её шёл жар, она вся будто прорисована была углём. Царица Вашти, Эстер, Ракель из испанской баллады, Маха одетая и Маха обнажённая, — покусывая губу, она говорила о каких-то тривиальных незапоминающихся вещах. Молокоотсос, импортное питание, ацидофильное молочко, пелёнки, сервелат, хрустальное бра, финский унитаз, новый гарнитур, кажется югославский.

История любой семьи — это эпос. Долгий путь любящего сердца. Цепкость смуглых желтоватых рук, управляющих непостижимым чудом жизни. Молокоотсос, рыхлая полнота, базедова болезнь, фисгармония. Позвякивающие в авоське бутылочки детского питания. Длинное слово «Кулинария». Нежные ступни в разношенных босоножках. Новые туфли на каблуке.

Они, конечно же, давным-давно уехали, страшно сказать, на другой конец света, увезя с собой подростшего Петечку, девочку-бэби, острый нездешний запах и старую Фиру, которая нигде дальше гастронома и

рынка не бывала, но наверняка знала, что всё в этой жизни предопределено и старый двор с натянутыми бельевыми верёвками, и разросшиеся каштаны, оплывающие в летнем зное, не навсегда.

## СУДНЫЙ ДЕНЬ

**В** Судный день моя бабушка поднималась ни свет ни заря.

Собственно, она всегда просыпалась рано, но пробуждение пробуждению рознь.

В этот день она не суетилась на кухне и не гремела посудой.

Уходила очень рано и, как выяснилось позже, ехала через весь город чуть ли не двумя трамваями — и это под холодным проливным дождём, а дождь, как неперенный атрибут скорби, сопровождал её до самой синагоги.

В общем, бабушка моя в этот день являла собой совершенный образ скорбящего иудея — бледная, в мокром плаще и с мокрыми щеками, она долго разматывала платок в прихожей и долго вздыхала. Я помню непонятное и немного пугающее слово «берковцы» и смешное — «синагога».

Я мало что понимала.

Дети вообще воспринимают события и явления как некую данность — да, такой вот день, и положено в этот день грустить, ездить через весь город двумя трамваями и мокнуть под дождём.

И всё это — заметьте! — без маковой росинки во рту.

Я понятия не имела о скрепляемом невидимой подписью сговоре с Всевышним. Да и бабушка явно не торопилась посвящать меня в тонкости обряда. Во-первых, ребёнок, чтоб он был здоров, и так всё время болеет. То горло, то уши, то не про нас будь сказано.

Ребёнок ещё настрадается.

Тем более школа на носу. В которой, как известно, о Судном дне особо не распространялись.

Моя бабушка в советской школе не училась. И думаю, она прекрасно понимала, что ребёнку (без пяти минут советскому школьнику, октябрёнку и пионеру) беседы с Ним явно ни к чему.

Сама же бабушка общалась с Всевышним регулярно. Она вела долгие, изнурительные и сладкие беседы. Как правило, на нашей крохотной кухне, за столом.

— Ты слышишь меня, готеню?

Подозреваю, «готеню» она поверяла тайны и сомнения, которые не доверила бы лучшей из подруг. Хотя какие могут быть подруги?

На лавочке под второй парадной — досиживающие свой век старушки в платках, все как одна чужие, чужого роду-племени... Их тоже занесло в эти дворы из прежних жизней — из пригородов, сёл и местечек.

Пожалуй, это их явно сближало.

Подол остался далеко, в другой жизни, до которой добраться надо было двумя трамваями и ещё чёрт знает сколько идти под проливным дождём.

Конечно, можно было добраться на метро — гораздо быстрее!

Но что-то мешало моей бабушке ступить на лесенку эскалатора, и она надевала нарядные, немного тесные балетки (они ей жали в пальцах) и почти новое синее платье с пуговками на груди и шла к трамвайной остановке, покупала талончик и занимала место у окна.

Иногда я думаю, сколько надо проехать, чтобы вернуться в город своего детства? Сколько раз трамвай должен выйти из депо и сколько кругов отмотать от района, застроенного типовыми пятиэтажками?

Зато «готеню» всегда был рядом, всегда начеку. К нему не нужно было ехать в переполненном трамвае.

— Как тебе это нравится, готеню? — с горестной иронией вопрошала бабушка и застывала, видимо, в ожидании ответа.

Иногда, впрочем, она отвечала, не мешкая, за Него и удовлетворённо покачивала головой.

У неё, чтоб не сглазить, всё хорошо...



## СЧЁТЫ БАБЫ ФИРЫ

Полноватая женщина с добрыми, изрытыми оспой щеками (шестимесячная завивка, синий халат поверх цветастого платья, господи, как же её звали) шлёпнула по столу туго набитой папкой и, с явным сомнением глядя в моё «вечно отсутствующее» лицо, произнесла: «Ну, в общем, это вот тебе, зарплату надо посчитать хлопцам. Справишься?»

Справлюсь ли я! Смешной вопрос! Конечно, да мне это на один зуб, чуть ли не воскликнула я, понимая, что это провал.

Завтра, да нет, уже буквально сегодня они всё поймут. Всё, что я сама о себе давно понимаю. Что все годы я не училась, а делала вид, что я в ужас прихожу от вида цифр, что дробь дробятся в моей несчастной голове и никогда не приходят к какому-то там общему знаменателю.

— Счётная машинка есть? — ватным голосом спросила я, развязывая тесёмки на папке.

— Какая ещё тебе машинка, вон у бабы Фиры счёты возьми, ты ж на счётах можешь?

Ну, на счётах, спрашивается, кто же на них не может, бормотала я, заливаясь краской ещё не стыда, но ужаса.

Баба Фира обитала на первом этаже. Её комнатка вплотную примыкала к цеху, и это было единственное человеческое место на всей территории. Там всегда кипел чайник, в вазочке уютной горкой лежали пряники, конфеты «Мишка на севере», в углу стояли тапочки и веник, а сама баба Фира в наброшенной телогрейке (если не носилась по цеху в своих знаменитых обрезанных валеночках) сидела над дымящимся стаканом крепчайшего индийского (того самого, из жёлтой пачки со словами) чая.

Если вы ещё не поняли, баба Фира была личность. С ней советовались директор и главный инженер Заславский. Её любили рабочие. Её окрика боялись, с её мнением считались. При том что я ни разу не

видела её вне себя. Вне себя как раз были чаще те, кто бежал к ней за помощью. Она строила всех.

Маленькая, в заношенной растянутой кофте (кажется, даже аккуратные заплатки присутствовали), в наброшенной на плечи телогрейке, в уютных своих валеночках беззвучно она появлялась то тут, то там, за ухом её торчал химический карандаш, губы шевелились, производя расчёты. Подозреваю, что Фира была гений. Тактик и стратег. Счёты — это так, маскировка. Но, тем не менее, с какой виртуозностью порхали её бледные в веснушках пальцы, как будто это были не тяжёлые деревянные счёты, а клавиши «Стейнвея».

Костяшки весело подпрыгивали, разлетались и тут же превращались в цифры, написанные убористым бабы-Фириным почерком.

— Деточка, что же вы будете делать со счётами? — глаза её недоумённо взирали из-под круглых стёкол перебинтованных в нескольких местах очков на понуро стоящую меня, — господи, они всё знали, они всё видели и понимали, эти подслеповатые глаза, от них ничего не укрывалось.

— Что же вы будете делать со счётами, деточка? — спросила старшая (и главная) нормировщица Фира Наумовна, приподнимая седые кустики бровей, и я, не скрывая отчаянья, прошептала: — Не знаю, расскажите как.

Ой-вей, чему же вы там учились, деточка, возьмите уже конфету и смотрите сюда.

Час в каморке бабы Фиры пролетел как одно мгновение. Прижимая к груди громоздкий инструмент, гораздо более надёжный, нежели плюющаяся перфокартами вычислительная машина, я взлетела на второй этаж.

Решительно раскрыла папку с тесёмками. Наконец наступил тот самый полный ясности и гармонии миг, которых за всю мою жизнь случилось не так уж и много. Первый — когда я (неожиданно для себя) прямо на экзамене решила сложнейшую задачу из учебника Сканави, который до последнего момента представлялся мне пыточных дел мастером в зловещих нарукавниках.

Второй — в пустеющем после окончания рабочей смены здании, на втором его этаже, посреди громоздящихся папок с тесёмками. За каждой цифрой, запятой и точкой стоял человек. Его дни, часы и минуты, помноженные, господи, на что? На что же?

Жалкие обрывки чего-то однажды усвоенного — «производительность труда, производительность труда».

Завод казался муравейником, в котором каждый муравей знал, куда и зачем он тащит своё бревно. Цеха, этажи, подсобки, закутки, кабинет главного, стрёкот пишущей машинки, стрёкот каблучков Верочки, секретарши, шлейф её дорогих духов, курилка, глаза мужчин, женские губы, смех, очередь за авансом, тускло освещённое помещение столовой, стаканы со сметаной и свёклой, борщи, свекольники, перловка, лысина главного инженера, белый костюм директора, плотно сбитого мужчины, довольно интересного, сплошь состоящего из бугров и сухожилий, его красный джемпер, его тяжёлая походка, скрип его подошв, запах одеколona, движущаяся очередь с подносами, долгожданный рабочий полдень, концерт по заявкам, послеобеденная скука, сумерки, запах котлет, гул первого этажа, подлинность цеховой жизни, похабные словечки, спецовки, рукавицы, грубость и притягательность другого мира с оседающей на одежде и волосах чёрной пылью, с душевыми, в которых распаренные потоком воды люди смывают с себя долгие часы, помноженные на...

Наморщив лоб, я тархтела костяшками, пытаюсь имитировать движения бабы Фиры, их лёгкость, отточенность, непринуждённость. Ведомости, разбросанные в живописном беспорядке, пестрели цифрами. Пальцы мои чернильные, язык мой сизый, юность моя печальная, — казалось, я сижу не час, не два, не три — всю жизнь, уподобившись бабе Фире, я проведу в затхлом помещении, неудобном, бедном, залитом холодным синеватым светом.

Я захлопнула папку. Утро вечера мудренее, повторяла я, подпрыгивая на остановке троллейбуса. Светились огни, праздничная иллюминация, был канун Нового года.

Уже на проходной я кое-что заподозрила. Ощувив некоторый холодок вдоль позвоночника. Но значения этому решила не придавать. И всё же каждый свой шаг я ощущала как будто внутри холодного полого шара.

Ах да, ведомость. Я вспомнила о ней, увидев ту самую круглолицую, в синем халате, которая отбивалась от парня в шинели поверх спецовки.

— Да не я это, не я, это новенькая! Да вот же она, только что прошмыгнула!

— Пройдите в кабинет и закройте изнутри. — Лицо главного было одновременно торжественным и тревожным, страшное слово «аутодафе» молнией блеснуло в голове. — И да, захватите папку. И не открывайте никому. Вас могут побить. Вы поняли? Праздники, зарплата. Вы хоть понимаете, что натворили?

Из коридора доносились сдавленные звуки, бабьи причитания, увещевания, топот, шарканье подошв, ровный гул, похожий на жужжание в растревоженном улье.

Раскрыв злополучную папку, я смотрела в окно. Человеческие фигуры отсюда казались маленькими, будто вырезанными из бумаги, тени их скользили по гладкой белой поверхности, звенели трамваи, светились окошки универмага «Украина». Стоило только представить себе, что творилось на его этажах! Сколько соблазнов! Сколько волнений, предвкушений, суеты! Отдел косметики, игрушек, запах финского стирального порошка и выброшенных на прилавок духов «Фиджи». Огромные ёлочные шары укладывались в выложенные ватой ячейки, шуршал серпантин, сыпались конфетти.

А там, вдалеке, развернулся ёлочный базар. Далёкий аромат хвои щекотал ноздри.

Всё это напоминало театр, стоило только устроиться поудобнее на подоконнике, обхватив руками колени.

Вздохнув, я придвинула счёты. Те самые, бабы-Фирины, тяжёлые. Нащупала в кармане «Мишку на севере». До Нового года оставалось несколько часов.

## СВОИ

Ну и, конечно, высшей кастой считался конструкторский отдел. Давид Залманович Канторович, Мирра Иосифовна Трипольская, Илья Борисович Шпильман, Боря Кнорр, Сима Рыбак — всякий случайно попадающий в эту компанию аристократов, в этот джентльменский клуб ощущал себя либо среди своих, либо, увы, слоном в антикварной лавке с редчайшими вещами.

Как, однако, красивы были эти люди! Какой иронией светились их глаза! Сколько в них было блеска, мудрости (не лет, а веков, жизней), сколько негибимой силы и независимости.

Да, люди эти были необычайно сильны, каким-то особенным, передающимся из поколения в поколение знанием.

Отдел жил своей жизнью (внешне мало отличимой от прочих), но детали, детали.

У них не было рабочего полдня и концерта по заявкам. Они пили кофе (отличный, кстати) и курили в любое неурочное время. Там можно было услышать антисоветский анекдот, записаться в очередь на свежий «Новый мир», поделиться впечатлениями о вчерашней джазовой программе на радио «Свобода», купить забойные шмотки (один из элементов этой самой свободы), увидеть породистых женщин с осанкой библейских цариц (ах, что за подъём был у Симочки Рыбак), наблюдать, как закидывают они ногу на ногу в изящных итальянских (пощупайте кожу) сапожках, как курят они, как смеются, как красят губы, как примеряют эти самые шмотки.

А остроумие мужчин! Их живость! Особая, ни с чем не сравнимая мимика, лепка лиц и выразительность жестов.

Обаяние этих людей заключалось в их абсолютной неформальности. В особой системе взаимоотношений, оповещений, приязней и не.

Они быстро вычисляли своих и отсеивали чужих. Да и чужому сложно было задержаться в этом мирке избранных, в сетях и проводах иносказаний и полунамёков. В атмосфере интеллектуальных игр, сарказма (часто довольно жёсткого) и антисоветского шарма.

— Послушайте, кто взял номер «Нового мира»? Он здесь лежал, под вязанием в первом ящичке! Лев Борисович, вы, случайно, не брали?

— Господа, вы читали «И дольше века длится день»? А «Альтиста Данилова»? А Солженицына, Шаламова, Разгона? Воспоминания Мессерера? (Список произволен.)

— И тут я говорю ему: да, я аид, и что дальше?

— Господа, у Илюши провода. Завтра в семь на Саксаганского.

\* \* \*

Это было поколение ярких, раскрепощённых людей, позволявших себе максимум свободы в заданной системе координат.

К слову сказать, таких лиц я больше не вижу. Или почти не вижу.

Не знаю, в чём тут дело. В системе координат, которая у каждого, в общем, своя? Сложно сказать, стали ли мы по совокупности счастливей их и стали ли счастливей они, оказавшись вне системы, которая душила, давила, травила, уничтожала, всё так, но и оттачивала умение продираться сквозь глухие стены и безнадёжные тупики (если не убивала, конечно), и создавала такие вот островки, дрейфующие в океане льдины.

Свобод стало гораздо больше, исчезла необходимость в полунамёках, знаках, иносказаниях, исчезла общность людей, транслирующих их.

Исчезла потребность в коротких волнах.

Исчезли смеющиеся в курилке между вторым и первым этажами. Исчезли кухонные анекдоты. Порой я очаровываюсь пытливым из-под бровей взглядом, но при ближайшем рассмотрении мне становится скучно (и чем реже исключения, тем они ценней). Как сложно стало вычислять своих! Как скучно листать свежий, пахнущий типографской краской номер.

Его почти не с кем обсудить. Да и незачем.





# БЛАЖЕННЫЕ



## ДОРОГА

Здесь тени застыли, будто стрелки на циферблате, не в силах сдвинуться с места, только время, неумолимое время сдвигает их, проводя чёткие линии, уходящие за крыши домов. Во двориках, за сумрачными арками, скрывается вожделенная прохлада, но и туда врывается духота раскалённых улиц, проникает в окна, ударяясь о стены, покрытые многозначительными символами и узорами, — это время, это время, детка, — оседает фундамент, запахи въедаются, не выветриваются — как и воспоминания о них, — пожалуй, они живут дольше нас и возвращают в тот самый день и час, о котором мало кто помнит, — час или день твоей жизни, больше ничьей, с вплетённым в него орнаментом, никогда не повторяющимся, ни разу, — с гулом площади за спиной, с последним лучом солнца, полирующим и без того огнём горящие купола, — на улочках, стремительно взбегающих вверх, главное — дыхание, его должно хватить до самого конца, до верхней точки, на которой линии, пересекаясь, образуют новый уровень, со своими подъёмами и спусками, дворами и стенами, — не стоит искать в этом дополнительный смысл кроме того, что уже существует, — из пункта А в пункт Б, — главное — дыхание, его должно хватить, и тогда наградой идущему будет вечный сквозняк Андреевского, пленительная окружность Пейзажной — овраг, уводящий вглубь, — туда не проникает равномерный жар, там спасительная близость ещё живой травы, не выгоревшей добела, там шум дубрав и шелест листьев, и близость следующего уровня, он называется Подол, — стрекохут швейные машинки, выделяется кожа, сохнет на

перилах, прикидываясь диковинным зверем, там перелицовываются платья, там истории проступают из неровных стен, требуют внимания, тишины, там обувные картонки со старыми жёлтыми снимками хранятся в чуланах, там оплывает янтарная слеза, стекает по синей кайме нарядного блюда, там юные пастушки печалются за дверцами серванта, шанхайские болванчики покачивают круглыми головами, храня фарфоровые тайны под кожей сонных век, — там лица, голоса, жесты, за поворотом худая женщина ведёт за руку девочку, в другой руке у неё узел, саквояж, ещё узел, — она возвращается домой после долгого путешествия, слепые окна домов приветствуют её, могильная прохлада подвалов, склоны, спуски, колокольный звон, расходящийся вширь, уходящий вглубь, обещающий защиту и утешение и сохранность мира, в котором согбенные старики прозрачными пальцами водят по ветхим страницам, поют, бормочут, раскачиваясь, и тени колышутся в такт, и мелодия эта бесконечна и стара, как эта улочка вдоль военной части, за которой арка, дом, двор, — всё как было, всё как было, и молитвенники, развёрнутые на той самой странице, и куклы с вытаращенными пуговичными глазами, и лежащий на боку волчок под портняжным столом — там мальчик сидит, прячась от наказания, там мальчик, обхватив руками плечи, сидит и видит всё, о чём не смеют рассказать брошенные впопыхах вещи, — он просидит так долго, очень долго, пока не станет древним стариком с пыльным молитвенником, в котором истории, сплетаясь, поведают про овраг, тишину, спешку и неспешность, про дыхание, которого должно хватить до самого конца, про солнечный луч, полирующий вечность, стирающий следы, запахи, воспоминания — оставляя единственное, пожалуй, — дорогу, которая не заканчивается никогда.

## БЛАЖЕННЫЕ

Рано утром все ушли, вечером вернулись,  
лампы в комнатах зажгли, выжить извернулись!  
Молится, летая, моль над роялем,  
грустная, как си-бемоль, над лялялем.

*Владимир Гандельсман. Школьный вальс*

**В** какой-то момент Верочка перешла исключительно на балетки. Вдела ступню — и вперёд, никакой тебе шнуровки, пуговок, застёжек, а главное — наклонов, совершенно несовместимых с травмой позвоночника, которую она перенесла прошедшей зимой. Снег давно не чистят — так, посыпают какой-то разъедающей обувью химической дрянью. Нет, день этот не значился на календаре и не был как-то специально помечен в ежедневнике, которого у Верочки отродясь не было. Просто из Верочкиного гардероба (какое уютное, старомодное слово, не так ли?) будто бы в одночасье исчезли все прочие виды обуви, даже, страшно сказать, тёплые войлочные сапожки на удобной застёжке. В Верочкином детстве такие звались неваляшками.

— А кто сегодня пойдёт в неваляшках? — голос этот, немного глуховатый, принадлежал Верочкиному папе, и сильные руки обхватывали капризно вытянутую ножку, у основания будто перетянутую невидимой резиночкой. Верочка была совсем не пухленькой, как кажется отсюда, издалека, а миловидно упитанной, округло-хорошенькой, отчего взрослые так и норовили ущипнуть её то за атласную щёчку, то за нежный локоток.

Отец носил её на плечах, но чаще — на спине, это называлось «купки-баранки», и хохочущая девочка бойко ударяла ножками по отцовским бокам и пояснице, и главным, конечно же, и самым уморительным

во всей этой истории была угодливо согнутая мужская фигура, якобы прогибающаяся под тяжестью сладкого груза. А груз был, несомненно, сладким — бывают ведь такие сахарные, сладкие дети, которых так и хочется то поцеловать, то куснуть — в шейку, в ладошку, в пяточку.

Отцовская ладонь, обхватывая с нежностью Верочкину пяточку, осторожно проталкивала ступню в тёмный (с высунутым войлочным языком) зев сапожка и, поднатужившись, тянула на себя немного тугую змейку-молнию. Верочка, возвышаясь над отцовской спиной, наблюдала законный пейзаж — едва прорисованный мягкой акварельной кисточкой, — в нём, в этом пейзаже, не было ничего ровным счётом примечательного. Разве что вспорхнувшая на голую ветку тучная ворона. Желтоватые ватные комки между тонкими дребезжащими стёклами создавали подобие рамы, в которой видимое становилось нарядным, оформленным, будто вдетая в багет картина.

Вот этот застывший (на каких-то несколько мгновений) кадр, неяркий — без единого акцента, останется в памяти: стоящий на одном колене отец, покрасневшая, аккуратно подбритая кожа затылка и шеи, сидящая на дереве тучная ворона, чуть дребезжащее (вдалеке проезжает трамвай) стекло.

Тугие петли цигейковой шубки не поддавались Верочкиным сахарным пальчикам, да и отцовским, длинным и сильным, они поддавались с трудом, но вот защёлкивалась последняя, у самого подбородка, пуговка, и Верочка, сопя, разворачивалась вправо и влево, давая обернуть себя пуховым (поверх шубы) платком, и теперь, почти задыхаясь, уже в тесноте прихожей, освещённой тусклой лампочкой, она терпеливо ждала, пока отец наденет похожее на верблюда двубортное коричневое пальто.

\* \* \*

Заснеженный барельеф над крыльцом, скользким булыжником мощенная мостовая, полукружьями выступающие балконные решётки с замысловатыми металлическими виньетками. Окна прикрыты ставнями, за ними прячутся цветочные горшки и фикусы, покрытые многолет-

ней пылью. Чей-то неясный профиль за сдвинутой занавеской, ключья ваты в проёме между тонкими дребезжащими стёклами.

Включённая на кухне радиоточка бубнила о чём-то бархатным баритоном. В комнату, точно облако, вплывала похожая на доброго гнома старушка в обрезанных у щиколотки валеночках, в шерстяном платке крест-накрест через спину и грудь, — лицо её было торжественно, руки прижаты к груди.

— Соня, золотко, только что... Вы слышали?

Старушку (на самом деле никакая она была не старушка) звали Фира, и работала она мастером цеха на четвёртой обувной фабрике, но там её называли уважительно, несмотря на шерстяной платок и валеночки, — Фира Наумовна, однако Верочка ничего про это не знала — для неё Фира была той, которая живёт в крохотной комнатухе под лестницей.

Отец, пристроив зеркальце к полке, брил худые щёки и острый подбородок, до крахмальной какой-то бледности, от которой лицо его становилось моложе и болезненней, он даже казался немножко чужим, но ненадолго, потому что уже через несколько часов сквозь кожу его пробивались жёсткие рыжие волосы, и тогда всё становилось на свои места, — отец был отчаянно худ, каштаново-рыжеволос, и первое воспоминание, связанное с ним, было именно это — покалывание жёстких волосков, довольно ощутимое, отчего Верочка ёжилась, точно от щекотки.

Что-то поскрипывало в тишине, что-то с грохотом упало и покати-лось, — раздался звонок, женский крик и захлёбывающийся детский рёв, — сколько раз, — я говорила, говори-ила! Человек со смешной фамилией Голубчик, скукожась и кивая головой, мелкими шажками пробежал из кухни в боковую комнатку, — потом! потом! — в трубке что-то щёлкнуло — короткие гудки, — всклокоченная шевелюра Голубчика ещё раз показалась в приоткрытой двери и исчезла.

Это случилось в слезливый мартовский день, ничем особо не примечательный. Верочка, играющая в коридоре с ангорской кошкой, бе-

ленькой, с чёрными пятнышками на ухе и груди, вздрогнула от низкого протяжного воя (не мужского, не женского, волчьего какого-то) — такого она не слышала никогда, и вой этот раздавался из комнаты Повалюков.

Из боковой комнаты вновь выглянул Голубчик. Лицо его было бледным, на плечах топорщился пиджак, которого (как казалось Верочке) сосед сроду не носил.

— Ну вот и всё, — сказал он. — *Аман*<sup>1</sup> сдох. — И будто в подтверждение его словам, страшный вой повторился, разрастаясь, — казалось, выли сами стены, и даже дома, раскачиваясь от страшного горя. Случилось что-то ужасное, непроизносимое, но, странное дело, — Соня, сидящая в комнате за шитьём, разве только немного побледнела и повернула голову к Илье, который застыл с покрытой пеной щекой и полотенцем на плече. Позже, много позже, вспоминая этот странный день, совсем не праздничный, но наполненный тайным, скрытым от непосвящённых смыслом, Верочка увидит, будто на старом поблёкшем снимке, склонённое, очень красивое, лицо матери и мокрое, совсем мальчишеское — отца.

\* \* \*

Странное свойство памяти — удерживать какие-то, на первый взгляд совершенно незначительные, подробности, и именно они, как правило, становятся значимыми.

Ибо что такое прошлое без запаха отцовского, висящего на плечиках пальто?

Без его истёртой атласной подкладки, без крупных плоских пуговиц, без внутреннего алого кармашка, в который так любопытно было просовывать ладонь, нащупывая тиснёные букочки на удостоверении.

Пальто было из тех, трофейных ещё запасов, кажется английское, — во всяком случае, отец упоминал об этом не раз. Добротнo сшитые

---

<sup>1</sup> *Аман* — в книге Есфири сын Амадафа, царедворец персидского царя Асуира, или Агасфера, задумавший из зависти к своему сопернику Мордехаю погубить всех евреев в Персии и поплатившийся за это жизнью.

вещи не оставляли его равнодушным, но и рабом этих вещей он никогда не был. Пальто английской шерсти прослужило немало лет. Во всяком случае, замены ему точно не было.

Дела, надо сказать, шли неважно — за несколько лет из блестящего военкора отец превратился почти в безработного. Первые послевоенные годы пролетели в обустройстве гнезда, и это казалось (и было) самым важным — налаживание всех жизненных систем, обеспечение их самым необходимым, наполненное, осмысленное проживание каждого дня, хотя для Верочки это было время счастливого беспамятства.

Родившейся в Берлине, ей, уже пяти-шестилетней, всюду встречались приметы великих времён. Главной была, конечно же, лейка. Загадочный механизм, состоящий из множества деталей, непостижимым образом связанных между собой, он волновал и притягивал совершенством исполнения, сложностью и завершённой формой. Вожделенное «нечто». Добраться до сути, понять, «как оно устроено». Порой, не дыша, касалась она пыльного футляра, не без усилий отстёгивала крохотную кожаную пуговку, обнажая всевидящий глаз объектива.

Фотодокументалистика перешла в разряд почти хобби — ведь войны имеют обыкновение заканчиваться, а свадьбы, юбилеи и прочие значимые вехи в человеческой жизни никто не отменял.

Плёнку отец проявлял в кромешной темноте чулана, и это было таинство. Событие. Чудо возникновения и повторения неповторимого, воспроизведение самой жизни, её фактическое доказательство. Детальность и отточенность процесса. Отмокая в розовых пластиковых ванночках, на снимках оживали лица незнакомых людей. А вот и её, Верочкино, почти неразличимое в нимбе светящихся волос. Пожалуй, она была главной и самой благодарной его моделью, если не считать Сони.

\* \* \*

— А ведь Верунчик наша уже совсем барышня, — смеялся отец и щёлкал её по носу — небольно, впрочем, и исчезал надолго, а возвращался к поздней ночи, внося на вытянутых руках отрез шёлка, или крепдешина, или даже панбархата, который набрасывал девочке на плечи,

и, склоняя голову набок, присвистывал якобы в изумлении, разглядывая застывшую в смущении дочь — всё ещё неловкого подростка для всех, но не для него — бледность, неуклюжесть казались началом чего-то прекрасного, зарождающегося на его глазах. Зажмурившись, стояла она посреди комнаты, освещённая янтарными отблесками трофейного светильника, — вот и выросла, вот и выросла, — пожалуй, только отец и видел в ней красавицу, а мать вздыхала, отмечая, что волосы дочери торчат в стороны и кожа не может похвастать матовостью, в целом же она похожа была на несуразного птенца, — бестолковая, — Соня хлопала её по спине, надеясь таким образом выправить осанку, но осанки не было, не было, и всё тут, — из спины выпирали лопатки, позвоночник гнулся, плечи уходили вперёд.

Отец смеялся, по-детски радуясь тому, что невнятный младенец вырос в нескладную девицу, и это переполняло тайной гордостью, что вот он, Илья, родил дочь, и вначале всё было похоже на забавную игру, а теперь маленькая женщина стоит посреди комнаты, и он, Илья, имеет самое непосредственное отношение к этому явлению.

Верочка смущалась, потому что ко всему этому надо было как-то привыкнуть — ко всем этим переменам, к которым она как-то не была готова, страшилась их. Иногда она боязливо касалась себя, и это наполняло её странной грустью и необъяснимым томлением, — выбора не было, приходилось мириться со всем этим, — предопределённость страшила и одновременно влекла, как и всякая мысль о неизбежном. Ведь можно же как-то этого избежать — тяжести внизу живота, приступов тошноты и непомерного аппетита, как будто некий незнакомец вселился в её такое понятное до мелочей тело, и он, этот незнакомец, требует всё новых и новых жертв, предъявляет права, раздвигая грудную клетку и бёдра, сжимая гортань и забираясь в голову.

Мать смахивала пыль с комода или платяного шкафа, выдвигала и задвигала так называемые шухлядки, брала в руки фарфоровых пастушков и пастушек, — на миг лицо её освещалось улыбкой, — возможно, ответ этой улыбки тянулся ещё оттуда, из Берлина, — там всё



только начиналось и пьянящий воздух другой жизни проступал сквозь горькую завесу дыма.

Дом, в котором добротная мебель благородного тёмного дерева, застывшего под ажурными салфетками, — ни скрипа, ни шороха, — лишь иногда поскрипывающего серванта, за стёклами которого угадываются застывшие в чинных позах фарфоровые пастушки и китайские болванчики и, конечно же, посуда — пирамиды, составленные из судочков, глубоких и мелких тарелок, соусников, пузатых чашек и прозрачного саксонского фарфора — такого непостижимо утончённого и хрупкого в неловких руках, — я тебе сколько раз говорила! — всё тот же голос с металлическими нотками вырывает из забытья.

Чашка выскальзывает из пальцев и плавно разлетается на тысячи благородных осколков. И тут же рёв — оглушительный, помноженный на десяток зеркал, в которых злые тролли хохочут, гримасничают, заходятся беззвучным плачем, тычут в её сторону короткими пальцами.

И тогда тишина дома поглощает её, сидящую в углу с прижатой к груди тряпичной куклой.

— Некрасивая, некрасивая, — бормочет соседская старуха, ощупывая беспокойными глазами. Глаза у старухи трахомные, страшные, а руки — цепкие, жилистые. — Ничего, что некрасивая, зато добрая, — таков старухин вердикт.

Мать, пугливо обхватывая голову девочки, прижимает к животу. Утешенная, вдыхает она тепло заношенной ткани, желая только одного — стоять так до самого вечера, пока не явится спасение в виде отца, такого же рыжего и некрасивого, как она. — В отца пошла, — шелестит соседка, — в отца, — у тебя, Соня, волос ровный, красивый, и нос, и бровь, — подпортил Илья породу, — она в них пошла, в их сторону, в бабу Еву.

Верочка обиженно сопит, потому что никакой такой бабы Евы не знает, а отца считает самым красивым на свете, даже красивее мамы, которая и правда невообразимо хороша в своём строгом, с рядом матерчатых пуговиц заграничном платье, — тогда все подводами, составами

везли, и платья, и комоды, и рояли, и даже её, Верочку, привезли, — всю в кружевах, точно куклу, — с тугими младенческими ручками, ножками и похожей на облетающий одуванчик головой.

Хлопок входной двери, и чужую старуху словно ветром сдувает, как будто и не было никогда. В проёме двери — отец, смеющийся, худой, растрёпанный, будто светящийся — это всё рыжина, проступающая отовсюду — из глаз, пор, волос, — отец так же пятнист и некрасив и так же беспричинно весел, — тогда как мать — настороженно-грустна и, словно тень, бесплотна.

\* \* \*

Наиболее уютным местом в доме была кухня — ничего общего с коммунальными кухнями, которые принято изображать в кино. Никаких скрученных тряпок, никакой затхлости и духоты, никаких выяснений отношений, боже сохрани!

Да, тут и там вспыхивали скандалы, но чаще они были локальными, внутрисемейными, прогнозируемыми. И заканчивались так же неожиданно, как и вспыхивали, — собственно, скандалами в традиционном смысле этого слова назвать их было нельзя — так, лёгкие сполохи — пустячки, придающие вкус жизни.

На кухне висело радио — большая чёрная тарелка, и Верочка, пристроившись у подоконника с кошкой на коленях, слушала всё подряд — залихватскую гармонь, торжественный голос диктора, скрипичный концерт, частушки...

В комнате, расположенной в самой глубине квартиры, чуть позднее появилось своё радио — приёмник, — громоздкое, довольно основательное устройство светло-орехового цвета, накрытое ажурной салфеткой. Сидя рядом с отцом, Верочка вслушивалась в вещание, которое разительно отличалось от кухонных передовиц. Будто прорываясь сквозь невидимую толщу вод, заграждений (казалось, там, в эфире, бушуют ветры, воют метели и безымянные скрипачи водят невидимыми смычками), звучала человеческая речь. Сквозь вой и скрежет, щелчки и шипение пробивался очень доброжелательный, нездешний какой-то

голос, совсем непохожий на голос диктора Левитана. Отец, набросив на плечи верблюжье пальто, кивал головой, улыбался чему-то, хмурился, негодовал — и вдруг, будто опомнившись, наталкивался взглядом на Верочку, тихо засыпающую рядом.

— Какой же ты тяжёлый, Верунчик, — смеясь, подхватывал её, полусонную, под коленки, дивясь драгоценной этой ноше.

\* \* \*

— Раечка, золотко, сладкая, — Петро Повалюк чуть гнусавил и заискивающе тёрся о Раисину спину.

Верочка заворожённо наблюдала за этой восхитительной прелюдией, — сейчас уже трудно вспомнить, что так влекло и отталкивало одновременно, — едкий ли рыбный запах, — то неуловимо чарующее и страшное, что происходит на кухне в молочные утренние часы. На кухню черепашьим шагом входила Фира Наумовна, поджав губы, ставила чайник на конфорку и доставала галеты.

Появление щуплой, почти невидимой Фиры вызывало в Повалюках приступ буйного веселья, — наверняка даже самим себе они не могли объяснить этого, — превосходства румянца над бледностью, здоровья над немочью, плоти над бесплотностью...

Особенно восхищал отставленный мизинчик, — тю, глянь, — Раиса прыскала, впрочем беззлобно, — пока Фира ополаскивала заварник, супруги давились беззвучным хохотом: ну надо же, мизинчик, — надо же...

— Фира Наумовна, — Повалюк подмигивал супруге и галантно касался острого плечика, — не желаете ли — рыбки? — Лицо его расплзлось блином, — Фира вздрагивала и подёргивала подбородком: — Нет, спасибо, Пётр Григорьевич, я лучше чаю поплюю.

— Чай... чай, — посмеивалась Рая и, развернувшись со сковородой в вытянутых руках, внезапно оглядывалась на Верочку, застывшую в двери: — Шо стоишь — заходи до нас, — или тоже чай?

Верочка проскальзывала в логово Повалюков, пропитанное чуждыми запахами — такими до неприличия явными, пронзительными, — с застеленной переливчатым цветастым покрывалом гигантской крова-

тью с никелированными шишечками, с устрашающим конусообразным бюстгальтером, свисающим со спинки стула, с многочисленными снимками на стене — старушек в повязанных плотно под подбородками платочках, удалого красавца с гармонью, двух застывших серьёзных девушек с закрученными вокруг голов косами, — на Верочкины расспросы ответ был один: — А кто его знае — оно здесь висело, так я и оставила, пускай висить, — Рая проворно стелила на стол — ставилась ещё одна тарелка, для гостьи — на стул подкладывалась расшитая подушечка, для удобства. Петро прикладывался к рюмке с наливкой — тягучая жидкость лилась меж мясистых его губ. Раиса придирчиво следила за опустошением Верочкиной тарелки: кушай, деточка, кушай, — Верочка старательно подъедала, пока Раиса, подперев круглый подбородок ладонью, размякшим бабьим взглядом смотрела на мужа: — Петро... нам бы дивчинку... маленьку... або хлопчика... — а, Петро?

Осоловевшие глаза Петра останавливались на Раисиной пышной груди, вольготно раскинувшейся под бумазейным халатом.

— Ну — покушала? — Раисина ладонь оказывалась на Верочкином плече — и через минуту она (Верочка) уже стояла в тесном коридорчике с глуповатым остроухим «ведмедиком» в обнимку. — Иди погуляйся, деточка. — За стеной уже повизгивали пружины и какая-то маленькая девочка, а не Рая вовсе, выводила нежные рулады: ай, ай, — а кто-то — строгий и взрослый — взволнованно вопрошал: гарно? так гарно?..

После обеда наступало время заслуженного досуга — под сокрушительные звуки духового оркестра. Человек со смешной фамилией Голубчик (из боковой комнаты слева) страдальчески морщился — это не музыка, девочка, это гвалт.

Почти никогда Марк Семёныч не называл Верочку по имени, — впрочем, как и остальных соседей. Даже у входа в уборную он застывал в галантном полупоклоне: мадемуазель... мадам... только после вас!

У щепетильной Фиры это вызывало приступ паники — она осмеливалась посещать отхожее место, если поблизости не оказывалось убийственно вежливого соседа.

Ходили слухи, что маленький Голубчик чудом остался в живых и с тех пор жил совершенно один, без друзей и родных, — на стене висел портрет молодой женщины в шляпке, а чуть ниже с маленькой фотокарточки улыбались темноглазые девочки-двойняшки с бантами в тёмных волосах.

\* \* \*

Иногда Фира, Голубчик и Верочка резались в подкидного — Марк Семёныч азартно вскрикивал, жульничал, томно прикрывал веки сухой ладошкой и по-детски бурно захлёбывался обидой и восторгом. Подталкивая Верочку локтем, Фира заходилась булькающим смехом. Похоже, она кокетничала.

Повалюков Голубчик откровенно презирал. Поговаривали, что Петро Повалюк имел некоторое отношение... Не принято было говорить на эту тему, никто не обсуждал открыто, но отчего-то этот внешне вполне безобидный человек внушал ужас маленькому Голубчику.

— Она опять была там? У этих людей! Боже, боже, — в голосе его дрожали трагические нотки — горестно улыбаясь, он пожимал плечами, отворачивался к окну и становился похож на маленькую нахохлившуюся птицу.

— Марк Семёныч, родненький, ну никто же точно не знает! Вы там были, я спрашиваю? Вы видели? Ну нельзя же просто так подозревать человека бог знает в чём! Это сущий грех!

\* \* \*

— Вера, сколько раз я просила не ходить туда!

Верой её называла только Соня — не Верунчик, не Верочка, а просто Вера, и собственное имя казалось Верочке ужасно некрасивым, — потупившись, в очередной раз выслушивала она Сонины назидания на тему «не есть у чужих», но удивительное дело, в разряд чужих совсем не попадали ни Фира Наумовна, ни Марк Семёныч, то и дело украдкой втискивающий (то в горячую ладошку, то в кармашек платья) круглые тянучки или ириски. Порой соседи устраивали импровизиро-

ванные «пирушки», и кто, если не Верочка, оказывалась самым желанным гостем?

— Присаживайтесь, барышня, — Марк Семёныч, обвязанный потешным фартуком (с вышитым на нём пёстрым петушком), услужливо сгибаясь, подкладывал на высокий стул подушечку и, подхватив Верочку, торжественно усаживал её на почётное место.

— Фира Наумовна, ну что ж вы, голубушка, запаздываете, — волновался он, маленькими, усыпанными коричневой крошкой руками передвигая тяжёлые изогнутые вилки, ножи, бокалы тусклого тёмного стекла, в котором отражалось янтарное свечение лампы.

— Ништ гештойгн, ништ гефлойгн, их вэйс<sup>1</sup> — прикладывая салфетку к губам, Марк Семёныч обменивался с Фирой странными словечками, отчего оба они казались посланниками какого-то несуществующего анклава, к которому некоторое отношение имеет и она, Верочка, и, соответственно, Соня и Илья. То есть правильной было бы сказать — формально несуществующего, но в Верочкином словарном запасе не было таких слов и понятий...

— Мама, а мы евреи? И я? — однажды поинтересовалась она, и интерес её был скорее исследовательским, тем более что буквально на днях соседская Валечка — плотная, мясистая, будто бы состоящая из хорошо пригнанных друг к другу квадратов и кругов, с неровно подстриженной под горшок чёлкой и сонными глазами из-под бесцветных бровей, оповестила её о том, что «в войну в ихнем подвале прятали жидов». — «Ну, в смысле, вашей, еврейской нации», — добавила она, подметив Верочкино замешательство. — «Ну, бабуся прятала — там одна дивчинка была, и один хлопчик, так их всё равно поймали, мамка казала, вон с того подвала, бачишь?»

С тех пор, проходя мимо подвала, Верочка, исполненная суеверного ужаса, старалась не смотреть на его проваленные, поросшие чахлой травой ступени. Когда дверь оказывалась приоткрытой, наружу про-

---

<sup>1</sup> Небылицы, я знаю (*идиш*).

сачивался страшный, могильный дух, в глубине оживали и двигались косматые тени, — впоследствии оказалось, что таким душком обладают практически все подольские подвалы, — более того, в них продолжают жить люди.

Позже Валечка, воодушевлённая Верочкиной реакцией, сообщила, что в подвале пытали людей и на стенках осталась кровь. И *трупки*. Что по ночам они (трупки) ходят по двору и крадут детей.

Иногда Верочка воображала себя «той девочкой», из подвала, которая, держа за руку брата, выходила на свет божий — бледная, худенькая, в истрёпанном платье.

Конечно же, словоохотливая Валечка поведала ей о самом страшном — дети обожают придуманные страшные истории, но только придуманные, рассказанные в тёмном закутке свистящим шёпотом. Эти самые «дивчина с хлопчиком» жили в той самой квартире, в которой живут её родители (Соня и Илья), Марк Семёныч Голубчик, Фира, Петро с Раисой и она, Верочка.

В тот самый день, войдя в дом, Верочка, немедленно вообразив себя «той девочкой», стала искать надёжное место, потому как то, что случилось раз, может повториться. Выбран был угол за комодом, потом сам комод — в его сумрачной, но не лишённой уюта нафталиновой тиши и духоте просидела она минут пятнадцать, больше не выдержала, выскочив в тот самый момент, когда в комнату вошла мать. Задав пару вопросов, Соня, крепко взяв за руку Верочку, заверила её, что никаких *трупков* в подвале отродясь нет и не было, и мальчика с девочкой тоже. Квартира, — сказала она, — принадлежала людям, которые уехали — сели в поезд и уехали в дальние края. Конечно же, Соня сказала правду, но не всю, утаив тот факт, что жильцы эти, покинув дом, так и не добрались до места назначения.

Наверное, для того страшные истории и существуют, чтобы прожить всю меру ужаса от начала и до конца, чтобы потом, выйдя на свет божий, забыть о них начисто, ну, не то чтобы совсем, — всё же

оставшийся где-то в глубинах подсознания страх давал о себе знать с наступлением сумерек, но летний двор, занавешенный накрахмаленным бельём, усеянный одуванчиками, сулил больше радостей, нежели страхов, и распахнутая настежь дверь «того самого» подвала обнаруживала такие тривиальные предметы, как старый самокат, прислонённый к стене велосипед с ржавой цепью, лысые шины, трёхлитровые банки-закрутки со сливовым и приторно сладким вишнёвым компотом, с вареньем из райских яблочек и дикой алычи. Разросшаяся акация давала мощную тень, и в этой самой тени Верочка, сидя за деревянным столом, укрытым цветной клеёнкой, листала тяжеленный том Брема, подаренный в восьмой день рождения.

\* \* \*

Старый двор распахивал тёмные закоулки и подворотни, в которых чего только не было — торопливо перебегающие дорогу ежи, тощие беременные кошки, искалеченные вороны.

Мать морщила красиво очерченные, темнеющие на матовом лице губы. Отец трепал по жёсткой пружинящей шевелюре и уносился по неотложным делам. Найдёныши оживали, хорошели на глазах, а потом уходили (уползали, улетали) в свою взрослую жизнь.

— У доченьки твоей руки-то золотые, — может, она и меня поleicht? — незнакомая старушка пошатывалась в двери — точь-в-точь сухая былинка. — Да вы проходите — я позову, но глупости всё это — соседи болтают, — Верочка, к тебе. — Насупившись, выползала она из закутка, в котором как раз некий доходяга лакал прямо из блюдца, — вытерев наспех руки о платье. — Слышь, говорят, девчонка твоя навроде иконы, от болезней лечит, я бы в Почаево пошла, поползла бы, да не дойду, — я тут по соседству, хуже-то не будет. — Пришелица возлагала на её голову сухие ладони и благоговейно вздыхала — протяжным старушечьим вздохом, в котором что-то было от плача маленькой девочки.

Позже потянулись юродивые, их-то после войны оказалось навалом, — подвальные старушки, инвалиды-колясочники, — на что надеялись? — ведь ноги обратно не отрастут, — немые, слепые, — все они,



оказывается, прекрасно ориентировались в подольских закоулках, — держась за стены, скользили, просачивались из опрятных монашеских двори-ков, — забинтованные наглухо старушки, — мать шарахалась, но Верочка никого не боялась, — деловито накладывала ладони на едко пахнущие головы, — господь благословит, деточка, — старухи совали в кармашек фартука липкие тянучки, — мать, опасаясь заразы, вытряхивала одежду.

Она вытянулась, истончилась, и лицо её, несколько асимметричное, с длинноватым носом, уже нельзя было назвать детским и милым, и красивым оно тоже не было, но глаза, глаза — пожалуй, глаза брали реванш за все прочие несовершенства — особую подростковую некрасивость, от которой, впрочем, Верочка ничуть не страдала, — скажем так, она больше сострадала, нежели страдала, да и времени на рассмотре-вание собственных несовершенств у неё не оставалось.

Отец хлопнул дверью, спустив с лестницы очередную малахольную старушку, — совсем, что ли, спятили, — обычный ребёнок, оставьте в покое, — Соня, гони всех взашей, — девочке учиться надо.

Школу Вера любила, а впрочем, и её любили — открытую и необидчивую. Самый заядлый враг замирал и сникал, напоровшись на бесхитростный взгляд зелёных с рыжиной глаз. Ругать её было бессмысленно, обижать — бесполезно. Потому что, странное дело, — она не боялась, а только помаргивала как будто подпалёнными ресницами, за которыми угадывалось простодушное её естество.

Запретов Верочка не признавала. То есть она их слышала, но тут же забывала напрочь, и они, эти запреты, облетали её безалаберную голову, точно тополиный пух, не чиня ни вреда, ни особой пользы.

Точно во сне, досиживала она до конца занятий, усердно макая перо в чернильницу, а после прилежно собирала тетрадки и брела по улицам, погружённая не то чтобы в мысли, скорее в неясные мечтания, впрочем, больше глазела — как и любой идущий с уроков ребёнок.

Напрасно разогревала Соня обед, потирала щёки, лоб, костяшки бледных пальцев, — заблудшее её дитя шаг за шагом отдалялось от конечной точки путешествия, потому что чужие подворотни влекли го-раздо более, чем бульон с лапшой и прокрученными фрикадельками.

Верочка вытягивалась, — ни в мать, ни в отца, — наверное, в незнакомую бабу Еву или Асю, — ни с одной из них Верочка так и не успела познакомиться, — вся родня дружно ушла туда, откуда возврата не бывает, — там всё перемешалось — утончённость Евы, трепетность Аси, учёность деда Эммануила, а также неразборчивость в определённом смысле тёти Шпринцы, её кокетство, сладковатая конфетная красота — точёный напудренный носик, округлый подбородок, обольстительные ямочки на щеках — вот, смотри, Верочка, — твои ямочки.

Порой они являлись в странных полуснах — выстраивались в шеренгу, — молчаливые, глазастые, — с отцовской стороны, понятное дело, каштаново-рыжие, а с материнской — бледнолицые шатены. Протягивали руки, всё так же молча, пугая этим молчанием, и только, пожалуй, один, годовалый Додик, плакал, как плачут все дети его возраста, — заходясь в прерывающемся крике, от которого Верочка вскакивала посреди ночи, в мокрой насквозь сорочке, потом долго лежала в темноте, объятая невыразимым.

\* \* \*

— Ну что, прошвырнёмся? — О, как обожала Верочка это отцовское «прошвырнёмся» и следующее за ним бездумное блуждание по улицам, которые тотчас менялись, стоило им выйти за пределы двора.

Обыденная жизнь оставалась позади — вместе с тусклыми зеркалами, в которых отражалась тёмная мебель — сервант, комод, стулья с выгнутыми ножками, — переступив порог, Вера не оборачивалась, хотя знала, — там, за подвёрнутой занавеской, стоит Соня, грустная, со страдальческой складкой межбровья, — в ответ на приглашение, которое было скорее формальным (и Соня понимала это), она вымученно улыбалась и перечисляла список неотложных дел, и у них, беспечно уходящих в свой праздник, не было оснований не верить этому, — кроме всего прочего, праздник бы не состоялся, — повернув за угол, отец выдыхал (или это казалось только ей?) лёгкое облачко (вины, грусти, сожаления?) — худое подвижное лицо его разглаживалось, он явно молодедел и, шутя, подхватывал Верочку под локоток: вы позволите, ба-

рышня? Прохожие провожали их взглядом — улыбаясь, покачивали головами, — отец и дочь — медно-рыжие, нескладные, являли миру столь беспечное, полное лёгкого обаяния зрелище, — по всему было ясно, как дружны они, как похожи.

Прогуливаясь по воскресному, праздничному Крещатику, они, не сговариваясь, сворачивали с улицы Свердлова на площадь Калинина, где находился магазин с самой вкусной газировкой в мире (в этом Верочка была твёрдо убеждена). Купив жареных пирожков с мясом или горохом — «с какой-то дрянью» (непрененно сказала бы Соня), запивали их газировкой с двойным сиропом, переглядываясь, точно подростки, сбжавшие с уроков. Затаив дыхание, Верочка смотрела, как из прозрачных конусообразных колбочек с краниками будто по мановению волшебной палочки течёт щекотно ударяющее шипучими пузырьками *сирпо*.

\* \* \*

Закусив нитку, Соня стрекотала старой швейной машинкой. Машинка досталась в наследство от бабушки Алты — острой, пронзительной даже женщины с несгибаемым бескомпромиссным характером и золотыми руками, благодаря которым семья никогда не бедствовала.

Она, Соня, даже и не смогла бы сформулировать, отчего всё складывалось не так, отчего будто пеленой подёрнуто всё вокруг. Проводила щёткой по тускнеющим, но всё ещё прекрасным волосам, — оттуда, из глубины, смотрела на неё молчаливая девочка с лилейной матовой кожей — стройная, сосредоточенная и всегда немного печальная. Она мечтала, возможно, о чём-то несбыточном, и это несбыточное промелькнуло вслед за подводами с немецким «барахлом». И там, в купе поезда, там тоже было оно — там была ещё та самая задумчивая девочка, с нарядным щекастым пупсом на коленях, — вся в новом, с иголки, в неслыханном кружевном белье, с изящно подобранными, как будто облитыми молочной глазурью, стройными ногами.

Как не хочется стареть, — казалось, фраза эта сорвалась с материнских губ в каком-то почти беспамятстве, — сидящая напротив (скло-

нённая над тетрадкой — льющийся из окон свет, распахнутые ставни, разметавшиеся по плечам непокорные волосы), — как не хочется стареть, — взгляд Сони был обращён в никуда, — он был глубоким и одновременно пустым, а губы двигались, с трудом выталкивая слова, — между матерью и дочерью не наблюдалось той степени близости, при которой они могли бы обмениваться подобными сентенциями, и Верочка смутилась поначалу, но уже через мгновение волна жалости захлестнула её любвеобильное сердце, — умеющая справляться с лишаями и бородавками, в этом она была бессильна, — как не хочется стареть, — повторила мать, вглядываясь в нечто невидимое за окном, — это было календарное начало весны, это и была весна, столь непохожая на ту, берлинскую, со взрывами, воем бомбёжек, страшным заревом, но... ощущением начала новой, захватывающей истории, неизбежного и близкого праздника.

Илья, такой стройный, ладный в своей гимнастёрке, затянутой ремнём, в начищенных сапогах, с огненной шевелюрой, которую зачёсывал пятернёй, обхватывал тонкие Сонины плечи, подводил к окну — там бушевало пламя и белозубые, будто бы припорошенные тёмной пылью люди, взявшись за руки, исполняли странный танец, похожий на сиртаки.

Как для кого, а недолгая эта жизнь в пыльном, голодном, разрушенном городе на исходе войны отсюда казалась, пожалуй, самой счастливой. Зарево пожаров, взрывы, зияющие провалы в зданиях, и там, в этих чёрных провалах — внезапные и трогательные фрагменты вчерашнего, ещё не обожжённого войной, тленом и распадом человеческого присутствия. Покрытый слоем пыли инструмент, старинные часы с безвольно опущенной стрелкой, устойчивая добротная мебель (скоро двинется она в путь, одному богу известно, каким образом впишется в тёмные комнаты, обретая новую жизнь под новыми крышами и небесами).

Если бы писалась летопись всех происходящих в жизни событий, — нет, иначе, — если бы события жизни укладывались (стройным рядом знаков) в некую общую летопись, то Германия сорок пятого, безусловно,

была самым ярким событием в истории Сониной жизни. Санитарные поезда, безымянные полустанки, крики, стоны, запах карболки и йодоформа, километры горя, сотни и тысячи километров боли. Закушенные губы, невидящие глаза, мальчишеские затылки, подёрнутые плёнкой зрачки. Чаще всего ей приходилось быть свидетелем самого сокроенного, что есть в человеке. Соня принадлежала к числу деятельных и тем самым счастливых натур, которые, решительно отставляя в сторону страх, ужас, брезгливость, буднично подходили к исполнению сложных и даже (на первый взгляд) невыполнимых задач. Натянутая будто струна, бледная, большеглазая, она, подавляя желудочный спазм (но только поначалу), выверенными движениями срезала остатки одежды, гнойные бинты, — тонкие её руки легко разворачивали, переворачивали, укладывали, — сестричка, да у тебя лёгкая рука! — её появление сопровождал общий вздох облегчения, даже, казалось, воздух в вагоне становился легче.

— Выходи за меня, сестричка, — крепко любить тебя буду. — О, сколько раз слова эти рождались (под её руками), выдыхались вместе со стоном, точно последнее «прости», или «люблю», или «прощай», но ни одно из них не задевало её, разве что по касательной, будто всё её женское, юное, жаркое застыло, перестало быть и отзываться, впрочем, вероятно от стресса и недосыпания, прекратились месячные, не только у неё, у других сестричек и санитарок тоже. Но не только это. Вид человеческого страдания, развороченной плоти, сгущение этого плотского, обнажённого, беззащитного, пробуждал совсем иные чувства.

— А сестричка-то наша, евреечка, навроде иконы, братцы, — глядит, и так делается боязно, и легко, и...

Обычно произносимое со сладким причмокиванием «евреечка» здесь звучало иначе — скорее, уменьшительно-благоевейно, и Соня, застыв на пороге, в одно мгновение успела испытать гамму разнообразных чувств — голос принадлежал молодому лейтенанту Коковкину Васе, который ещё ночью, прижавшись к прохладной Сониной ладони пылающей щекой, тихонько стонал. О том, что он плачет, догадалась она, ощутив горячее жжение на руке. Обычно резкая, она даже не дёр-

нулась, не повела бровью, глаза её оставались участливо-серьёзными, немного отстранёнными, руки привычно делали своё.

Круглолицая задорная Тося, санитарочка, протягивая кружку с кипятком, плюхнулась рядом, — лицо её, составленное целиком из каких-то неправильностей — глаза маленькие, щёки круглые, нос картошечкой, всё же было милым, детским и смешливым, — с Соней она немного робела вначале, — вот строгая вы, Софья Львовна, только не сердитесь, вас даже раненые знают, как прозвали? Только поклянитесь, что не сдадите! Жидовской иконой — ну, виданное ли дело? Такое придумать...

Соня улыбнулась уголками губ, — она к тому времени находилась почти что в фазе бессознательного — лёгкого полусна, и потому Тосино сообщение не получило должного резонанса, — Тося, ты иди, я вздремну хоть полчаса, — клики, если что...

«Если что» случилось через те самые полчаса. Не стало лейтенанта Коковкина, чем-то неувовимо похожего на Тосю, — то ли детским простодушным лицом, то ли россыпью веснушек на вздёрнутом носу.

Однако странное несочетаемое сочетание слов закрепилось за ней, — и вправду, нечто иконописное было в её тонком, тихом лице — разлёт бровей, высокий чистый лоб, но не это, не это, пожалуй, некое умиротворяющее чувство, которое возникало с её появлением.

Именно это чувство коснулось и молодого, блестящего и какого-то моментально своего, во всех возможных смыслах, — бесстрашного военкора, рыжего, тощего, смешливого, и «военно-полевой» роман, как это принято называть, собственно, и романом не успел стать, не до букетов и конфет было им, матёрым, издавшим и пережившим войну во всех её видах. Не было времени на роман, и потому отношения их стали законными буквально при первой возможности, — потом, по прошествии лет, Соня не могла вспомнить многого, в том числе и нежной влюблённости, и первой неловкости, — главным было то самое первое и верное — при виде ассиметричного смешливого лица — свой. Свой, своего роду-племени, будто мальчик из соседнего двора (по сути, так оно и было), — единственное, что могло связывать её, Соню, девочку

из приличной семьи, с прошлой довоенной жизнью. Потом, много позже, этот период будет вспоминаться какими-то всполохами и островами редкой безмятежности между ними.

Война смещает акценты, расставляет приоритеты, и даже самое страшное воспоминание о родителях и сёстрах в тылу, в родном доме, — в Сонином сознании эта беда как будто отодвинулась, и несколько полная, страдающая одышкой мать, и отец, высокий, сутулый, с докторским своим саквояжиком, известный в городе детский врач, и сёстры — шумная, весёлая Любочка и меланхоличная, будто заторможенная Лия — так и оставались полными жизни и мельчайших подробностей её, — как ни силилась она, но сознание выталкивало — не само известие о свершившемся, а именно итог — полное и безоговорочное отсутствие их в её, Сониной, жизни. Упрямая, тихая, любимица отца, она всегда выделялась (на фоне сестёр) не миловидностью, а законченной, отточенной, выверенной красотой, будто в жилах её текла кровь иудейских царей, и часто отец, любуясь подрастающими девочками, останавливал свой пытливый взгляд на ней, средней.

\* \* \*

Верочка родилась в Берлине, и, несмотря на кровь и разруху, появление её сопровождало чувство необыкновенного триумфа и жажды. Так и бурлила кровь в ожидании новых, мирных и счастливых времён, и всё последующее за беременностью, родами (уже в Берлине), взятием рейхстага, пылью, прахом, кровью, разрушением — казалось заслуженным праздником.

— Взгляни, Соня. — Лицо Ильи озарено лукавой улыбкой. — Вот, примерь, это и ещё вот это. — В руках его переливался ворох немислимых платьев, жакетов, блуз — всё было сверкающим, новым и так замечательно идущим к её лицу, фигуре, — едва заметное глазу прибавление в весе ничуть её не портило, — прикладывая то одно, то другое к груди, она любовалась отражением в зеркале, а главное, в глазах Ильи. Не то чтобы она не понимала. Возможно, так же, как сознание выталкивает страшное, непереносимое, подобным образом оно поступает и с очевидным.

— Пстой, Илюша, погоди, куда мне столько, — она смеялась, запрокинув каштановую голову, причёсанную по последней моде — с небольшим валиком волос над гладким, без единой морщинки лбом, — на фоне чужого дома с добротной мебелью, картинами и сервизом, Соня будто сбросила всю свою внешнюю строгость, холодность даже... На удивление легко обживалась она в буржуазной этой обстановке, и всё это шло ей, шло — кресла с подлокотниками, тяжёлая скатерть, подсвечник, высокое зеркало в прихожей.

— Пстой, Илюша, но ведь это...

Одна и та же мысль кольнула обоих, но осталась невысказанной. Там, за тысячи километров от этого дома, тоже была мебель, хоть и не такая добротная, утварь, на плечиках висели новые и ношенные платья, и чьи-то руки перебирали их, безошибочно угадывая размер.

За мародёрство судили, ходили слухи о страшных преступлениях, глумлениях даже, но какое всё это имело отношение к ним? Чужой временный дом, чужие вещи. Не покидало ощущение чужих глаз. Иногда чудились звуки. За стеной играли гаммы, немислимое дело, — кому придёт в голову разучивать гаммы во время пожара или наводнения! Невидимая детская рука, спотыкаясь, повторяла одну и ту же музыкальную фразу, — в ней Соня с радостью узнала «Лебедя» Сен-Санса, которого повторяла и повторяла, безбожно истязая инструмент, перед выпускными экзаменами. Порой, впрочем, та же рука, несмело охватывая ряд клавиш, брала несколько глухих аккордов в тональности си-бемоль минор, и, после небольшой паузы, гнетущая тишина проливалась чистой шопеновской меланхолией, — нет, играл не ребёнок, — скорее, пожилой человек, — медленно, будто восстанавливая по памяти отголоски каких-то давних времён.

Соседи — прихрамывающий мужчина с тросточкой, с внимательным взглядом светлых глаз (наблюдая, как он переходит дорогу, ощупывая тросточкой развороченные булыжники, аккуратно перенося, по всей



видимости, плохую ногу над опасным участком, Соня замерла, тотчас увидев отца, всегда прихрамывающего и оттого не расстающегося с тяжёлой тростью), будто присыпанная рассыпной сладкой пудрой старушка, по всей видимости его родственница, возможно сестра, уж слишком они были похожи, — отчуждённо-вежливые, при встрече (а она была неизбежна) отводили одинаковые серо-голубые глаза, в которых, боже правый, не было ненависти — пожалуй, только безысходность.

\* \* \*

Возвращение не было триумфальным. В бывшей квартире известного на весь город детского врача Льва Борисовича давно обосновались незнакомые люди, и появление Сони не вызвало у них особой радости. Через большую комнату (гостиную) натянуты были бельевые верёвки, на которых сохло исподнее, пахло чужим, чуждым, — то ли кислым борщом, тестом, то ли просто чужой стиркой и бытом. Худая, измождённая, но не старая ещё женщина смерила Соню недобрый взглядом, отметив и чулки на стройных ногах, и жакет, и нарядную девочку в лентах.

— И чего только ищут — мы уж не первый год живём, а хозяев нет прежних. — Вытирая руки, она, обернувшись, крикнула кому-то в дальней комнате: — Да тут жильцов бывших спрашивают, а я и говорю, нет их давно, вы в паспортный стол идите или в милицию, гражданка, там и разбирайтесь.

Плоское желтоватое лицо показалось Соне довольно знакомым. Уже выйдя за порог собственного дома, она вспомнила — новая жиличка как две капли воды похожа была на дворничиху Катю из соседнего дома. Там жила бойкая, смуглая, словно цыганка, Рита Кармен, её близкая школьная подруга. До войны Катя с детьми ютилась в крохотной пристройке, примыкающей к чёрному ходу с тыльной стороны дома.

Странное дело, ни разу с момента ужасного известия Соня не заплакала. Горе её было невыразимым каким-то, глубоко спрятанным, будто ледяная глыба на дне колодца. Возможно, на выражение скорби, гнева, недоумения просто не было времени. И всё же, отчего папа не уехал,

ведь ему предлагали и даже настаивали, — неужели он не успел или... не захотел?

Конечно же, Сонино решение об отъезде на фронт было ударом для отца — мягкого, но отнюдь не слабовольного человека, всегда пребывающего в ровном расположении духа, — за это и любили его маленькие пациенты и их родители — за сеть добрых морщинок, за почти незаметную хромоту, за аккуратную тросточку, очерчивающую круг в воздухе, — за неизменное «кушать, спать, кушать» — эту выведенную однажды формулу хорошего настроения и самочувствия.

— А кто это у нас тут больной? — тщательно вытирая всегда безукоризненно чистые пальцы — строгие, суховатые, с подпиленными ногтями (даже с закрытыми глазами Соня видела его руки, ладони, запястья — небольшие, довольно изящные, крепкие — и ощущала их ровное родное тепло), он присаживался на краешек постели, и маленькая Соня крепко зажмурилась от удовольствия, потому что Любочка и Лия спали и всё внимание доставалось ей одной.

\* \* \*

Устроились временно в крохотной восьмиметровой комнатухе у дальних родичей — те как раз не так давно вернулись из эвакуации. Вещи и мебель хранились на складе, потому как в квартире Ильи тоже жили люди, да и квартира эта только называлась гордо — квартира, а так — те же восемь метров.

Промаявшись с месяц на сундуке, они получили всё же ордер. (Увы, комната эта тоже принадлежала кому-то, но так уж устроен этот мир, всё однажды было чьим-то.) Некоторые военные заслуги были всё же учтены в горисполкоме.

\* \* \*

Как-то приснилась Верочке то ли баба Ася, то ли Ева, то ли прабабушка Алта — она, не встретившись в жизни ни с одной из них, иногда отчётливо видела их, но чаще молчаливыми, будто бы проступающими из тёмной стены.

В последний раз — видимо, это всё же была баба Ева, — материализовавшись из этой самой стены, произнесла внятно: «Мы выбранные богом и никогда не умрём».

Отчего-то послание это наполнило Верочку тайной гордостью, она не торопилась делиться открытием ни с матерью, ни с отцом — конечно же, они бы выставили её на посмешище, не сочтя откровение достойным внимания.

Верочкина мечтательность, несобранность, абсолютная иррациональность были притчей во языцех, и если отец, по обыкновению своему, подтрунивая и посмеиваясь, потакал ей и даже всячески покрывал (да, у дочери и отца имелись общие секреты), то Соня, оставаясь в одиночестве, наполнялась тоскливым недоумением — дочь была полной её противоположностью, — всё, в чём Соня видела стройность и тщательно продуманный порядок, с появлением Веры обретало пугающую очевидность хаоса. Всё шло не по плану, предметы разбегались, терялись, часы останавливались, ни в чём не было постоянства. Стоя у окна, Соня наблюдала за идущей медленно и будто пребывающей в мире грёз девочкой, — вздымая облака пыли, переступают длинные, бестолковые какие-то ноги в сползающих чулках, мелькает за деревьями всклокоченная шевелюра, — увы, её дочь не отличается аккуратностью, для будущей девушки это совсем нехорошо.

\* \* \*

— Пап, а что значит — выбранные богом?

Илья, с виду легкомысленный, умеющий извлекать удовольствие из обыденного, остановившись резко, внимательно посмотрел на Верочку: ты где это взяла? — дело в том, что выражение это он помнил из каких-то уже несуществующих времён, довоенных, то ли от бабушки, то ли от матери, которая с настойчивостью повторяла его, приводя в некоторое смущение окружающих, — тема божественного изъясления была не слишком популярной и казалась неким анахронизмом, не имевшим под собой основания. Где бог, а где комната в коммуналке со стоящей у окна швейной машинкой, над которой, склонясь, сидела близорукая Ася...

Перекусывая нитку, она повторяла: «Наш род выбранный богом, а бог знает, кого охранять». И видит бог — если и дано было некое обещание, если и было оно скреплено кровью, то всё и правда складывалось относительно неплохо. Жили скудно, но достойно, не впроголодь, пережили страшные времена, вырастили, чтоб не сглазить, детей...

О чём думала Ася по дороге к тому самому месту в сентябре сорок первого — неужели и тогда не забывала она о невидимой связи со Всевышним. Если и помнила, то вряд ли помнил Он, видимо отвлёкшись на более срочные дела...

— Откуда ты взяла это, Верунчик?

Загадкой было то, что Верочка никогда и нигде не могла слышать этих слов и интонаций — в их семье довольно редко, можно сказать никогда, не было упоминаний о божественном присутствии и уж тем более связи с ним.

К способностям Верочки Илья относился с некоторой насмешкой, полагая их некой блажью и чем-то проходящим, несерьёзным.

Растрёпанная Верочкина голова (ну не приживался на ней порядок, все шпильки и зажимки вылетали, так и не успев закрепиться в густых проволочных волосах) была какой-то несерьёзной, не исходило от неё послушания или прилежания, и если для Ильи это было только поводом для дополнительного обожания, то со школьными учителями дело обстояло иначе. От Верочки пахло бунтом. Взять хотя бы этот пылливый, исподлобья взгляд. Закушенная нижняя губа, тонкие, всегда исцарапанные запястья, схваченные не очень чистыми манжетами. В глазах Ирмы Бруновны, классной, Верочка была источником беспокойства.

Высокая, прямая, с туго затянутой талией, с аккуратно заколотым платиновым калачом над высоким чистым лбом, с несколько высоким выражением блёкло-голубых глаз, Ирма Бруновна с некоторой брезгливостью смотрела на рассеянную, абсолютно несобранную девочку, от которой и пахло как-то не по девичьи — брошенными уличными псами, воробьями и чем-то ещё, совершенно неопределимым, но внушающим тревогу. Школа представлялась ей (Ирме) строго расчер-

ченным полем, по которому двигались (будто шахматные фигуры) будущие обитатели Вселенной, пока что ещё неоформившийся материал, из которого ей, Ирме, надлежит, точно скульптору, извлечь всё самое ценное и полезное для этого мира. Даже заводилы и бунтари ходили по струнке под холодноватым оценивающим взглядом. Но Верочка была совсем не бунтарь. Училась средне, спустя рукава, была невнимательна и незлобива. Но... как бы это сказать — всё формальное отскакивало от неё, и исполосованный красным дневник, похоже, не внушал ей тревоги или страха. Она не боялась. Не боялась даже мыши, прошмыгнувшей по классу во время контрольной по алгебре. Весь класс визжал, подобрав ноги, а круглые Верочкины глаза с любопытством естествоиспытателя следили за несчастной мышью, выпущенной, конечно же, не просто так за десять минут до конца контрольной.

\* \* \*

Не раз проходила Соня мимо кирпичного трёхэтажного здания, в торце которого всё ещё красовалась вывеска с полустёртой надписью «Аптека Габбе».

Конечно же, она прекрасно помнила хозяина аптеки, и его дочь Лизу, библиотекаршу, ну да, ту самую, хромую, о которой всякое болтали — что, мол, мужа увела у живой и молодой жены, ещё и с ребёнком, это же такой скандал, такое безобразие... Но дальше слухи уходили в песок — слишком много воды утекло, другие события, гораздо более масштабные, заслонили тривиальную историю адюльтера. Жёны, мужья, любовники, их дети, родители, золовки и зятя — всех их постигла участь... Здесь Соня ускоряла шаг, как будто пыталась убежать от чего-то.

С возвращением в город всё, отдалённое расстоянием, насыщенностью событиями, полнотой, приблизилось с обескураживающей ясностью, обрело объём и глубину. Вот он, дом, вот вывеска, вот трамвайные пути, вдоль которых шли они. Папа, Лия, Любочка, Ася.

Помнишь, Сонечка, счастливый билетик? Воскресный день, ярмарочное веселье, лошадок, карусель, остроглазую, укутанную в пёстрый платок цыганку? Её долгий взгляд, полоснувший невысказанным?

— Счастливой будешь, богатой будешь, красавица, — удаляясь, бормотала она. Отец, посмеиваясь, — ни в какие предсказания он, разумеется, не верил, — протянул всем троим — Соне, Любочке и Лие — по брикету вкуснейшего сливочного пломбира.

И всё же — вдруг дочь аптекаря жива? По-прежнему выдаёт книги в районной библиотеке, сдерживая улыбку, заполняет формуляр? Окуная перо в чернильницу, выводит ряд фиолетовых букв со старательным нажимом? Фарфоровой прелести лицо, его немного портили крупные, чуть выступающие зубы...

Вывеска висит, похоже, кто-то даже подкрасил буквы, но внутри (видно сквозь стекло) молодая девочка-провизор отпускает порошки. Куда-то подевались словоохотливые старички «в пикейных жилетах и мягких шляпах». Хотя, впрочем, уже в первые послевоенные месяцы эвакуированные стали возвращаться. Вернулась Дора с пятилетней дочерью из Ташкента, вернулась семья (почти в полном составе, если не считать пропавшего без вести сына) Слуцких. Случаются же чудеса, в самом деле! Вернуться в собственный дом, да, пусть заброшенный, пусть полупустой, но найти в том же самом месте, допустим, настенные часы с кукушкой... Ах, Соня, Соня, сознайся же, к чему тебе глупая кукушка... Неужели только для того, чтобы вспомнить тихий, ничем не примечательный вечер и отца, который, приоткрыв резные дверцы, подтягивает гирьку в часах?

\* \* \*

Неподалёку от Житнего бродил старик, совсем старик, довольно-таки неопрятный, заброшенный с виду, это был печально известный Миша Отдай Калошу — почему, собственно, калошу, было понятно с первого взгляда: к Мишиным ступням прикручены были старые грязные калоши — видно было, что надеты они на босу ногу, а прикручены бечёвками потому, что слишком велики. Не раз и не два сердобольные прохожие пытались осчастливить беднягу более приличной обувью, но, видимо, это совершенно не совпадало с его планами. Он гримасничал, растягивая исколотый грубой щетиной беззубый рот. Совсем безобидный, если

опасным не считать тот факт, что от Миши довольно сильно пахло. На рынке его подкармливали, впрочем день на день не приходился. Иногда били, довольно жестоко, хотя, чтобы заполучить потешную пантомиму с прижатыми к голове ладонями — «Миша боится», — его совсем не нужно было бить. Достаточно было шугануть хорошенько, а после — насладиться зрелищем семенящего мелкими шажками человечка в калошах и драном кашне, навораченном на выступающий, покрытый седой щетиной кадык. Внешне Миша был «типичный жид», вечный, карикатурный, с крючковатым носом и глазами подстреленной лани, — его весело было шугать, чем всюду пользовалось местное хулиганье, впрочем, не очень зверствуя, до первой крови.

Увидев семенящего по наледи человека в калошах на босу ногу, отец, порывшись в глубоком кармане пальто, достал несколько медяков и, вложив их в Верочкину ладонь, слегка подтолкнул её, — чуть оробев, девочка приблизилась к приплясывающему Мише.

Вместо того чтобы протянуть руку, тот резко отшатнулся и, обхватив голову, застонал: голова болит, голова, Миша боится. Под носом его застыла сукровица, глаза обильно слезились.

— Пап, скажи, у него кто-нибудь есть? У этого человека? Где он живёт? Видишь, пап, кровь, его били...

Внятного ответа на эти вопросы, конечно же, не было, — впервые в жизни отец смутился и не нашёлся что ответить, — видишь ли, Верунчик, таких людей немало...

Вначале Миша, позволивший (всем на удивление) Верочке взять себя за руку, всё ещё пытался сбежать. Однако неожиданно смирился и, ведомый маленькой решительной рукой, двинулся вдоль трамвайной линии. Странно, должно быть, выглядели эти трое — высокий мужчина в верблюжем пальто, девочка-подросток, старик в калошах на босу ногу, покорно идущий вслед за девочкой. Уже свернув в переулочек, ведущий к дому, Миша заметно занервничал. Он вновь обхватил голову, покрытую свалывшимися пегими волосами, вскрикивая бессвязно: Миша не помнит, не помнит...

Воркующая у кухонного стола Раиса пискнула (точно мышь) и стремительно исчезла за дверью, заявив, что выйдет только в одном случае, да и то после хорошей дезинфекции помещения.

— Ну допустим, — примирительно сказал вышедший на шум Марк Семёныч, — что ты предлагаешь, цигалэ<sup>1</sup>? Поселить его на моей голове? Нет? Тогда на чьей? Твоей? А где он будет спать, этот, извиняюсь, нэбэх<sup>2</sup>? На полу? В твоей постели? Сонечка, голубушка, подите сюда, вы только взгляните на эту сестру милосердия и вашего драгоценного супруга, они зарежут нас без ножа. Фира Наумовна, взгляните на этого, я извиняюсь, фэртл оф<sup>3</sup>. Это же чистый каприз. Головная боль, не более того! Илья Ефимыч, вы же умный человек, как вы могли позволить девочке привести это в дом? Хорошенькая мицва<sup>4</sup>, я вам доложу...

Соня (вопреки предположению Марка Семёныча) ничуть не испугалась. Ей ли было бояться грязи, вросших в кожу ногтей, дурного запаха. Что-то кольнуло её при виде стоящего на пороге человека с прижатыми к голове руками. Решительно водрузив на плиту большую кастрюлю, она скомандовала:

— Марк Семёныч, давайте уже без паники, что за клоц кашэс<sup>5</sup>. Лучше помогите, с остальным разберёмся. Илюша, достань с антресолей лохань и... уведи Верочку в комнату.

Лохань, в которой когда-то купали Верочку, сгодилась и для взрослого мужчины, сидящего в ней с крепко прижатыми к впалой груди коленями. По телу его пробежала крупная дрожь, по лицу стекали струи горячей воды.

---

<sup>1</sup> Козочка (*идиш*).

<sup>2</sup> Бедняга (*идиш*).

<sup>3</sup> Доходяга; букв. — четвертушка курицы (*идиш*).

<sup>4</sup> Доброе дело, совершаемое накануне шабата (*идиш*).

<sup>5</sup> Дурацкие вопросы (*идиш*).



Прохаживаясь мочалкой по выступающим позвонкам и опущенным покорно плечам, Соня терялась в мучительной попытке соединить несоединимое, уловить и зафиксировать то самое, кольнувшее её в первый момент... На поверхность выныривало нечто далёкое, полузабытое — прихрамывающее звучание инструмента, разбегающиеся под сильными бледными пальцами клавиши. Прозрачайшая трель взлетала и оседала, будто золотая пыльца, и всё вокруг преисполнялось хрупкости и тишайшего какого-то звона. Позже Сонечка узнает, что у золотой пыльцы существует название. Си-бемоль минор.

В утробе громоздкого чудовища гудели струны, перекликаясь со стоящей за дверцами серванта фарфоровой посудой.

— А вот это, девочка, — пиццикато — если коснуться струн, инструмент может звучать как скрипка или виолончель, он может быть клавиесином, органом и даже целым оркестром.

— Какие воспитанные барышни, — смеётся человек, поглядывая на застывших у стола девочек, — жгуче курчавый, горбоносый, склонившись над рядом клавиш, он извлекает звуки различной тональности и глубины, и вдруг лицо его из напряжённо-сосредоточенного становится почти ликующим.

Вот она, та самая западающая клавиша, сиреневая си-бемоль...

\* \* \*

Одетый в старые кальсоны, пальто (то самое, верблюжье) и брюки отца, обхватив костлявыми сильными пальцами стакан с горячим чаем, Миша застыл, как будто внезапное тепло обездвижило его, лишив необходимости постоянно приплясывать, гримасничать и нервно потирать ладони. Лицо его, тщательно промытое от нескольких слоёв присохшей грязи и крови, оказалось далеко не таким уж старым, более того, оно разгладилось и посветлело. Взглянув на притихшую Верочку — как будто увидев её впервые, он слабо улыбнулся: какие хорошенькие барышни...

Входная дверь хлопнула, в дом, тяжело ступая, вошёл Петро Повалюк. Он шумно дышал, разматывая кашне (не иначе как добрые люди в

уши донесли). И правда — не соврали. Мыльная пена на полу, сваленный в углу ворох тряпья.

— Это что за смиття<sup>1</sup>, я спрашиваю, кто позволил? Это же сумасшедший, туберкулёзный больной! Вы хотите заразу в доме? Илья Ефимыч, ну, я от вас не ожидал, ей-богу, — вы же военный человек, зачем водить в дом всякую гидоту<sup>2</sup>... — заверещал он на одной ноте, заведя сидящего за столом нежданного гостя. И тут случилось то, чего никто не ожидал, — блаженный и светящийся чистотой Миша поднял на Пovalюка глаза (абсолютно осмысленные).

— Это тебя надо в милицию, сволочь. Я узнал тебя. Узнал.

Тело его, поджарое, костлявое, взметнулось навстречу внушительной фигуре Пovalюка, но, ловко скрученное одним мощным захватом, жалко обвисло.

— От же ж курва, — почти добродушно усмехнулся Пovalюк, отряхивая добротное пальто, отороченное бобровым воротником.

— Голова, у Миши голова болит, — Мишины глаза блуждали, пальцы с обломанными синими ногтями царапали клеёнку.

\* \* \*

Несмотря на рыдания Раисы, которая, сморкаясь, уверяла, что это какая-то ужасная ошибка и нельзя верить первому встречному с улицы, — она даже вынесла медаль «За отвагу», утопающую в бархатной алой подушечке, и пригрозила, что сообщит в органы, к которым Петро имеет, слава богу, некоторое отношение, — события разворачивались стремительно, и отнюдь не в пользу Пovalюка.

Миша Отдай Калoшу оказался не единственным свидетелем. У него не было документов, но нашлись люди, которые хорошо помнили его,

---

<sup>1</sup> Мусор (укр.).

<sup>2</sup> Гидота — гадость, мерзость (укр.).

человека без прописки и карточек, и эти самые люди признали в нём настройщика музыкальных инструментов, который скрывался в подвале жёлтого кирпичного дома вместе с двумя детьми, мальчиком и девочкой.

Память же самого Миши, столь избирательная, столь зыбкая, сгодилась только лишь на то, чтобы соединить несколько западающих клавиш, восстановив тем самым законы гармонии, которая существует вопреки всему.

## АПТЕКА ГАББЕ

Предание гласит, что очнулась Лиза от обморока благодаря нехитрому приёму, которому научила Розу старая Фейга (о нём не очень удобно распространяться в приличном обществе). Лиза тут же открыла изумлённые глаза, присела, опираясь на заботливо подложенную подушечку-думочку, и, если верить легенде, попросила небольшой кусочек штруделя.

Вообще же история довольно запутанная.

Никто толком не понимал, какого лешего Даня ушёл от Хаси. Хася была довольно интересная женщина. И на личико, и на формы. Совсем не то Лиза. Не то чтобы карлица, но, знаете, с изъяном некоторым. Из-за изъяна этого ходила она криво, припадая на одну ногу, и одно плечо имела выше другого. Некоторые крутили пальцем у виска и говорили — горбатая.

Но нет, это было не то. Не горбатая, Боже упаси, а всего только с небольшим наростом на спине. Последствие перенесённой в детстве болезни костей. К тому же очень близорукая. Достаточно было взглянуть, как вдевает она нитку в иголку! Ножки и ручки она имела маленькие, деликатные, нежные. Вот что было хорошо у Лизы — так это улыбка, об-

нажающая несколько крупноватые зубы; смеялась Лиза заливисто, заразительно, с такими, знаете, ямочками на щеках (потом ямочки стали бороздками), и все тут же понимали, отчего Даня ушёл от Хаси — степенной, рассудительной, с большой и выразительной грудью. К маленькой Лизе, живущей в боковой комнатке-пенале на Притисско-Никольской. Всё там было кукольное, в этой комнатке. Ажурные салфеточки, подушка-думочка, окошко...

Постойте, да было ли там окошко, в этой самой комнатке? Уже и не вспомнить. И как только туда помещался большой, несуразный и отчаянно влюблённый Даня? Не иначе как складывался вчетверо!

Ну, поначалу были, конечно, тайные свидания. То в кинотеатре на Контрактной, то под раскидистой акацией в случайном дворе. Даня совсем не умел врать. И бормотал какую-то чепуху: мол, инструмент забыл в мастерской (Даня был рукастый и мастеровитый), и мчался на другой конец Подола, чтобы только коснуться краешка Лизиного платья, пахнущего то ли сиренью, то ли ландышем. Увидеть её улыбку, смеющиеся глаза. Не больше! Даню словно приворожили.

Хасе, конечно, в уши донесли. Держи, мол, парня, он опять к хромоножке убёг. А как тут удержишь? Грудью? Комодом? Стопками аккуратно разложенного белья? Бульоном из молодого петушка? Хася плакала от абсолютного бессилия.

Даня, знаете ли, слыл немножко... как бы это сказать... глуповатым, недалёким, простодушным, точно пятилетний ребёнок. И врать, как уже было сказано, не умел. Несуразный, виноватый, стоял на пороге, и Хася, вытирая заплаканные глаза, ставила тарелку, садилась напротив, смотрела, как движется на Даниной шее кадык, как крепкие белые зубы впиваются в мозговую кость, как сверкают морковные звёздочки, и сердце её утешалось этой идиллической картинкой.

Но ненадолго. Все устали от неразрешимости ситуации; хотя Лиза ни на чём не настаивала, но однажды Даня так и остался в её кукольной спальне. Потому что готов был вечно любоваться, как нежные пальчики Лизы обхватывают кукольную чашечку из фарфорового сервиза на двенадцать персон.

Если всё-таки было окно в этой комнате, то выходило оно во двор — там полоскались на ветру накрахмаленные до небесного хруста простыни, пододеяльники и наволочки, там старая вечнозелёная акация росла и воздух был острым, насыщенным влагой и электрическими разрядами, как бывает поздней весной.

Отчего не пахло счастьем там, у Хаси? Один Бог знает. Ведь и там крахмалили и подсинивали бельё, и там во дворе росли огромные деревья — акации и каштаны. Может, всё дело было в сервисе на двенадцать персон и лёгком перезвоне чашечек (когда проезжал трамвай)? Или в пряди золотистой, ниспадающей на Лизины смеющиеся глаза? В расходящихся от уголков их тончайших паутинках? Или в преломлении света, в котором обыденное становится особенным, неповторимым? Отчего мы счастливы там и несчастливы здесь?..

Рослый Даня легко, без особых потерь складывался вчетверо, и что именно происходило за закрытой дверцей пенала, останется великой тайной.

Но только однажды Роза, живущая в большой комнате (направо по коридору), приведёт Лизу в чувство нехитрым манёвром, о котором она помнила смутно: изо всех сил дёрнув за то, что есть у каждой женщины внизу живота. Когда степенная и несколько располневшая Хася вернёт (ненадолго, впрочем) права на счастливого Даню, предъявив тому протекающую не без осложнений беременность, а после, как итог, — слабую, зачатую без особой страсти девочку.

Бедный Даня не понимал, откуда (а главное, зачем) явилось на свет божий это создание, одним появлением своим нанеся сокрушительный удар по его безоблачному счастью, но любой мужчина беззащитен перед женскими уловками, и никакому мужчине не разъять множественные петли и узлы женского лукавства.

Девочку называли Соней. И это был тот самый беспроегрышный козырь, который думала предъявить Хася маленькой Лизе, её кукольному бездетному (и оттого ненастоящему) миру. Пелёнки, спринцовка, незаросший родничок, звук детской отрыжки, столь сладостный материнско-

му сердцу, — всё это было великим завоеванием, женской победой, в тени которой, точно забытые игрушки, позвякивали фарфоровые чашки и облитые глазурью синие блюдца.

— Терпи, Лиза, куда он не денется, твой Даня, — рассуждала Роза, замешивая тесто для пирожков с вишнями. Да, в жизни, помимо звона фарфоровой посуды, должно быть место штруделю, начинённому, как учила старая Башева, маком — влажным, рассыпчатым, густо замешанным, черносливом, орехами, растёртыми до пастообразного состояния в тяжёлой медной ступке (она, как и сам рецепт, досталась от той же Башевы). Пьянящий аромат ванили, жжёного сахара, корицы, олады, присыпанные пудрой... Вот от чего сладко заходится сердце, вот чем жив человек.

Очнувшись от глубокого обморока, Лиза обнаружила, что совершенно не умеет предаваться страданию. Уголки её губ по-прежнему изгибались в предвосхищающей улыбке. В конце концов, вот любимая Данина чашка. Вот блюдце с синей каймой. Вот томик Брема с закладкой на девяносто второй странице. Всё, как и раньше, дышало присутствием.

Так, собственно, оно и было. Данино сердце оставалось там, в тиши крохотной спальни с ходиками на шкафу.

Материнство преображает женщину. Увы, не всегда красит. Хася ещё больше располнела, в голосе её появились властные визгливые нотки. Даня — то, Даня — сё. Поддай, принеси, вынеси. И Даня выносил. Вносил и выносил. Авоськи с торчащими из них волосатыми куриными ногами, базарный творожок, топлёное масло, молоко. Большая Хасина грудь его не слишком много вырабатывала.

Согнувшись под тяжестью авосек, Даня вспоминал маленькие Лизины пальчики, её сахарный рассыпчатый смех, её несерьёзность, нежную картавость, её твёрдое «ч» в слове «что», — и ноги сами несли в тот самый переулок, где под пышной кроной вечнозелёной акации резались в домино; в знакомом окошке загорался желтоватый свет, и крошечный напёрсток, надетый на крошечный палец, напоминал о главном.

Она ни о чём не спрашивала. Обжигаясь, они надкусывали начинённые антоновкой оладьи, а чуть дальше по коридору над пылающей сковородой колдовала Роза — оладьи дело нехитрое, но требуют терпения, чуть зазеваешься — и всё пропало.

\* \* \*

О Хасе доносились сведения, но какие-то, знаете, расплывчатые.

Ну вот что, допустим, она сидит как истукан. И все тут же воображали Хасю, с её серьёзным лицом и большой грудью, сидящую на стуле лицом к двери, со сложенными под этой самой грудью большими красивыми руками. Потому что руки у Хаси были-таки красивые, полные. Плечи будто наливные. А зубы непропорционально маленькие, будто не выросшие вровень с остальным организмом. Это даже до смешного доходило. Женихи как натыкались на этот аккуратный ротик с крошечными сахарными зубками, тут же обращались в бегство. Ну представьте: большое и довольно красивое лицо, бровь ровная такая, носик аккуратный, и вдруг — детские зубы. И главное, оно же не сразу обнаружилось. Когда поняли, что Хася выросла, а зубы нет, поздно уж было. Всё при ней было. И плечи, и бока, и, само собой, бюст.

Даня и сам понимал, что запутался. Главное, совершенно не помнил, как его угораздило. Только и видел плывущие белые караваи, полные молока и мёда. Не до зубов ему было. Тем более что Хася, наученная опытом, их не разжимала, смеялась с опечатанным ртом, знаете, жеманным таким смехом — хи-хи. Многие женщины и девушки так смеются. В общем, оно быстро случилось. Вначале, значит, молоко и мёд, а потом всё остальное. И когда разомлевшая от любви девушка кладёт голову тебе на грудь, и обвивает шею руками, и прижимается коленом, тут уж не до зубов.

Хитрая сваха про зубы умолчала. А как же! Ей же наперёд упрочено было! Хасин отец постарался. Свидание нарочно поздним было, а что там во тьме? Платице белеющее, коса вокруг головы, сливочные колени. Луна над Боричевым Током, сладкая, круглая. Свечи каштановые, подсвеченные лунным светом, гроздь сирени — всё дышит, благоухает,

пьянит. А Даня уже большой был. Куда девать это всё. Всего себя. Рослого, красивого, не сглазить бы, мальчика из простой семьи. Мать его, Фейга, людей обстирывала. Во всём себе отказывала, чтобы сына поднять.

В общем, попался наш сокол. Когда очнулся, солнце сияло, вино лилось, бокал под каблуком предательски хрустнул. Благословения со всех сторон. И вот тебя уже под руки ведут. Точно Иосифа Прекрасного. И невеста под хупой. Платье (у хорошей портнихи шили из креп-жоржета), колени, чулки. Всё на месте.

Плодитесь и размножайтесь, сказано в Писании. Опять же, тесть кровать купил, хорошую такую, с панцирной сеткой и никелированными шишечками, комнату им освободили, торшер, скатерть с бахромой. Живите и радуйтесь.

Но что-то Даню стало душить. Ну не то чтобы душить, а вот здесь, в груди, давить. Куда ни повернись, везде она, Хася. Грудь её пышная, прикрученная к затылку густая коса, а главное — улыбка. Не по себе ему было от улыбки её. Будто внутри Хаси другой человек или диббук<sup>1</sup> скалит маленькие зубки — и ничего не спасает, ни колени, ни чулки фильдеперсовы, ни торшер с бахромой.

Совсем не то Лиза. Случайное знакомство. В библиотеке. Её и не видеть было из-за стеллажей. Маленькая, в накрахмаленной блузе. Снимите мне, молодой человек, книжку. Вон ту! И пальчиком так.

Он этот пальчик запомнил. И ножки её детские, носочки, туфли с перепонкой поперёк, смешно сказать, едва ли не тридцать четвёртого размера, наверное, в детском отделе покупала.

Он потом в библиотеку зачастил. Дышать не смел, возвращая книжку в её кукольные ручки. А она строго так, склонясь над формуляром, спрашивала: ну как, понравилась книжка, Даня?

Потом как-то зашёл, а там сменщица, неулыбчивая женщина-мышь. Заболела ваша Лиза, простыла, молодой человек. Где живёт? Да на Никольской, знаете, где аптека Габбе раньше была? Ну да, там вывеска до сих пор висит.

---

<sup>1</sup> Злой дух в ашкеназском еврейском фольклоре — душа умершего злого человека.



Уж не помнит, как летел со всех ног. Осторожно котомку у дверей поставил. Яйца — свежие, домашние, творожок, молоко топленое.

Её и не видеть было под пледами. Он как представлял себе, что там, под пледом, ступни её шёлковые, плечики, — испариной покрывался. Роза, соседка, не скрывая радости, пристраивала яйца в авоське за окном. Лицо её блестело от кухонного жара, — ой, не наследите, молодой человек, вот, отнесите ей гоголь-моголь, если, конечно, вас не затруднит.

По радио передавали скрипичный концерт, и Лиза, укутанная в шерстяной платок, смешно дула на горячее, брезгливо снимала пенку, надрывно кашляла, и от кашля сотрясалось всё её птичье тело. Даня сидел напротив, и что-то разливалось у него в груди. Как будто весь его большой и сильный организм наконец обрёл смысл и точку опоры, и эта точка была здесь. Книжная этажерка с томиком Брема. Фарфоровая статуэтка балерины на одной ноге. Лиза. Её смеющиеся близорукие глаза, её строгие пальчики, её голос, негромкий, глуховатый даже, но такой родной.

Ни о чём таком он не думал. Ведь Лиза была божество. Не такая, как остальные женщины. Он не мог представить её склонившейся над стиральной доской, например. Или идущей с тяжёлыми авоськами. Книжки, радио, монпансье в круглой коробке. Свёрнутые невесомые носочки в углу шифлодика. Аккуратные тувельки с перепонкой.

Большой Даня мог усадить её на плечо и пробежать стометровку. Отжаться от пола. Станцевать краковяк. Она заливалась безудержным смехом, склоняя голову набок: пгизнайтесь, Даня, вы же ухаживаете за мной?

Да, Лиза немного картавила; кроме того, она была значительно старше Дани. Уже хорошо за тридцать. Она напоминала ему учительницу младших классов, Зою Адамовну Зельцер, — он был тайно влюблён в неё в свои тринадцать, но это было безответное и благоговейное чувство. Как, впрочем, и сейчас к Лизе, которая была гораздо умней его, начитанней, взрослей во многих смыслах, но часто казалась девочкой, совсем беззащитной, со всеми своими книжками, с близорукими за тол-

стыми стёклами очков глазами. На вопрос, что она ела сегодня, беззаботно смеялась. Вся надежда была на Розу, которая, точно хищная птица, уже с порога налетала на стоящего с авоськами Даню.

— Ну слава Богу, теперь хоть поест как человек! Ну, тут и на фарш, и на бульон. Да проходите, Данечка, она у себя.

— Даня, пгизнайтесь... Вы ухаживаете, да? — Лиза, обернувшись, снимала очки, и тут её лицо становилось совсем потерянным. — Пгекгатите немедленно с этими подарками! Сколько я вам должна за эту пгекрасную курицу? Не отказывайтесь, Даня, у вас же семья! И ботинки вам хорошо бы новые.

С обувью у Дани дело обстояло непросто. На его сорок четвёртый мало что можно было найти, и он донашивал старьё, время от времени подновляя подошву, даром что идти далеко не надо было. Поднатужившись, он приобрёл (в долг, с помощью тестя) старую сапожную будку неподалёку от Лизиного дома и теперь, поглядывая в окошко, видел, как, сосредоточенно перебирая аккуратными ножками, торопится она к трамвайной остановке.

А что же Хася, спросите вы? Как она терпела? Как справлялась с тяжёлым обжигающим чувством?

На самом деле Данины походы в библиотеку не нравились ей с самого начала. Ничего хорошего от книг ждать не приходится, одна смута в голове. Но, надо отметить, долгое время Хася пребывала в полном неведении относительно Даниных пристрастий. Ну книжки, ну библиотека. Всё это отнимает время у взрослого женатого мужчины, который должен...

И тут Хася загибала пальцы. Данин долг по отношению к семье обрастал процентами. Семья — это вам не шутка.

Ну хорошо, папа купил обстановку. Абажур с бахромой. Если бы не папа...

— Как поживаете, Хася? Что-то не видно давно! А Даня всё там, на Никольской? Скажите, если я зайду к нему за набойками после восьми...

Улица обрастает слухами, полнится догадками. Вот в сквере мелькнула юбка в мелкую клетку — Лиза сшила её у знакомой портнихи Фа-

ины и очень радовалась обновке. А вот и воодушевлённый профиль нашего героя, его вьющиеся мелкими колечками волосы — впрочем, он стриг их коротко, и мужественных очертаний голова возвышалась над широкими плечами. В мускулистых руках — авоськи. В конце концов, куда исчезает Даня в обед? Почему не торопится домой?

— Папа не для того помог нам с будкой, чтобы вы тратили деньги непонятно на что, — прижимая сонную девочку к груди, Хася повторяла одно и то же нудным, неинтересным и недобрим голосом, не понимая ещё, что главный раунд она проиграла. И кому, смешно сказать! Горбатой и хромой библиотекарше! Добрые люди доложили о комнатке-пенале, в которой ютится не особо молодая и некрасивая женщина, к тому же она, эта самая женщина, гораздо старше её, Хаси!

— Знаете, Хася, это становится неприличным. Вчера их опять видели вместе. Вашего Даню и эту... прости господи, несчастную! Где глаза у этих мужчин, я вас спрашиваю! Где? Что они в ней находят? Ни кожи ни рожи, ну буквальным образом ничего! Немчура, одним словом! В последний вагон...

Лиза Габбе и в самом деле происхождение имела немецкое, хотя провизор Эммануил Габбе, Лизин отец, утверждал, что в роду были шведы, но этого точно никто ни доказать, ни опровергнуть не мог. Однако же старый провизор прекрасно владел немецким и латынью и немалую часть жизни проработал в аптеке. Которая, впрочем, досталась ему по наследству. Провизором был и его отец. Редкая порода аккуратных, учтивых и кристально-честных людей. Казалось, Эммануил Габбе таким и пришёл в этот мир — в крахмальном воротничке, манжетах, в начищенных до зеркального блеска штиблетах, с венчиком вьющихся седых волос вокруг стремительно лысеющего черепа, с выбритыми до синевы впалыми щеками на длинном, несколько лошадином лице. Старожилы помнили специфический наклон головы (вправо), пристальный взгляд из-под толстых стёкол очков. Улыбку, обнажающую дёсны и несколько крупноватые зубы. Близорукость передаётся по наследству, и голубые Лизины глаза были точной копией отцовских. Впрочем, улыбка Лизы

тоже была отцовской. Лизина мать, неслышная и незаметная женщина родом из Вильно, боготворила мужа. В доме всегда царили уют и образцовый порядок. Удивительным для окружающих было то, что супруги Габбе до самого конца обращались друг к другу уважительно и только на «вы». В лучшие времена (до уплотнений и выселений) семья Габбе владела половиной дома, в котором находилась аптека.

Ах, эти лучшие времена! Всегда отыщется тот, кто помнит их именно лучшими! Когда-то, придя в аптеку с рецептом или же без него, можно было пожаловаться на жизнь, на зятя или золовку, получить совет или ободрение. Туда приводили истеричных, заходящихся в заполошном вопле женщин, детей, которые до смерти боялись собственной икоты, мнительных стариков... Любой, переступая порог аптеки Габбе, имел право на свою долю внимания и даже сочувствия. Там собирались пикейные жилеты (за средством от изжоги и последними новостями), хорошенькие дамы поверяли тайны своей интимной жизни, и, надо сказать, старый провизор никогда не обманывал их доверия.

Старик Габбе души не чаял в дочери, столь похожей на него, к тому же довольно поздней, долгожданной. Плод зрелой любви супругов Габбе, единственный ребёнок, она родилась чахлой, слабенькой, ко всему ещё переболела костным туберкулёзом в возрасте восьми лет. Елена Теодоровна Габбе, миловидная женщина с чистым лбом, над которым расходились разделённые ровным, точно шёлковая нить, пробором каштановые волосы, была много моложе своего мужа, но со временем они будто сравнялись, потому что Эммануил Габбе, перейдя некий возрастной рубеж, как будто застыл в удачно обретённой форме, к тому же молодость и преданная любовь супруги гарантировали душевное равновесие и физическое здоровье. Впрочем, оставшись вдовой, она совсем ненадолго пережила своего мужа, который скончался от сердечного приступа прямо на рабочем месте, так и не успев взвесить (на особо точных аптекарских весах) полезное снадобье для пациента.

К слову сказать, к тому времени статус аптеки изменился, она уже не принадлежала семье Габбе, а числилась аптекой номер шесть. Как, впрочем, и половина дома (сам дом по-прежнему называли домом Габ-

бе) обрела новый статус и новых жильцов, вследствие чего единственная наследница оказалась живущей в боковой комнатке-пенале.

Хася, ошеломлённая подтверждением своих подозрений, не смела жаловаться отцу. Скорняк Зелиг, человек властный, жёсткий, расчётливый, с тяжёлым лицом и маленьким скупым ртом скобкой вниз, и слышать не желал о каких-то женских проблемах. «Свадьбу справили, обстановку дали — живите, что вам ещё! А что на сторону бегаёт, так это кто виноват? Папа римский? Сама же и виновата. Мужу надо потакать! Чтобы он и думать не смел».

\* \* \*

Внезапная война, как это водится, разрешает многие противоречия, в том числе и семейные. И всё, что кажется неразрешимым, отходит на второй, а то и на третий план.

Слово, от которого всё ждалось где-то в области солнечного сплетения, застало Хасю во время ежедневного купания Сони. Девочка плескалась в тазу, показывая розовые беззубые дёсны, смеялась, когда Хася, ловко подставив руку, переворачивала её на животик, поливала из небольшого ковшика.

— Ай, кто тут у нас такой красивый? Сонечка? Какая у Сони ножка, ай, какая ножка! А какая у Сони спинка!

День стоял тёплый, даже душноватый, вот-вот должен был вернуться с рынка Даня, он обещал свозить Сонечку в парк или на речной причал, смотреть на пароходы.

Хася была хорошей матерью. Все эти шуры-муры на стороне рано или поздно закончатся, а у ребёнка должен быть отец. Ну что ж, что непутёвый. И... как бы это сказать... — бестолковый какой-то. Зато покладистый. Слова злого от него не услышишь! Застынет в дверях, нелепый, точно большой набедокуривший пёс, потом прижмёт к себе Сонечку и давай свои глупые придуманные песенки на ломаном языке — и где он только таким научился!

Даня получил повестку одним из первых, буквально через несколько дней после обращения Молотова. Их часть неделю стояла под Киевом,

в районе Белой Церкви, и там же попали они в окружение уже в июле; но ни Хася, ни Фейга об этом так и не узнали.

\* \* \*

О том, что к городу приближаются немцы, Лиза услышала от старухи Павловой из пятой квартиры. К слову сказать, находились люди, которые завидовали ей, Лизе, полагая, что уж ей-то ничего страшного угрожать не может, а некоторые вспоминали, что Лиза Габбе — дочь бывших владельцев половины дома и аптеки, единственная наследница. Находились и такие, кто при встрече с ней, Лизой, незаметно (либо же демонстративно) отворачивался или переходил на другую сторону улицы. Но среди ближайших соседей таковых не было. Живы были те, кому семья старого провизора сделала немало добра.

— Вы, Лизочка, не обращайте внимания на идиётов. Возьмите себе это овальное блюдо, оно для фаршированной рыбы, ну, вы знаете. И этот подсвечник поставьте себе, лучше спрячьте подальше, это чистое серебро.

Сморкаясь, Роза носилась по квартире. Она старалась не смотреть Лизе в глаза, чтобы не растерять остатки самообладания. Подвода отъезжала утром, на следующий день. Значит, так, носки тёплые... это я положила. Альбом с фотографиями. Кастрюли, выварка. Подушки, как можно без подушек? Без «Чуда»? В чём я буду печь бисквит? А часы? Эти часы столько пережили, а как новые...

Она снимала настенные часы, потом, плача, вешала их обратно.

— Повесьте у себя, Лиза, вас не тронут, слава Богу! И за комнатой присмотрите, пока этот кошмар не закончится. И кушайте! Не забывайте кушать!

Плача, Роза хлопала дверью, слышен был топот её тяжёлых ног, грохот посуды, она вновь вбегала к Лизе, чтобы отдышаться и как следует нажаловаться на мужа, который сбрасывал с перегруженной подводы уже упакованные узлы (Роза, поезд не резиновый!), но, раскрыв рот,

---

<sup>1</sup> «Чудо» — форма для выпекания бисквита.

тут же забывала о выварке и постельном белье, — заливаясь слезами, присаживалась к Лизе на кушетку.

— Розочка, не беспокойтесь, до'огая моя! Кто-то же должен остаться в доме! Я и за комнатой вашей погисмотрю, и вообще. Вегнётесь (а вы же в конце концов вегнётесь!), а тут всё как и было, — ну кому я нужна, посудите сами? Кому? С меня же и взять нечего. Кроме всего прочего, среди немцев немало интеллигентных образованных людей! Зачем им хромая библиотекарша! Которая, кстати, немножко знает немецкий! Ну и вы же понимаете, Розочка, я должна дождаться возвращения Дани.

Уж как они обнимались, рыдали и прощались утром следующего дня, как вытирали мокрые глаза. Как оглядывалась Розочка на кутающуюся в серый шерстяной платок Лизу, пока та не исчезла из поля зрения, и тогда совсем другие мысли и заботы сменили горечь прощания.

Буквально на днях, на углу Большой Житомирской и Владимирской, Лиза с размаху влетела в толпу — вдоль Владимирской и дальше, по направлению к вокзалу. Это были пленные. Их было много. Сотни, тысячи. Измученные, в рваных робах и шинелях, с лицами, покрытыми многодневной грязью. Лиза близоруко всматривалась в эти лица, в невидящие, лишённые выражения глаза. Она страшилась узнать хоть в одном из них Даню.

Собственно, там было две толпы. Пленные солдаты и идущие, стоящие (вдоль тротуара), плачущие, причитающие. Старушки крестились, протягивали хлеб, сухари. Полицаи, сытые, упитанные, в новых мундирах и сверкающих хромовых сапогах, блестя налитыми кровью шальными глазами, тычками и руганью отгоняли проворных старушек, погоняли и рьяно подстёгивали идущих плётками. Лиза обратила внимание, что многие из полицаев — свои, но, похоже, не городские, не местные.

— Господи, папочка не дожил. Может, и хорошо, что не дожил.

Отчаянно припадая на одну ногу, бросилась она прочь, вниз, к Боричеву Току. Краска стыда заливала её бледное лицо. На пересечении Боричева и Андреевского она увидела старого Зелига, отца Хаси. Лицо Зелига было, как обычно, мрачноватым, замкнутым, чуть отстранён-

ным. Проводив прихрамывающую Лизу долгим изучающим взглядом, он застыл, сложив крепкие волосатые кисти за спиной.

\* \* \*

Выйдя во двор, Лиза заметила расклеенные на домах и заборах бумажки. Вокруг бумажек толпились взволнованные соседи. Давид-ухогорло-нос, портниха Фаина, часовых дел мастер Тува Мендель. Мужчины были бледны. Женщины утирали стекающие по щекам слёзы.

По городу давно ползли слухи, в которые не хотелось верить.

— Послушайте, Фаина, ну что вы, в самом деле, что за паника! Это же не дикари! Ну какие ужасные мысли приходят в вашу голову, честное слово! Только не забудьте документы, умоляю вас, они прежде всего ценят пунктуальность. И Адочку укутайте потеплей.

Убеждая Фаину, Лиза ощутила холодок, пробегающий вдоль позвоночника.

— Два дня, Лиза! Что я могу за два дня? А что с квартирой? С кошкой? Со старой Башевой? Как я поведу её? Пешком? В коляске? И что я скажу Фиме? Он вернётся, а где все? Мама, Адочка... Лиза, умоляю, на вас вся надежда. Вот ключи, я оставлю их утром вот здесь. Отдадите их Фиме. Не может быть, чтобы это надолго.

Исполненный очарования осенний день померк. И всё же, проходя мимо военной части, Лиза не могла не отметить густые кроны разросшихся и уже желтеющих деревьев. Невольно поддавшись воспоминанию (такому далёкому, мерцающему, будто из каких-то прошлых жизней), она смахнула со щеки невесомую паутину. Вот здесь, под этой старой акацией, стояли они, не в силах разъять объятия.

— Ласточка моя, — большими ладонями касался он её мокрых щёк и смеялся чему-то тихо, точно в предвкушении счастья. В сумерках смуглое его горбоносое лицо блестело, а коротко остриженные густые волосы чуть-чуть покалывали кончики Лизиних пальцев.

Семья скорняка Зелига так и не смогла выехать из города. Перегруженную имуществом подводку пришлось развернуть в обратную сторо-



ну — поезда бомбили; к тому же Зелиг несколько затянул со сборами, всё откладывал до последнего, надеясь, что всё как-то утрясётся, а тут ещё Сонечка, как назло, простудилась, так и до воспаления лёгких недалеко.

Приказ о сборах застал их врасплох. Человек угрюмый и подозрительный, Зелиг не верил в благополучный исход. Он вообще мало во что верил. Счётная машинка, встроенная в его бритую шишковатую голову, редко ошибалась. Он злился на себя, что допустил такой непростительный просчёт, и срывал досаду на домашних. Ведь можно было успеть, проскочить. Главное — вырваться из города. Трясущимися руками он пересчитывал бумажки, теперь уже точно никому не нужные. Всё в этом мире покупается и продаётся, со всеми можно договориться. Не так, так этак.

Самое страшное — это ожидание. Фира, жена, тихонько всхлипывая, собирала вещи. Хася делала ребёнку компресс. Время от времени из детской доносился слабый, заунывный, будто жалоба, детский плач. Он вынимал Зелигу сердце.

— Ша, пусть уже будет тихо.

Грузный, тяжело присел на краешек кушетки. Сердце ныло.

— Хася, дай уже ребёнку спокойствие. Пусть будет тихо. Слушай сюда. Только не кричи, слушай меня и запоминай. Сейчас. Прямо сию минуту, Хася. Ты. Одеваешь Сонечку. И идёшь к ней. К этой хромой, да. Ребёнку нельзя в дорогу. Тем более что у неё жар. Вот деньги. Возьми ещё. Дай ей это плюс ещё столько же. В конце концов, я знал её отца, приличный был человек, хоть и немец. Пусть уезжает, как только ребёнок поправится. Ша, не делай гвалт, Хася, так будет лучше, я сказал. Что бы там ни было, ребёнок дороги не вынесет.

\* \* \*

Детские вещи без труда уместились в небольшую корзинку. Даже лёгкое пикейное одеяльце, сложенное вчетверо. Конец сентября, вечера уже не такие тёплые. Со стороны казалось, будто Хася неспешно прогуливается под каштанами. На свежем воздухе Сонечка внезапно

перестала капризничать, с интересом разглядывая редких прохожих. Девочка, чтоб не сглазить, выровнялась и личиком пошла ни в Даню, ни в Хасю, а в каких-то дальних родственников — вьющиеся мягкие волосы ещё не определились с цветом, и это было хорошо, как и то, что кожа у Сонечки была бледная, фарфоровая, светящаяся, вот только носик и разрез глаз... — вы понимаете... Ну какой, я вас умоляю, там нос, какой разрез глаз у маленького ребёнка?

Никто (кроме, пожалуй, вездесущей старухи Павловой) не видел того, как свернула Хася на Притисско-Никольскую, как подошла к окошку первого этажа, как медленно поднималась она по проваленным полусгнившим ступенькам, как, свернув налево по коридору, оказалась перед той самой дверью в комнатку-пенал. Никто не слышал покашливания за дверью, мелких торопливых шажков и звука включённого радио.

О некоторых событиях история умалчивает, подробности предпочитая оставлять за кадром. И о многом мы можем только догадываться — впрочем, как и те немногие, кто всё ещё помнит стоящую неподалёку от военной части будку сапожника и вывеску с полустёртой надписью «А...тека Г...ббе», некогда украшавшую первый этаж старого кирпичного дома.

## СКРИПКА ГОТЛИБА

**В** «классах» его встречает десять пар детских глаз — чёрных, блестящих, либо похожих на воробьиное яйцо — в желтоватых пятнышках и потёках. — Господа, — откашливается Готлиб, — «господа» что-то нестройно галдят в ответ, растирая ладони, — в классах не топят, и нежные детские руки стекленеют, покрываются болячками, — кто-то уже кашляет сухо, нехорошо, — ну конечно, эти неженки, привыкшие к мамкиным бульонам, все эти Мотеле и Йоселе — будущие гении. — Мосье

Готлиб, — птичья лапка тянет его за рукав, — у мальчика извиняющаяся улыбка на смуглом лице, — кажется, его фамилия Щварцман или Шварц, — ну как же может быть иначе, когда ассирийские черты из-под жёсткой чёлки, — мальчик из «пансионеров» — он спит на застланном сундуке, поджав к груди острые колени, а за обедом несмело протягивает руку за картофелиной. Похожий на серый обмылок картофель в мундире и селёдочный хвост — чем не обед для будущего гения? — будущий гений держится за живот и бежит во двор, — толстогубый Маневич залиvisto хохочет, но тут же умолкает от веского подзатыльника, — у мосье Готлиба тяжёлая рука, — костяшками желтоватых худых пальцев он раздаёт подзатыльники направо и налево, — мальчишки — народ вредный, — от них дурно пахнет, — лежалыми мамкиными кофтами и аденоидами, — самый трудный возраст достаётся ему.

Каждая еврейская мать носит в подоле вундеркинда — у вундеркинда торчащий голодный живот, но цепкие пальцы, — первым делом его облачают в бархатные штанишки, — одному богу известно, где они откапывают эти куцые одёжки, — пока младший тянется к груди, старший достаёт из футляра скрипку, — он шумно сморкается в материнский подол и семенит короткими ножками, перепрыгивая лужи, подёрнутые коркой льда, — ему бы прыгать по этим лужам вслед за воробьями, размахивая острым прутиком, — эники-беники, но детство окончилось — с утра до поздней ночи сидит он в душных классах, уворачиваясь от подзатыльников строгого маэстро.

— Что ви мне с Моцарта делаете сладкую вату? Ви понимаете, что это МО-ЦАРТ! Тоже мне, танцы-обжиманцы, — ви что, думаете, Моцарт был птичка? Рохля? Маменькин сынок? Он был мужчина, понимаете ви, глупый мальчик? — голос Готлиба дрожит от гнева, — и раз-два-три, раз-два-три, — лысый череп Готлиба обмотан шерстяной тряпкой, — в этом наряде он похож на старую сварливую женщину, но никто не смеётся, только легкомысленный Маневич кусает вывернутую нижнюю губу, — Маневичу всегда смешно, — в темноте он тайком поедает мамины коржики, и губы его в масле. — Вытрите руки, молодой человек, — Готлиб брезгливо морщится, протягивая Маневичу тряп-

ку, — и передайте вашей маме, что я имею к ней пару слов. — Пара слов от мосье Готлиба — это серьезно. У Готлиба нет времени на церемонии. Он встаёт и прохаживается по классу, кутаясь в женский салоп. У него нет времени на бездельников, дармоедов и бездарей. Из десяти мальчишек останется пятеро. Один будет заниматься в долг. Другой будет недосыпать ночами, укачивая на руках истошно вопящего младенца. От младенца пахнет кислым, и мальчик пропихивает в жадный рот смоченную в молоке тряпку, пока жена маэстро прикручивает фитиль к керосиновой лампе.

У жены маэстро впалые щёки и огромные чёрные глаза, похожие на перезрелые сливы. Идите уже сюда, Шварц, шепчет она, и ведёт его на кухню, и там зачерпывает половником тарелку супа, а потом садится напротив и смотрит, как мальчик ест, как двигается острый кадык на тощей шее. У жены Готлиба обкусанные ногти на детских пальцах и внезапный румянец, заливающий выступающие скулы. Кушайте, мальчик, — шепчет она и маленькой рукой ерошит жёсткие ассирийские волосы на его голове, — рука её движется плавно, и юный Шварц боится поднять глаза, он замирает под ладонью и торопливо проглатывает последнюю ложку супа.

Из спальни доносится лающий кашель. Маэстро так и спит в своём лисьем салопе, с вкрученными в седые уши ватными тампонами. Маэстро мёрзнет, и перед тем как улечься, он по-старушечьи суетится, взбивая огромные подушки, подтягивая к ногам старый плед, — все знают, что он давно не спит со своей молодой женой, и остаётся только гадать, откуда появляются на свет истошно вопящие младенцы, страдающие поносом и ветрянкой, — они появляются один за другим, похожие на лысых сморщенных старичков, — некоторые из них не дотягивают до полугода, и тогда отменяют занятия, потому что безумный крик разрывает душную темноту детской, — старик раскачивается на полу, словно его мучает зубная боль, — притихшие пансионеры молча лежат на своих сундучках — они боятся пошевелиться и затыкают уши, чтобы не слышать голубиных стонов, то возобновляющихся, то затихающих внезапно, а потом вновь прорывающихся низким горловым бульканьем, —

ой, держите меня люди, — будто забившаяся в припадке ночная птица, повиснет маленькая Цейтл на руках старого Готлиба.

Дети появляются и исчезают, но Моцарта никто не отменял. Проходит неделя, и старик, сидевший на полу со вздыбленными вокруг жёлтого черепа пегими волосками, вновь ходит по классу, заложив руки за спину, а потом останавливается внезапно и хватается обеими руками за сердце, — это же МОЦАРТ — это же Моцарт, молодой человек, — молниеносным движением он выхватывает смычок и обводит класс торжествующим взглядом.

И тут происходит то, ради чего стоило тащиться по унылой дорожке из захудалого местечка, есть похлёбку из картофельных очисток и мёрзнуть в коридоре на сундуке, — те самые пальцы, которые только что безжалостно раздирали нежное куриное крылышко, исторгают нечто невообразимое, отчего наступает полная тишина, которую не смеют нарушить ошалевшие от первых холодов мухи и степенно прогуливающиеся за окном лиловые петухи, — протяжно, изнурительно-медленно смычок рассекает деку и взвизгивается острым фальцетом, — отсечённая петушиная голова отлетает в угол, а изумлённый птичий глаз заволакивается жёлтой плевой, — скособоченная фигурка в лисьем салопе раскачивается и замирает, — оборвав музыкальную фразу, старик обводит класс сощуренными, цвета куриного помёта глазами и, цокая языком, наклоняет голову, — а?

\* \* \*

Как один день пролетят летние деньки — июльские ливни и августовский сухостой, и тощий Шварц вытянется ещё больше, верхняя губа и подбородок украсятся тёмным пухом, — маленькая Цейтл, прелестно нелепая с огромным животом и лихорадочно блестящими глазами, накроет стол для новеньких, ещё по-домашнему круглолицых, заплаканных, пахнущих коржиками и топлёным смальцем. Пятеро из десяти отправятся домой, а из пяти останутся только двое, — ещё одна беспросветно долгая зима уступит место распахнутым во двор ставням, чахлой траве и жужжанию шмеля за грязным стеклом.

Усаживая Шварца в бричку, Готлиб торопливо протолкнёт в карман его пальто несколько истёртых надорванных бумажек, — будьте благодарны, молодой человек, — будьте благодарны, старик так ни разу и не назовёт его по имени, — а затем, будто поперхнувшись, закашляет, обдав душным запахом камфары и старого тела, — они думают, что Моцарт был кисейной барышней и ходил на цыпочках, но мы-то с вами знаем, что такое Моцарт.

Бричка тронется — старик взмахнёт рукой и долго ещё простоит на обочине, подслеповатыми глазами вглядываясь в петляющую по пыльной дороге точку.

## И РЕКИ НЕ ЗАЛЬЮТ...

**И** когда целился в обтянутую желтоватой кожей скулу, и когда всю пустоту и всё отчаянье вкладывал в разворот плеча, в согнутые костяшки пальцев, — сплёвывая окрашенную алым слюну, шла на него, переступая истончившимися ногами в перекрученных чулках, — ненавижу, смеялась в голос, хрипло, обнажая золотую коронку в правом углу рта, чёрный провал спереди, — шла на него, несчастная, гордая, всё ещё мучительно желанная, дышала перегаром и ненавистью.

Все дороги вели к гастроному, и по узкой, выложенной плиткой тропинке — к пивнушке за овощным. Сквозь едкий запах мочи пробивался густой, тяжёлый — сирени. Весна в том году выдалась роскошная, хмельная — к весне стали вызревать юные сикухи, одна в одну, гладкие, шёлковые, вышагивали бестолковыми ножищами, сверкая трусиками, взлетали на подножку — с размаху плюхались на чьи-то колени, острые, мальчишеские, или мужские, нетерпеливые, и там елозили ягодицами, доводя спутника до помрачения рассудка, и пялились невинно, безгрешно, будто и не было никакой связи между простодушием вспух-

ших полудетских губ и женственной тяжестью бёдер, — если и выворачивал шею, то только чтобы ухмыльнуться бесстыжести, блядовитости этой пустопорожней, — хотелось сдёрнуть девчонку с мужских колен и, звонко хлопнув по задку, отвести домой, нагнуть, сунуть голову под кран, смыть чёрную краску, и фиолетовые, бирюзовые тени, и помаду эту идиотскую, — тьфу! — сикухи не волновали, только вызывали чувство досады, — Мария, — звенело в голове, Ма-ри-я, — вскидывался к трамвайному окошку, пробирался сквозь поздние сумерки, отодвигая душистые ветки сирени, шёл по следу, по запаху, будто зверь, не видя ничего, кроме вожделенной добычи.

\* \* \*

После череды неудач, пожав плечами, она постелила в бывшей комнате сына, оставив супружескую постель с пудовыми подушками, с голубым ковриком у изголовья, с телевизором, торшером, купленным по случаю, с нарядными домоткаными половичками, памятью о свекрови, так и не доглядевшей, так и не защитившей.

Свекровь отличалась нравом тяжёлым и сына драла как сидорову козу, любила, жалела и драла нещадно, сжав тонкие губы, носилась по комнате, настигала — вцепившись каменной хваткой в стриженный полубоксом затылок, стегала с оттяжкой, — «воно ж як теля», — точно телёнок на подгибающихся ногах, похожий на рано ушедшего отца, такой же безвольный, миловидно-белокурый, с тощим задом, ох, и чуяло же материнское сердце — хлебнёт Петруня с этим квёлым битым задом, с простодушием своим.

На свадьбе всматривалась в невесту, исходила тяжкими предчувствиями, но молчала. Невестка была темноброва, яркоглаза, со змеиной головкой, облитой шёлком волос, с жаркими скулами, — запрокидывала голову, беззастенчиво касаясь кончиком языка нёба, распахивая жемчужный ряд зубов, — сын только мычал и улыбался дурашливо, ваньку валял, друзьям подмигивал, будто не в силах поверить внезапному

счастью в шуршащей фате и белом кримпленовом платье по последней моде, обнажающем точёные колени и ломкие лодыжки. Пили медовуху за накрытыми столами, — дело было в мае, — не дотерпели до осени, да и куда было терпеть, когда невеста бледнела и выбегала на крыльцо и там дышала глубоко, а в животе у ней бились две рыбки, спаренные едва обозначенными хребтами и жабрами.

В бане старуха исподтишка поглядывала на Мариин живот, на смуглые бёдра, на выступающий мощно лобок, — ох, да разве ж сможет она остановить ток горячей крови...

Свадьбу отыграли как полагается, с лентами, шарами, куклой на машине, и близняшки родились почти в срок, да только две недельки и пожили, обратив Мариино сердце в цветущий сад, а после в горсточку пепла, но дни летели вприпрыжку, один за другим, — сначала носили короткое, а потом длинное, а после — опять короткое, и уютно помигивали огоньки на пяточке за гастрономом.

Пётр возвращался хмельной, и разило от него хмелем, — прикладывая ухо к тонкой безволосой коже груди, смеялась Мария и прижималась животом, крепко-крепко, а после сжимала ногами, бёдрами, и тонко пели пружины в кровати, это потом, позже, её сменит раздвижная тахта. Тахта тахтой, а подушки останутся прежними, горкой, как мамка любила, и желтоватые кружевные салфетки на серванте, но подушки — дело последнее, а не последнее — пылающий борщ с чесночной головкой и маленькие варенички с пьяной чёрной вишней, совсем как Мариины глаза.

\* \* \*

Сына определили в интернат без особых хлопот — косоглазого слабошеего мальчика водили по врачам, постукивали по коленкам, говорили всякое, — врачи разводили руками и отводили глаза, а один, молодой, с остроконечной бородкой, явно жалея, сказал — несовместимость, и Мария разрыдалась, но не от этого страшного слова, а от руки его, участливо накрывшей её ладонь.



Про пелёнки знала Мария, и про грудное молоко, которое хлещет из правой груди и стекает ручейком из левой, и про сладкие капли, от которых звереют мужчины, и про сладкий аромат, на который слетаются, не останавливаясь ни перед чем.

Мария плохо понимала врачей — она понимала в любви, в борщах, в пелёнках, — позвякивая бутылочками шиповника и ацидофильного молочка, неслась в ясли, на работу, потом опять в ясли, потом в интернат, и вела за руку своё дитя, и прижимала к груди, и пела свои дикие песенки, только не было в них радости, куда-то она подевалась — вместе с кримпленовыми платьями и перламутровыми босоножками производства Чехословакии.

Сын рос и улыбался странной улыбкой, исподлобья, похожий на Петра, с таким же белёсым хохолком на макушке и безвольно свисающими длинными руками.

Изредка, по большим праздникам, гостила Мариина сестра, младшая, точная копия, только ещё потоньше, потоньше и побледней. Разбросав змеиные косы по плечам, будто две девчонки, шептались и хихикали, зажимая ладонями рты.

Петро веселел, отпускал солёные шуточки, по-хозяйски обнимал обеих, и младшая заливалась краской, забавно морщилась, в точности повторяя гримасу сестры, только у Марии вместо ямочек намечались глубокие бороздки да тревожная вертикаль между бровями, а так она была хороша, жгуче-хороша, — пусти, шептал он, с силой разводя её колени, — она ещё впускала его, но не как желанного гостя, и больше не смеялась тихонько — отворачивала лицо, когда он, опустошённый, проваливался в сон.

Нежность, будто вино, бродила в теле, то замирая на половине пути, то прорываясь звериным рыком, и тогда он хватал её, и выдыхал в лицо

обидное, и вслушивался с подозрением в сонное дыхание, пытаюсь уловить главное, и это главное было сокрыто за семью печатями, укрыто её молчанием.

Нежность бродила, но не добиралась до кончиков пальцев. Он не помнил отца, но поступал так же, как все мужчины его рода, — только и хватало его, чтобы с силой рвануть волосы на затылке, стянуть в кулаке и нагибать её голову, и прогибать, и с глупой силой раздирать ноги, добираться до искомого, — сука, — плакал он, бессильно обмякая в её теле, — будто слепец, пробирался на ощупь по когда-то знакомому городу, — карты были спутаны, указатели сломаны, войска перебиты.

Соседская старуха наливала половник супа — придурковатая старуха, от которой пахло подвалом и старым тряпьём, жалела его, — суп был жидкий, а старуха чужая, совсем чужая, с глазами, которые всё понимали и всё видели, и про него, и про Марию, и про их детей, — старуха наливала суп и бормотала слова на непонятном языке, более птичьим, чем человеческом, и уходила к себе, унося своё «вейзмир», и тогда ещё оставалась значка за шкафом, — в полупустой квартире пахло пыльными половиками и мёртвая паутина свисала с потолка.

Когда несмелое апрельское солнце пробивалось сквозь мутные окна, а куст дикого винограда разрастался, опоясывая балкон, она забывалась и пела свои «писни», широко расставив ноги, яростно драила пол, до скрипа вымывала стёкла, — она напевала свои песенки, в которых всё было сказано и про любовь, и про «черноброву», и про «парубка», и про «вишнёвый садочек», и про дикий виноград, вот только ни слова не было про жажду, стягивающую гортань, чёрным сгустком оседающую под сердцем, ноющей болью опоясывающую живот.

Там не было ничего про мужские руки, которые подхватывали её на трассе, и тесные кабины грузовиков, там не было про мужские ладони,

которые жалели её, как тот врач с бородкой, укачивали, разглаживали, ласкали, а после хлестали по мутному лицу, по пьяным губам...

Там не было ничего про сына, который сбился со счёта в своей странной системе координат, в своей дурной бесконечности, ограниченной казённым заведением и медленно ползущими по конвейеру спичечными коробками.

\* \* \*

Он подбирал её там же, на трассе, и вёл домой со скандалом, уже не страшась пересудов и насмешек, и когда целился в обтянутую желтоватой кожей скулу, она шла на него, несчастная, гордая, всё ещё мучительно желанная, дышала перегаром и ненавистью — отпусти...

И когда, одетая, падала поперёк кровати, забывалась беспорядочным сном, он осторожно укладывался рядом, обхватывал руками, сжимал, прислушиваясь, будто к больному ребёнку, ловил её сбивчивое дыхание, готовый длить и длить эту муку, желать и ненавидеть, прощать и проклинать, ибо «крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность... Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её»<sup>1</sup>.

## Гой

— Барух ашем, Барух ашем, — бормотал Лейзер, воздевая ладони к небу, — слава Всевышнему, девочка осталась жива, если бы не Пётр, страшно подумать, что могло случиться.

Из семьи Гирш не осталось никого — даже восьмидесятилетнюю Соню не пощадили, глумились, водили по двору с завязанными плат-

---

<sup>1</sup> Песнь песней, 8:6-7.

ком глазами и потешались: скажи «кугочка», скажи «кугочка», — рехнувшаяся старуха, натываясь на ограду, потерянно лопотала вслед за мучителями и заходила смехотворным клёкотом и кудахтаньем, — йой, йой, — особенно смешило их имя Абраша или Циля — что ж, это действительно смешно, — пока не рухнула, подрубленная наискось, — даже когда наступила полная тишина, он не торопился отрывать голову от земли — шея затекла, подвёрнутая нога онемела, уже через несколько минут новый взрыв клубящегося из-под земли воя заставил вжаться лицом в чахлую дворовую траву, казалось, это дома воют, раскачиваясь от ужаса, — лежи, Лейзер, ещё не время, — те, в синагоге, уже не торопятся, — еврейский Бог если и услышал, то, как всегда, не успел, — ты слышал, Лейзер, им таки дали помолиться напоследок, один на один с их жестокосердным Богом, — замолчи, Перл, как уста твои могут производить подобные вещи?

Перл рехнулась, эта женщина никогда не блистала умом — раньше подумай, потом скажи, — кто ищет женщину-пророка, а вот поди ж ты — теряя красоту, они обзаводятся острым язычком, — иди сюда, Перл, у нас радость, слышишь? наша девочка жива, она с нами, нам удалось обмануть их, — тихо, они могут вернуться, они ещё могут вернуться, — не смехи, Перл, помнишь, ты попрекала меня скупостью, — так кто из нас прав? лучше грызть селёдочный хвост, но иметь чем откупиться, я отдал им всё — разве наша девочка не стоит всех сокровищ мира? Мы ещё станцуем на её свадьбе, Переле, пусть только попробуют сказать слово, — возьми девочку за руку и отведи умыться, не давай ей лежать так и не вопи, бога ради, — ведь она жива, так чего ты ещё хочешь? у неё тёплые руки и ноги, чего ты хочешь от меня, глупая женщина? позор на твою голову? — о каком позоре может идти речь, когда бандиты рыщут по двору, а соседские дети указывают дорогу, — спасибо мальчику, ты знала, что у них роман? у кого-кого, у этого гоя и у нашей девочки — и не делай такое лицо, ты всё знала, он был среди них, я точно помню — я видел, как они вошли и вывели её из-за двери, белую как мел, они размотали её, освободили от тряпок, Переле, — даже лохмотья старухи не могли затмить белизны её кожи, я слышал, как они молчат, сражённые,

и я слышал, как они сопят, — а что Пётр, — они смеялись и подталкивали его к ней, — смотри, байстрюк, ей понравилось ублажать нас, теперь твоя очередь, — они подпихивали и подталкивали к ней, лежащей бездыханно на грязном полу, — что ты кричишь, — нам повезло — они смеялись над слезами этого мальчика, его счастье, что он не аид, — какого мальчика? — ты спятила, что ли, Переле, Петром его зовут, ты сама привела его в дом, а потом девочка показала ему книжки — и пошло-поехало, книжку туда, книжку сюда, — Пётр приходил? — Пётр уже ушёл, — что она нашла в нём, объясни мне, наша дочь, правнучка раввина, — в безграмотном мальчике, который алеф не отличит от бет, а мезузу от тфилина?

Папа, мы с Петром решили, — мы с Петром, вы слышали? — тут я оглох, ослеп, я тут же умер — она держала его за руку, моя милая дочь, и произносила какие-то слова, но, клянусь, я не слышал ни слова — Бог жалился надо мной, лишил меня зрения и слуха, я не успел узнать, что же такое решила моя дочь, разбирающая главы из «Мишны», раскладывающая тарелки на скатерти своими белыми ручками, — мне снова повезло, и я не узнал, как моя девочка решила обмануть судьбу, оставив в недоумении прадеда-раввина.

Когда наступают смутные времена, а в лавках исчезает мука и сахар, то идут куда? — к старому Лейзеру, и видит Создатель, Лейзер готов поделиться последним, но скажи мне, идиоту, — зачем им выжившая из ума Соня, зачем им Нахумчик и Давид, — давай зажжём свечи, жена моя, и восславим Господа — за то, что беда обошла наш дом, — она молчит? — ничего, как всякая девушка её возраста, она забивается в скорлупу и думает о разных глупостях, разве я не прав, — о платьях, локонах, о студенте, с которым познакомилась на Хануку, о выкресте, от которого отказался родной отец, — наступают тяжёлые дни, они хотят быть как все, — хедер — это плохо, говорят они, в хедере безумный старик учит еврейской грамоте, грязным пальцем он водит по буквам и загибает страницы, он задаёт вопрос и ждёт ответа, но ответа нет, — горе мне, — он задаёт вопрос на языке Моше Рабейну и ждёт ответа из глубины веков, но пахнет порохом, а гимназисты читают «Отче наш»,

вместо «Кол нидрей» они поют романсы — ответа нет и не будет, потому что сегодня правят те, а завтра другие, сегодня Петлюра, завтра атаман Григорьев, и тогда мы ждём красного командира — красный командир рассудит, он примчится на вороном коне и наведёт порядок, — так думают добрые евреи из Овруча, они выносят серебряный поднос с хлебом и солью, но их заставляют рыть братскую могилу, вежливо их подводят к краю этой могилы и так же вежливо поясняют им — сначала в могилу войдут дети, потом ваши жены, а после — после вы сами будете умолять батька засыпать вас землёй.

Ты слышишь, Переле, пусть уже будет тихо — давай зажжём свечи, помнишь, как радовалась ты этому столу, покрывая его белой скатертью, рассаживая детей, — детей должно быть не меньше дюжины, потому что так угодно Господу нашему, плодитесь и размножайтесь, сказано в Писании, — детей должно быть много, потому что если один из них, не дай бог, станет выкрестом, другой умрёт от скарлатины, а третий ускачет на красном коне в поисках новой жизни, то остаётся четвёртый, но если этот четвёртый окажется девочкой, опускающей тёмные глаза, в которых отражается весь этот безумный мир с его правдой и ложью, жестокостью и милосердием, то может случиться, в одно ужасное утро войдут эти, пьяные, с крестами и звёздами, с шашками наголо, — и тогда господь пошлёт нам чужого мальчика с библейским именем Пётр.

## ДОЧЕРИ ЕВЫ

**В**се истории начинаются с «однажды», и история Берты и Моисея — не исключение. Только вот мало кто вспомнит теперь об этом — однажды уходят не только главные герои, но и второстепенные, а также случайные свидетели любых событий.

Любое «однажды» требует интриги, глубокого вздоха, уважительной паузы перед развёртыванием полотна, будь то полотно широкоформат-

ное или мелкое, малозначительное, с каким-нибудь незамысловатым узором или простеньким сюжетом: сдвоенные лебединые шеи, символизирующие вечную и верную любовь, пёстрый горластый петушок, вышитый шёлковой нитью по уютной, под бочок, подушечке-думочке, умилительно-жёлтые цыплята, вызревающие на дне глубокой тарелки, предназначенной для блюд сытных, наваристых, с торчащей полой костью, с плавающими глазками жира.

Ах, эти глубокие тарелки, стоящие столь монументально и надёжно на других, плоских; эти глубокие утятницы и гусятницы, будто некие загадочные полости, наполненные скрепляющим всякую семью веществом. И ходики, тикающие над ухом денно и ночью, покачивающие гирькой, играющие в странные игры — подожди, подожди... или — беги, беги, беги. Эти дома, в которых время подобно развёртывающемуся тусклому свитку.

Сервант, в котором крепкие кубики пилёного сахара громоздятся в фарфоровой сахарнице, и щипчики тут же, — предметы, волшебным образом наделяющие всякое действие строгой, значительной и незаметной красотой.

Чего стоят, например, женские руки, открытые до локтей, округлых, с тёплой неглубокой ямочкой, либо обнажённые до плеча, пленительно колышущегося, схваченного нежным жирком; пальцы, обхватывающие эти самые предметы — щипчики, сахарницы, тарелки, мельхиоровые ложечки, — задвигающие и выдвигающие ящички разного предназначения, распахивающие дверцы шкафов... Какая восхитительная прелюдия сопровождает все эти нехитрые движения — поскрипывания, запахи глаженого белья, резеды, разросшейся в глиняном горшке герани.

И слабый, будто напоминание о женском недомогании, об извечной женской слабости, запах анисовых капель, а ещё валериановых, разносящийся по дому исподтишка, словно вторгающийся противник; он ползёт из щелей, вползает в шкафчики, поселяется в трещинах и створках.

В незапамятные времена месячные у женщин были обильными, куда более обильными и продолжительными, нежели сегодня. Сложно вообразить, что происходило в Евином доме, когда женщины начинали кро-

воточить одна за другой. Перед тем проносились по дому непременные бури, достаточно однообразные по сути и исполнению. Начиная одна, а прочие продолжали, виртуозно развивая тему и доводя её до абсурда, пародии, массовой истерики с заламыванием рук, икотой, обмороками и «демонстрацией свиных рыл», на что каждая была большая мастерица.

Одно из рыл было особенно пугающим — когда оттягиваемые двумя пальцами веки ползли вниз, обнажая воспалённый испод глаза, а добротный семитский нос становился кабаньим пятакom. Человеческого в этом зрелище было мало, но это-то и следовало из всего предшествующего спектакля. Щипки, затрещины, шлепки, несильные, впрочем, скорее отрезвляющие. В доме блеяли, рычали, хохотали — все, включая младших детей, охваченных неудержимым приступом весёлости; и затихало всё так же внезапно, как и начиналось, и, как ни в чём не бывало, усаживалось всё семейство за стол, воздавая должное трапезе.

О, это недомогание дочерей Евы! — дородной, с вывернутыми базедовой болезнью белками горячих глаз. Эти горячие выпуклые глаза — отличительная особенность женской половины дома. Горячие, томные, сонные и испепеляющие в минуты гнева, или страсти, или безудержного желания.

Впрочем, о чём это я?..

Неужели возможна страсть в этих скучных домах, в тихих комнатах, где неутомимая кукушка отсчитывает день за днём, час за часом, где ставни выкрашены унылой желтоватой краской, а половицы поскрипывают под человеческой пятой, которая куда тяжелей, нежели, например, кошачья. Кошек в доме немало, сложно назвать точное число их. Одну из них называют Муськой, а все прочие — производные от неё либо приблудившиеся невесты откуда: серые, дымчатые, бескостные и бесшумные, разве только иногда раздражающиеся младенческими и женскими стонами, столь понятными обитателям дома.

К кошачьему потомству отношение уважительное, впрочем, как и ко всему, что множится, стонет, воркует, совокупляется, — каждой твари по паре. Пара — это основание всяческого бытия, в отличие от бесполезного одиночки, подозрительного в сиром своём бесплодии.



Любое существо должно быть окольцовано и пристроено должным образом. Любое существо обязано выполнять обет, данный однажды (опять это «однажды»!). Никто уже не вспомнит того прекрасного дня и часа, когда соединились и стали одной плотью Моисей и Берта, дочь Евы. Всё это случилось так давно, в каком-то ненастоящем прошлом, за чертой которого у каждого из них была какая-то своя, отличная от теперешней, жизнь.

Вот тут наше повествование упирается в необходимость вдумчивого внятного сюжета, столь любимого почитателями житейских историй...

Всё тонет в пышных, отороченных кружевами подушках и духоте тесных спален. Женщины, сталкивающиеся по утрам и вечерам на кухне, чаще полны, нежели изящны, — и чаще, увы, шумливы. Все женщины кажутся различной степени похожести копиями мамы Евы.

Ева — давно уже не женское, а совершенно мифологическое существо — не говорит, а сипит, выталкивая из огромной груди междометия. Массивная, будто богиня плодородия, восседает она на стуле с изогнутой спинкой, расставив широко слоновьи ноги, зевает, не порываясь прикрыть зевок пухлой желтоватой ладонью. Да, Ева желта и смугла, так же смуглы все дочери Евы. Все желтокожи и склонны к тревожному разрастанию — грудей, подмышек, поросших неровным иссиня-чёрным мхом, слоёных бёдер, аппетитных валиков жира в поясничной области и у основания шеи. Полнота дочерей Евы — аксиома. И даже младшая — круглолицая, ещё озорная, подвижная, уже по-женски тяжела, хотя тяжесть эта скорее приятна, нежели безобразна, и сулит немало соблазнов обитателям слободки, мастеровому и непритязательному люду, которому после трудового дня требуется наполненная до краёв тарелка и тёплая широкая постель.

Мужчина, сгребаящий шкварки с чугунного дна сковороды, наливается недюжинной силой, его пятерня томится по округности груди, по наполненности её; в темноте спальни грудь эта колыхается, разваливается под просторной сорочкой на два рыхлых холма. Долина меж холмами ведёт в сонное царство примятого валежника, птичьего гнезда, ароматы которого одуряюще резки и ошеломляюще безыскусны; там,

во влажной вязкой глубине, — средоточие смыслов, итог, главный, не подлежащий сомнению приз.

Ночь — царство дочерей Евы. Там, за плотно прикрытыми дверьми спален, происходит вечное, стыдное, почтенное, законное. Под тяжёлыми перинами, обливаясь жаром, обрабатывают мужа мужское своё предназначение. Трудятся, словно дятлы, с каждым ударом вбивая доказательство и оправдание бытия.

Сама же Ева, раскинувшись на ложе, удовлетворённо прислушивается к богоугодной тишине, в которой визг пружин подобен чарующим звукам небесной арфы.

Счастье. Кому, как не дочерям Евы, полагается оно — крикливое, желтушное, дрыгающее ножками и ручками.

— Люба моя, — сипит Ева, прикладывая к груди то одного, то другого — всего в доме должно быть в избытке, — все эти кусочки Евиной плоти; маленькие, сморщенные, они теребят грудь и просят есть.

— Сцеживай, — волнуется Ева, ревниво придерживая детскую головку у груди дочери. — Кушай уже, кушай, паршивец, — смеётся она, любясь впивающимся ртом, похожим на миниатюрный поршень, всплывающим поплавком соска — огромным, коричневым, покрытым незаживающей коркой.

Корка смазывается подсолнечным маслом из тёмной бутылки; тем маслом смазывается и детская головка. Тусклые и взъерошенные волоски растут низко надо лбом. Всё это грозит стать медвежьем, избыточным — её, Евиной породы.

Уперев руки в массивные бёдра, озирает Ева пастбища свои, но сердце её беспокойно.

— Берта! — вопит она истошно. — Берта, ты видишь, Берта?! Что ты молчишь?..

Берта молчит — молчит, потому что об этом не принято говорить в почтенном доме. О ценах на рынке — пожалуйста. О родовых травмах и молокоотсосах — сколько угодно. О том, чем и как кормить мужчин, сколько калёной гречки и укропа полагается есть кормящей матери, о средствах от недержания, запора, поноса, золотухи и сухотки...

И лишь об одном не принято не только говорить, но даже думать...

Берта и Моисей не спят вместе. Вернее, они спят, укрываются одним одеялом и вдыхают один и тот же воздух... вдыхают и выдыхают, вдыхают и выдыхают, но... Берта и Моисей спят будто дети, обнявшись крепко, они видят разнообразные сны и утром, смеясь, рассказывают друг другу небылицы. И всё бы хорошо, но от дружбы между женщиной и женщиной, даже самой крепкой, не бывает детей.

— Горе мне, — сипит Ева, — за что мне такое наказание, позор на мою голову! — Она принимается раскачиваться, посыпая себя воображаемым пеплом, ударяя по тугим щекам и выдёргивая пружинки жёстких волос.

От дружбы не бывает детей. Эти двое сидят за столом и улыбаются как дураки, а по субботам гуляют в парке и катаются на карусели.

— Карусель, — пышет гневом Ева, — та ещё карусель!

Карусель — это когда мужчина знает своё мужское, а женщина — женское.

Где та тайна, которая швыряет мужчину и женщину в объятия друг друга? Где таинственный механизм, священная печать, которая скрепляет и благословляет ежедневное нахождение в одном помещении, все эти зимние и летние ночи, из которых складываются недели, месяцы и годы?..

— Дайте мне внука... или внучку, — стонет она. — Вчера я видела во сне деда Ашера. Он вышел из могилы и спросил: разве тот, чьё имя не принято тревожить понапрасну, не обязал нас выполнять главную заповедь?..

Разве дано видеть нам, как рождаются и совокупляются голуби... Разве дано познать, из чего зарождается рассвет, из какой тьмы проступает бледная полоска света...

— Обними меня, — просит Берта, и поворачивается на левый бок, и руку его укладывает в ложбине между правой и левой грудью.

Таинственный бархат ночи окутывает дом, но аисты пролетают мимо. Они пролетают один за другим, но сны Моисея остаются праведными и безгрешными. Если и вырывается из Бертиной груди вздох, то это вздох смирения перед немой женской долей.

Догадывался ли Моисей о том, что за чертой их городка есть другие города и другие страны, что живёт в них множество всякого люду; что в городах этих женщины нарядны и тонки в кости, они ходят в рестораны и пьют маленькими деликатными глотками, отставляя мизинчик в сторону, и женское естество их искусно замаскировано в элегантные туалеты, затянуто корсетами. Что у женщин этих не бывает, просто не может быть обязательной послеобеденной отрыжки и изжоги, а ещё — длительных болезненных месячных.

Догадывался ли он о том, что впадина женского затылка гораздо чувствительней и обольстительней раскинутых женских ног, пугающего тёмного провала между ними... А хрупкие запястья и золотистые локони, обвивающие пальцы тугими кольцами, — они куда более крепки, чем узы, скрепляющие брак...

Иногда, впрочем, смутные мысли и желания посещали Моисееву голову. И тогда взгляд его застывал в проёме окна... но дорога за окном вела на рынок, за которым располагалась пожарная часть и непреходящая каланча, а за каланчой расступались округлые и приземистые деревья и домишки — округлые и безмятежные, как и всё то, что его окружало.

Берта была ему как сестра, хотя сам Господь определил её Моисею в жёны, и Моисей послушно и безропотно любил её, как любят всё близкое. Ему необходимо было знать, что Берта рядом, что она сыта и довольна и руки её заняты каким-нибудь ленивым рукоделием или стряпнёй. А если у неё задиралась ночная сорочка, Моисей опускал глаза, потому что не должен муж видеть бесстыдной женской плоти.

Тяжело дыша, она раздвигала ноги и оплетала его поясицу, выдыхая в шею тепло Евиного дома: ну, Моисей, ну! — но энтузиазма её хватало ненадолго, опадали колени, грудь, а сытный ужин давил в подреберье и смыкал глаза — спать, спать, спать...

Там, в безымянных снах, отцветали лиловые вечера, зажигались огни и женские голоса струились, таяли, таили нечто такое, от чего Моисеево семя исторгалось каким-то необыкновенным способом, и пробуждение его было постыдным. Берта безропотно замывала постель-

ное бельё и, затаив дыхание, выслушивала долгие женские беседы о том, что случается между мужчинами и женщинами и отчего рождаются всегда желанные дети.

Моисей часто задумывался о том, как странно устроены женские тела, как сдвигаются и расходятся бёдра, какие причудливые фигуры и углы образуют они. Стыдным и непорядочным казалось то, что вытворял он мысленно с чужими жёнами, неизвестно с чьими жёнами и дочерьми какого-то иного племени. Это были чужие женщины, пугающе прекрасные в своей таинственной наготе и совершенно непохожие на тех женщин, которых довелось познать ему.

Это не относилось к области чувств, вовсе нет. Скорее, к области чуда, тайны, которую переплётчик Моше носил в себе. Ремесло переплётчика требовало ловкости рук и сноровки, а голова оставалась свободной.

Небольшая пристройка за сараем казалась надёжным укрытием для Моисеевой тайны. «Не возжелай чужого, ни жены, ни имущества его». Моисей не желал. Желания были далеки от его костлявого вытянутого тела, тощего выпирающего кадыка, покрытого колючей щетиной. Он не желал чужого. Работал себе, а мысли бродили вдалеке от этих мест. В местах этих чарующая музыка услаждала слух, а стыдные фигуры вытворяли чёрт знает что и замирали, когда отворялась дверь и входила Берта, внося накрытый салфеткой обед. Кроме обеда, она приносила свежие домашние новости, потому что другие мало волновали её, и уходила, покачивая плавно бёдрами.

Всё в этом мире происходило по воле божьей. У неё, у Берты, был муж, переплётчик по имени Моше, была мать, Ева, и не было детей.

В женские дни Берта становилась загадочно-молчаливой. Она держалась за живот, немножко похныкивала и требовала жалости, но не как женщина, а словно маленькая девочка. Садилась у окна и начинала сплетать и расплетать чудные свои тяжёлые тёмно-каштановые косы. Они покрывали её всю, едва ли не до самых бёдер, и тогда силуэт её вызывал в Моисее болезненное, щемящее чувство. Он послушно приносил разогретую воду, и омывал Бертины ступни, и прикладывал смоченную уксусом тряпку к горячему лбу.

Недомогание было своеобразной индальгенцией, освобождением от ежедневного ритуала, и тогда Моисей оставался наедине со своими снами, окунался в блаженную прохладу подушек и одеял. Порой ему снилось что-то из прошлой жизни — давно утраченное чувство свободы, когда вприпрыжку бежал он за отцом по пыльной улице, сворачивал за угол, предвкушая скорое купание в небольшой грязной речке. Тут сон его обрывался, и речка оставалась там, далеко, а рядом сопела незнакомая женщина. Изумлённо вглядывался он в приоткрытые пухлые губы, примятую подушкой щёку, с трудом вспоминая имя, предназначение, время и место.

Жизнь текла, словно сонная река, в которой полоскали бельё. Река вытекала неведомо откуда и впадала неведомо куда.

\* \* \*

Лето выдалось жарким, и по пыльному шляху потянулись беженцы. Они шли с запада на восток, вслед за дымным облаком, волоча на себе нехитрые пожитки. Босые измождённые люди были новинкой в сытом краю, особенно поразили жителей города молчаливые дети, похожие на маленьких высохших старичков.

Застыв на пороге, всматривалась Ева в лица чужаков. Близко, слишком близко подступила беда к дому, запахом гари опалив размеренную жизнь, в которой всякой вещи было своё место. Кое-что хранила в себе Евина память, хранила в дальних закоулках её. Хранила такое, о чём предпочитала не вспоминать, не ворошить тлеющие угли.

\* \* \*

Женщина подошла совсем близко. Одета она была в бурю поношенную юбку, а ноги её были босы. За руку она держала девочку лет пяти. Молча остановились они у калитки, не решаясь ни постучать, ни войти. Припорошенное серой пылью, лицо женщины казалось немолодым, лишённым всякого выражения.

Позже, вечером, отмывая в глубоком тазу в пристройке за домом, присядет она на краешек стула, неловко сложив руки на коленях. Все

платья и юбки окажутся ей широки и коротки, потому что у неё была иная порода, отличная от дочерей Евы, — с развёрнутыми ключицами, длинными ногами и скрученным на затылке тяжёлым узлом пепельно-русых волос.

Подразумевалось, что мать и дочь уйдут на рассвете, но наутро девочка слегла с жаром, и чадолюбивое семейство Евы принялось кудахтать, хлопотать, носиться туда и обратно с мокрыми полотенцами, склянками, градусниками. Слава богу, это оказался не тиф, не холера, не...

Женщину звали Вера. По крайней мере, именно это имя удастся опознать в убогом, сдавленном, горловом мычании гостьи. В мычании гостьи и птичьим щебете девочки.

— Убогая, — всхлипнет Ева, погружая половник в кастрюлю со сваренной в бульоне лапшой. — Что, у меня тарелки супа не найдётся для этой несчастной? С больным ребёнком да на улицу?..

— Кушать, спать, кушать, — местный доктор был знаменит этой своей присказкой, излечив ею не одно поколение детей и малокровных барышень. Прихрамывая, он засеменял по дорожке, оставляя следы от трости в растрескавшейся земле.

К великому сожалению, знаменитая формула не поможет ни самому доктору, ни большей части его пациентов: точно так же, опираясь на тяжёлую трость, будет идти он в толпе единокровцев — всё с тем же докторским саквояжем и в подобранном под цвет сорочки жилете.

«Кушать, спать, кушать» — очерченная тростью формула замрёт в воздухе, и сладкий бульон из бойкого петушка поставит на ноги чужую девочку чужого рода-племени, похожую на мать, странно-молчаливую, то ли из благодарности, то ли от смущения.

— Вы кушайте, — подперев ладонью щёку, zalюбуется Берта чужим ребёнком. В слепой своей доброте так и не заметит она главного, важнейшего — взгляда Моисея, будто очнувшегося от долгого сна.

Заметит старая Ева — и промолчит, опечатав свой рот. Промолчит, заслышав посреди ночи скрип половиц и шаги, вне всякого сомнения мужские.

Так и заживут они, полагая своё состояние временным — ещё денёк, ещё недельку, а там и лето разразится испепеляющим августом, прольётся холодными дождями сентябрь; в покосившейся пристройке наладят какое-никакое человеческое жильё — с примусом, печкой и сворой дворовых кошек. Конечно, придётся Моисею потесниться, но отчего же не потесниться ради спасения чужой жизни — впрочем, чужой ли...

Зимними ночами дом наполнялся блуждающими женщинами. Сквозь плотно забитые щели не поступал воздух, а тот, что имелся в остатке, был безжизненным и сухим. Зевая, бродили женщины по коридорам, полы халатов волочились за ними, как шлейфы, а от тусклого свечения ламп лица их казались желтоватыми и будто восковыми.

На стенах плясали нелепо раскоряченные тени. Тени жили отдельной жизнью, совершенно независимой от своих хозяев. Чей-то острый профиль соединялся с раскачивающимися над плитой подштанниками или сорочкой, и тогда происходящее на кухне становилось пугающе таинственным. До утра нужно было дожить каких-нибудь три-четыре часа, но именно эти часы растягивались до тягостной бесконечности. Женщины зевали, отодвигали занавески и пристально вглядывались в молочную синеву за окном.

Обнимая законную жену БERTУ, крепко спал Моисей и видел волшебные сны; и во снах этих являлась ему чужая женщина с узлом пепельно-русых волос на затылке, сероглазая, странно молчаливая. Женщина смеялась, откидывая голову назад, и на шее её подрагивала сладкая синяя жилка. Что за жилка, скажете вы, подумаешь, — разве этим сильны дочери Евы... Разве удивишь зрелого мужчину какой-то там жилкой — вот здесь, на виске, а ещё — на запястье... и здесь, под округлым коленом.

Жилка билась, трепетала, подрагивала; то ли плач, то ли смех прорывался из полуоткрытого рта, запрокинутой шеи, груди — белой, белее первого снега, выпавшего под утро бесшумными хлопьями.

Дочь Веры совсем освоилась и время от времени капризничала наравне с другими детьми: не буду, не хочу, — и старая Ева, изображая гнев, трясла щеками и делала «свиное рыло», чем ещё больше веселила негодников.



О чём бы ни судачили злые языки, а вознаграждение за мицву, доброе дело, не замедлило явиться. В положенный срок Берта разрешится от бремени девочкой, которую нарекут Евой. А две недели спустя — не без помощи хромого доктора — в пристройке, за домом, посреди пыльных фолиантов, тяжёлых кожаных переплётов, окружённый мудростью веков, родится на свет младенец мужского полу.

Измученный бессонной ночью, склонится Моисей над роженицей, коснётся лежащей безвольно руки с пульсирующей синей жилкой на запястье.

— Кушать, спать, кушать, — скажет маленький доктор, вглядываясь в бледное лицо молодой женщины, а на восьмой день, после визита похожего на усталую черепаху мозля, сделавшего обрезание, младенца нарекут Даниилом.

Ещё через полтора месяца в городе объявят комендантский час, а по городу развешат объявления о явке к восьми часам утра всех лиц иудейского вероисповедания. Евреи должны иметь при себе документы, ценные вещи и тёплое бельё.

— А я что говорила, эвакуация! — пожмёт плечами Ева-большая и зальётся внезапными слезами, потому что кто-нибудь здесь объяснит, что в этом случае ценное, а что — таки нет?.. Спринцовка, градусник, тёплые носочки, куст алоэ в горшке, портрет деда Ашера — хороши шуточки, попробуйте-ка за двадцать четыре часа выбрать это ценное. — Берта, что ты стоишь как вкопанная, собирай дитё, беги до Веры — у нас день и ночь впереди. Пусть идёт, на неё никто не подумает.

На неё никто не подумает — на высокую, в сбитом набекрень крестьянском платке, прогибающуюся под тяжестью двух свёртков, в которых женское и мужское кряхтит, рвёт грудь и требует молока, любви, жизни, опять молока.

— Кушать, спать, кушать, — выдохнет она, оседая у ворот чужого дома, в тот самый час, когда дочери Евы, ёжась от утренней прохлады и чего-то необъяснимого, выведут на порог готовых к путешествию детей...

## ДОЧЬ АПТЕКАРЯ ГОЛЬДБЕРГА

По одним документам Муся Гольдберг была расстреляна седьмого апреля 1939 года, и нет нужды пересказывать, отчего голубоглазый аптекарь Эфраим Яковлевич Гольдберг упал прямо на улице — вскрикнув коротко и глухо, он неловко повалился вбок, скорее обвалился, как карточный домик.

Никто так и не узнал, какое странное видение посетило Эфраима Яковлевича в этот день, по-весеннему сырой и ветреный. Эту тайну маленький аптекарь унёс в могилу, вырытую мрачным дождливым утром тремя круглоголовыми брахицефалами. Некрасивая девочка, стоящая босыми ножками на цементном полу, в сползающей с худого плеча бумазейной рубашечке, с тем обычным плаксивым выражением лица, с которым восьмилетняя Муся пила железо и рыбий жир и послушно подставляла покрытый испариной лоб, явилась ему посреди белого дня, и, падая, аптекарь Гольдберг успел содрогнуться от жалости — ножки, Муся, ножки, — и жалость эта оказалась столь необычных размеров, что просто не уместилась во впалой аптекарской груди.

По другим источникам, седьмого апреля 1939 года расстреляна была вовсе не Муся, а совсем другая девушка, возможно тоже с фамилией Гольдберг, а сама Муся вернулась в свой дом, постаревший на много лет, помаргивающий подслеповатыми окнами и заселённый незнакомыми людьми.

Из полуоткрытых дверей выплывали желтоватые пятна лиц, похожие на пёсьи и лисьи морды, со скошенными лбами, мелкозубые. — Вам кого? — Гольдбергов? — Фима, там Гольдбергов каких-то, — нет, не живут. — И только соседская старуха, озираясь по сторонам, прошелестела в Мусино ухо: — Гоим, гоим, уходи. — И Муся в страхе отшатнулась — сквозь мутную пелену белесоватых глаз проглядывало вполне осмысленное, даже хитроватое выражение. Крошечная голо-

ва была плотно ввинчена в туловище — мелкими шажками старуха продвигалась вдоль стены, напоминая медленно ползущую жирную гусеницу.

Музина улыбка по-прежнему была ослепительной, хоть и поблёскивала металлом.

За долгие годы Муся научилась держать удар и вовремя уворачиваться — даже в сползающих чулках и старом пальто дочь рыжего аптекаря всё ещё производила некоторое впечатление на утомлённых нескончаемым конвейером мужчин — её сипловатый голос завораживал, а небольшая картавинка только усиливала очарование, — в пыльном кабинете, сидя перед настороженным лысоватым человечком, Муся нервно закурила, и человечку ничего не оставалось, как придвинуть пепельницу, а после закурить самому, подавляя странное волнение и дрожь в пальцах.

Следствием этой беседы в прокуренном кабинете стала новая жизнь, правда, Муся так и не научилась стряпать, впрочем, претензий на этот счёт не было никогда. Ужинали они скудно, по-холостяцки, чаще молча, пока молодая жена с хриплым смешком не гасила окурки в переполненной пепельнице, и тогда большая кровать с никелированными шишечками прогибалась под двумя телами с протяжным вздохом.

После небольшой увертюры и не всегда удачного завершающего аккорда к звуку тикающих ходиков прибавлялся негромкий храп с тоненьким присвистом. Муся удивлённо примеряла на себя эту чужую размеренную жизнь, может быть ей даже казалось, что она счастлива.

Как мог бы быть счастлив изголодавшийся и бездомный, которого усадили за стол и дали тарелку супа — полную тарелку супа с плавающими в нём морковными звёздочками, с полезным сливочным маслом, а если ещё и на говяжьей кости! Как мог бы быть счастлив продрогший, поглядывающий украдкой на дверь, за которой не весёлый рождественский снежок и детишки с салазками, а откормленные вертухаи и всюду, куда ни глянь, мертвенно-белое, стылое, и где-то совсем близко остервенелый лай сторожевых псов.

Наверное, это и было счастье, размеренное, ежедневное, отпущенное расчётливой дланью Всевышнего, — есть досыта, не вздрагивать от окриков, не прикрывать лицо руками.

В доме этом не было любопытной кукушки, не пахло можжевелевой водой и камфарным спиртом — всё это осталось позади и даже почти не помнилось, не вспоминалось, только изредка вспыхивало, будто ёлочная игрушка, выпрошенная однажды из желтоватого ватного кокона.

В настоящем не было кукушки, серванта, накрытого жёсткой кружевной салфеткой, сервиза на двенадцать персон, серебряной ложечки «на зубок», изразцов цвета топлёного молока, виноватого покашливания за стеной и этого незабываемого, глуховатого «Мусенька, ты дома?» — да и сама Муся мало чем напоминала ту, прежнюю, — лицо её утратило очарование неопределённости — резче проступили скулы, под глазами залегли сероватые тени, зато заметней стало сходство с отцом, о котором Муся как будто и не вспоминала, по крайней мере в этой другой жизни, воспоминания были неуместны, вредны, даже опасны — они обрушивались в самый неподходящий момент, и тогда всё самое тёплое и светлое вызывало непереносимую боль, гораздо более длительную и безутешную, чем боль, скажем, в отмороженных пальцах.

— Ёня, лисапед, Ёня, — Два круглоголовых пацанёнка в матросских костюмчиках, обгоняя друг друга на новеньких велосипедах, несутся по проспекту Победы среди трепещущих на ветру знамён — примерно так выглядело счастье маленького человечка в косоворотке, о котором, впрочем, он никогда не говорил — только по вечерам, в выходные, после стопки беленькой и блюда жареной картошки неясная картинка оформлялась во что-то почти осязаемое.

За стенкой слева гундосила Нюра-Ноздря, пьяненькая соседка с проваленным носом, а в комнате напротив заходилась в надсадном кашле Герой Советского Союза, — Рымма, Рымма, — он выкатывался в коридор — в накинутом на голый торс пиджаке с болтающимися орденами, отталкиваясь сильными руками от пола, наворачивал круги, производя много шума, давясь и захлёбываясь жёсткими слезами, — Рымма, — на

шее его двигался острый кадык, но Рымма была далеко, в какой-то другой жизни, похожей на парад весело марширующих мужчин и женщин — левой-правой — левой-правой — с ясными лицами, — левой-правой — левой-правой, — ну, Колян, давай, — в разжатые зубы вливалась ещё стопка, и ещё одна, — обхватив подушку в нечистой наволочке, Герой Советского Союза забывался до самого утра, и снились ему новые хромовые сапоги, и весёлые девушки на танцплощадке, и среди них — его Рымма, в раздувающемся крепдешине, со смуглыми коленками и блядской ухмылкой, — сука она, твоя Рымма, — чьи-то губы вплотную придвигались к его уху, обдавая ржавым перегаром, и тут уже деваться было некуда — надо было просто жить, и прикупить на вечер, и стрелнуть папироску, а если повезёт, разжиться маслом у соседей и сварганить яишенку из четырёх яиц.

Близняшки на красных велосипедах продолжали мчаться наперегонки, но видение становилось всё более размытым — они уже не неслись навстречу в раскинутые руки, а нерешительно останавливались на полпути, и тогда плотный лысоватый мужчина доставал аккордеон и влажной тряпочкой смахивал пылинки.

Застывшая у окна Муся закидывала руки за рыжую голову, — Рымма, Рымма, — странно, голос Иван Иваныча был почти детский, с пелушиными переливами, а за окном плакал майский вечер и шуршал по крыше мелкий дождь. Аккордеон стоял в углу, и время от времени сквозь звенящую тишину пробивался тоненький плач — не женский, а мужской. У маленького человечка был высокий, неожиданно высокий голос, и крепкое, нестарое ещё тело, и ласковые маленькие руки, но его женщина куда-то уходила, она всё время уходила от него, хоть и была рядом.

Провожали Ивана Иваныча торжественно, было много венков и музыка, всё как полагается. У идущих за гробом товарищей были красные обветренные лица, за столом не чокались, но заметно повеселели, и непонятно откуда взявшиеся женщины в повязанных платочках вносили еду: крупно порезанную сельдь и жареные пирожки с ливером и капустой.

Муся молча сидела за столом, да и то как-то боком, с краешку, будто не она была хозяйкой в этом вдруг опустевшем доме, — вы кушайте, что вы не кушаете, — чья-то рука подкладывала ей винегрет и серые ломти хлеба, — надо кушать, — лицо женщины напротив расплывалось блином, головы раскачивались, звенела посуда.

Она ела, вначале с трудом, подавляя спазм в горле, а после с извиняющейся благодарной улыбкой, по-старушечьи кивая головой. Поднимала глаза, удивлённая разыгравшимся аппетитом. Подносила ложку ко рту, застывала, внезапно похорошевшая, с налипшими на лоб медными кудряшками. Переводила взгляд на нежный сгиб руки, пальцы, длинные, белые, ещё молодые, с овальными розовыми ногтями, с чистой гладкой кожей.

Кивала невпопад, что было, в общем, понятно — такая молодая, а вдова, — слово казалось чужим, страшным, горьким. Незаслуженным. Будто чужой документ, выданный по чьей-то халатности, позорное клеймо, выжженное по несправедливой ошибке.

Огромный спрут сидел посреди комнаты, шевелил клешнеобразными отростками, угрожающе двигался в её, Мусину, сторону. Безобразным пятном расплзался по полу, подбираясь к ногам.

Казалось, что-то можно исправить. Убить гадину ударом каблука. Выбежать из комнаты, подальше от людей, сидящих за накрытым столом. Сменить паспорт, прописку, имя. Уехать. Куда? Дома надвигались, оседали, переулки перекрещивались, упирались один в другой, выходили на одну и ту же улицу, к жёлтому дому с помигивающими окнами. Будто по краю воронки бежала она, в ужасе отводя глаза от расплзающихся земляных швов.

На краю воронки было холодно, очень холодно.

У сидящих рядом были красные лица, рты открывались, жевали, застывали будто бы в горестном изнеможении, но ненадолго.

Долго ещё пили и ели, а расходились шумно, как со свадьбы, и галдели на лестнице — мужчины в распахнутых пиджаках, возбуждённые, хмельные, и их жёны, с высокими причёсками под прозрачными газовыми (по последней моде) косыночками.

Наутро Муся обнаружила себя у плиты. Она чиркала спичками по отсыревшему коробку — одну за другой, быстро-быстро. Спички ломались и крошились в её руках, она натыкалась на столы, хватала чайник и удивлённо смотрела на льющуюся воду. Какие-то люди входили, спрашивали, трясли её за плечи, но Муся смотрела мимо. У стены, выкрашенной ядовито-зелёной масляной краской, стоял её отец, Эфраим Гольдберг.

Прижав ладонь к груди, он молча смотрел на неё, — тихо, папа, — ей мешали все эти чужие люди. Хотелось услышать знакомый голос: «Мусенька, мейделе<sup>1</sup>» — но отец только молча стоял у стены, и рыжие волоски поблёскивали на его совсем живых веснушчатых пальцах.

С тех пор отец часто приходил к ней и даже присаживался на краешек незаправленной кровати. Муся совсем опустилась, волосы стали тусклыми, кожа — бледной и сухой. Она с трудом доживала до вечера, слоняясь по неприбранной комнате, а потом долго сидела в темноте и смотрела на дверь, и всё повторялось — отец и дочь, смеясь и соприкасаясь руками, рассказывали друг другу странные истории.

Из комнаты доносился счастливый смех, а утром всё возвращалось на круги своя — спички, чайник, вода, спички.

\* \* \*

По странному стечению обстоятельств жизнь моя пересеклась с Мусиной в салоне авиалайнера компании «Эль-Аль».

Женщину с документами на имя Марии Эфраимовны Гольдберг сопровождали две немолодые сиделки. Вполголоса они переговаривались о чём-то за моей спиной, время от времени хватая разбушевавшуюся старуху за тощие руки. Со странным упорством эти самые руки тянулись с обеих сторон, не давая насладиться первым путешествием в страну молока и мёда.

Сохнутовский паёк был проглочен наспех и долго стоял комом в горле, а за спиной моей возмущённо чирикала седовласая девочка с

---

<sup>1</sup> Девочка (*идиш*).

плаксивым лицом. Обернувшись, я встретила с нею взглядом: глаза были абсолютно осмысленные, как будто обладательница их что-то пыталась сказать, о чём-то предупредить, но растеряла нужные слова.

Хотелось рвануть на себя наглухо задраенное окошко и оказаться где-нибудь на Крите, но самолёт благополучно долетел до места назначения, потому что история Муси Гольдберг должна была завершиться на земле предков, в глухом ближневосточном городишке на севере страны, среди таких же, как она, плаксивых мальчиков и девочек её года рождения, — так было записано в одной таинственной Книге, которой никто никогда не видел, — уверена, там есть и моё имя, может, именно вам посчастливится найти его, как знать, как знать, — куда бы ни вели следы, они приведут вас туда, где вы должны оказаться, и никто не сможет встать на вашем пути.







ЛИМПОПО

## РЕГТАЙМ

И тогда Штерн сыграет лучшую из своих тем — конечно же, на лучшей из своих скрипок, невзрачной, покрытой потускневшим лаком, миниатюрной, не слишком плоской и не чрезмерно выпуклой, исторгающей глубокий и плотный звук, похожей на маленькую Элку Горовиц, ту самую, которая несётся скорым поездом в южном направлении, покачивается на верхней полке, некрасиво приоткрыв рот и обхватив плечи своего мужчины — это Робсон, Поль, Пауль, Пабло, Пашка, рыжая сволочь, наглая рыжая дрянь, любимая талантливая дрянь, — вот этого Штерн ему никогда не простит, — обнявшись, они просидят до утра в кольцах едкого дыма, в просторной кухне на втором этаже добротного сталинского дома, — худой взъерошенный Штерн в облезлых тапках и растянутой трикотажной майке невнятного цвета, — какой же ты гад, Поль, гад, — в сизом дыму и дымке рассветной, лиловой и розовой, они просидят до утра, захлёбываясь плиточным грузинским чаем, слезами, внезапными приступами смеха, похожими на лопающиеся пузыри, — посреди рюмок, стаканов, окурков, вдавленных в блюдца, — короткая, — скажет Робсон, сжимая веснушчатými пальцами спичку, а сонная, ничего не понимающая Элка выйдет из комнаты, в зевке раздирая великолепную цыганскую пасть, лужёную свою глотку, — хорош галдеть, мальчики, я вас люблю, — протянет она простуженным басом и обнимет первым грустного Штерна, а потом — торжествующего Робсона, — короткая, — ухмыльнётся тот и по-хозяйски возложит длань на смуглое плечо, выступающую ключицу, усыпанную коричневыми родинками и веснушками, а потом легко подхватит своими лапищами, сгребёт и унесётся на пятый этаж, в свою бер-

логу, — любить до полного изнеможения — вот такую, сонную, не вполне трезвую, пропахшую Штерном, его рубашками, его узким желтоватым телом, его безыскусной упрямой любовью.

Немного робея, Элка взойдёт на ложе Робсона, в его никогда не заправляемую постель, возляжет на ветхие простыни, но это случится потом, а пока она будет любить Штерна, как любят первого, — просто за самую любовь, — все эти мальчишеские поцелуи, — вжимая колючую голову в живот, его глупую голову, не понимающую ничего в настоящей взрослой любви, — которая случается, — слышишь, Штерн? — она просто обваливается на тебя — ураган, вихрь, и тогда всё, что мешает ей осуществиться, состояться, быть, — отходит, опадает, как прошлогодние листья, как жухлая трава, — все эти наши смешные словечки, и это сумасшествие, бегство по крышам на ноябрьские, милицейский свисток, ветер с дождём, а потом — помнишь, что было потом, Штерн? — как мы согревались плодово-ягодным в высотке на Ленина и заговорщицки подмигивали друг другу, — тоже мне диссиденты, — а потом ты свернул флаг и попросил — спрячь, Элка, — и я унесла флаг к себе и пристроила в платяном шкафу, и он чудесно ужился там вместе с моими лифчиками и драными джинсами, — а что было потом, Штерн? — Элка смеётся, уронив бедовую голову на скрещённые руки, и Штерн несмело водит ладонью — туда-сюда, туда-сюда, вдоль выступающих позвонков, сдвигая тонкую ткань, — бледный, взмокший, с искривлённой дужкой очков, он водит смычком, поджав нижнюю губу, — выводит соль, а потом — ля, — ещё, мычит Элка и вливает второй стакан, её уже мутит, и кислая волна подкатывает к гортани, — ещё, мычит она, — ей всегда мало, всегда, — она рычит, и выпивает залпом, и рушится, обваливается, вместе с потолком, кроватью, люстрой, и тогда уже Штерн, смелая, втискивает узкую ладонь изощрённейшим способом, и там уже выжимает, выкручивает, вытряхивает хрипкое соло из Элкиной гортани. Давай, Штерн, давай, миленький, — воет она, впиваясь ногтями в его бледный живот с голубеющей ямкой пупка, и мучит, и рвёт, наяривает свой знаменитый бэк-вокал.

И тогда Штерн, переступая через разбросанные там и сям, как это и положено при настоящей взрослой любви, — переступая через клет-

чатую ковбойку, маленький чёрный лифчик, хлопчатобумажную майку, — где мои трусы, Штерн, где трусы? — что-то смешное, трогательное, кружевное, донельзя условное, — он нашаривает лохматые тапки и бредёт, спотыкаясь, в ванную комнату и там гремит чем-то, тазами, миской, — шумит газовая колонка, — вначале кипяток, а потом — опять холодная, — он жадно припадает к крану с холодной водой с привкусом хлора и ржавчины.

Это потом, позже, появится Польша, Пауль, Паоло, Пабло, с никогда не дремлющим саксом, с Колтрейном, Вашингтоном, с птицей Паркером, со стариной Дюком, — в сталинских домах высокие потолки, прекрасная акустика, — женский смех, голубиные стоны, просто дружное мужское ржанье вперемешку с повизгиванием и рёвом, с переливами сакса, воплями трубы, и, конечно, хриплое камлание под гитару, и неприменный Высоцкий, куда же без него, и «Машина», и жестянка с окурками между четвёртым и пятым, и эти постоянно снующие молодые люди в палёной джинсе, заросшие по самые глаза, — это потом будут имена: Алик, Гурам, Сурик, бесподобнейший Барух, Спиноза, — бессонные ночи как нельзя более способствуют скоропостижной любви, а ещё столкновения на лестнице, с мусорным ведром и без, в шлёпках и небрежно наброшенной рубашке, незастёгнутой на впалой груди, поросшей рыжими кольцами волос, — возносясь над распятым Штерном, Элка достигнет пятого этажа, где после шумной ночи засыпает король соула и свинга — рыжеволосый, горбоносый Робсон, — будто маленькая чёрная птица, впрхнёт Элка Горовиц в распахнутое окно и, расправив крылья, будет биться о стены, умирая и возрождаясь вновь, как синекрылый Феникс.

И тогда Штерн сыграет лучшую из своих тем — хотя нет, это было бы слишком красиво, — скрипка будет лежать в одном углу, а Штерн — в другом. Раскинув руки, с подвёрнутой штаниной, он будет считать такты и ступеньки, дни и часы, — расстояние до пятого этажа длиной в два пролёта, расстояние Киев — Краснодар — Сочи — Адлер — Сухуми, пока длится горячечный медовый месяц, в июльской испарине, в августовском сухостое, — пока скачут рваной синкопой дни сытые и дни

голодные, а больше голодные, весёлые и голодные, под рёв робсоновского сакса будет извиваться Элка Горовиц в маленьком чёрном платьице, всё более и более тесном в груди и бёдрах, — и даже небольшой обморок прямо на сцене не насторожит будущего отца, — только немолодой врач-армянин, сухощавый, едва ли не в пенсне, с шаумяновской остроконечной бородкой, ополаскивая кисти рук, белозубо улыбнётся растерянному отражению в зеркале: а вы кого хотите — мальчика или девочку? — мальчика? — переспросит Элка пересохшими губами и поспешит к восьми часам в Дом культуры — бледная как мел, с ярко накрашенным ртом, в тот вечер она превзойдёт самое себя, исторгая звуки плотные и низкие, вторя Пашкиному саксу, вступая чуть раньше, опаздывая ровно на полсекунды, — вдоль и поперёк, вниз и вверх, диафрагмой, грудью, животом, — упираясь ногами в дощатый пол сцены, она возьмёт ноту, от которой замрёт, а потом взорвётся зал, и, мокрая, с блестящей голой спиной, рухнет в объятия Поля, Пауля, Пабло, — ты гений, малышка, — выдохнет Робсон в духоту гостиничного номера, называя её на себя, глядя снизу, сверху, раскачиваясь, подтягиваясь на локтях, запорокивая, впиваясь в солёный затылок.

И когда, придерживая чуть выступающий живот, она будет озираться в поисках, конечно же, его, Штерна, он будет рядом, со стеснённым дыханием, поглядывая на неё искоса, хватать сумки, набитые цветным курортным тряпьем, южными персиками, чем-то ароматным, сладким, непозволительно сладким в октябре, впрочем, как и её ровный загар — везде, Штерн, везде, — ему представится случай в этом убедиться, и её легкомысленный наряд, что-то такое на бретельках, опасно ускользающих, — она шла чуть впереди, семенила, переваливаясь, будто уточка, что делало её как-то по-новому уютной, домашней и совершенно неотразимой в глазах Штерна, — дойдя до второго этажа, она приостановится и нерешительно посмотрит на него. Снизу вверх.

А потом будет праздник, курносенькая строгая сестричка протянет туго спелёнатый свёрток, неожиданно плотный, — эх, папаша, — вздохнёт и рассмеётся его неловкости, — свёрток закряхтит и выгнется дугой, — ай, какой у нас краник, ай, какие у нас глазки, — запоёт Элка,

целуя животик, пальчики, пяточки, бойко орудуя всеми этими приспособлениями — присыпкой, спринцовкой, весами, — подожди, пусть отрыгнёт, — деловито сообщала она и укладывала Фила ему на плечо, — затылочек, головку! — он уже и сам знал, и ладонью придерживал головку, и вдыхал аромат ванильных складочек, с опаской касался атласного ушка и смотрел, как Элка сцеживается — свесив косо срезанную чёлку, высвобождает всё это великолепиие из тугого лифа на специальных пуговичках и плотных ляжках, — кожа на груди переливалась голубым и жемчужным, а сосок из маленького сделался огромным, — кровать стояла у стены, и Штерн привычно вскакивал, едва заслышав неуверенное кряхтение, — опять мы мокрые, опять мы мокрые, — бормотал он, раскладывая перетянутые ниточками ножки, — мальчик размахивал зашитыми рукавами распашонки, косился куда-то в сторону, икал, пока однажды с осмысленным выражением не уставился прямо на Штерна — голубыми робсоновскими глазами, — ну вылитый Робсон, — констатировала Элка и убежала на молочную кухню, и тогда Штерн осторожно извлёк из футляра скрипку.

Малышу должен был понравиться Крейслер.

Робсон ворвётся почти без вещей, как всегда, налегке, — простуженный, осунувшийся, немного отчуждённый, — во время ночного чаепития на штерновской кухне мужчины будут странно-молчаливы, и только Элка шумно деятельна, как-то совсем по-взрослому, будто ей и дела нет до мужских разборок, — её дело — вовремя дать грудь и сменить пелёнки.

Под утро Робсон поднимется к себе, а Штерн вздохнёт с облегчением, нашарит лохматые тапки, выключит свет, — сонная Элка рядом, дышит в ключицу, кровать с мальчиком в углу.

Мальчик успокаивался при первых звуках скрипки. Элка где-то носилась, — растрёпанная, в драных ливайсах, — Штерн предпочитал не спрашивать, по хлопку входной двери он определял, что произойдёт дальше, — идеальный слух не подводил, — она опять летала. Со второго на пятый она взлетала, как на качелях, и синие тени пролегли под глазами, — Штерн, миленький, спать, — бормотала она, и поворачивалась спиной, и кротко вздыхала, как сытая кошка, дышала негой и теплом, чу-

жим теплом, — почему бы тебе не остаться там? — спросил он в спину, но ответа не последовало, — она спала как убитая или делала вид, что спит.

Понимаешь, Штерн, здесь никому не нужен джаз — он вне закона, — Элка затыгивалась сигаретой, судорожно давила окурочок в пепельнице, — иное дело классика. Она будто играла в какую-то игру, притворяясь взрослой, и повторяла чьи-то слова, смахивая отросшую чёлку со щеки, — она всегда играла — в первую любовь, в роковую любовь, в чудесную игру — «Элка — будущая мать», «Элка купает Фила», — наверное, только там, наверху, она была настоящей — плачущей, смеющейся, счастливой, несчастной, — Штерн кивал, но голова его была занята другим — он понимал, что разлука с маленьким Робсоном неизбежна, понимал всё более явно и отодвигал эту мысль куда-то на задворки.

Мальчик жил на два дома, но засыпал у него, вначале в кровати, потом рядом, на старом топчане, — странное дело, он называл его, как и Элка, Штерн, — только без буквы «ша» и «эр», — Стэн — сказку, — командовал он и вытягивался в постели, шевеля пальчиками ног, — вытягивался и вновь сворачивался калачиком и, насупившись, терзал его, штернов, палец, — короткая, Стэн, — недовольно извещал Фил — он любил длинные сказки, непременно с хорошим концом, чтобы все оставались счастливы, жених и невеста, и старик со старухой, и три поросянка, и Иванушка-дурачок, и Штерн послушно продолжал — вторую серию, третью, тридцать третью, пока мальчик не отпускал его руку, — никто не протестовал, — Элка выясняла отношения на пятом, — гоняла крашенных лахудр, неопасных, но нескончаемых, как непреложное доказательство жизни, — бушевала, замыкалась, вновь улетала, возвращения становились болезненными для всех, — дом на втором этаже по-прежнему существовал, но на пятом была жизнь — мучительная, рваной синусоидой, с ломкой, ремиссией, обманчивым затишьем.

Так будет лучше, Штерн, — для нас всех будет лучше, — едва решение принимается, всё устраивается само собой, по инерции, — она носилась с документами, оформляла, подмазывала, где надо, будто всю жизнь только этим и занималась, будто там, в стране мыслимых и немислимых возможностей, Робсон утихомирится и станет законопос-



лушным и уважаемым, а она, Элка Горовиц, наконец обретёт душевное равновесие и почву под ногами. — А джаз? — что джаз? ты что, не понимаешь? здесь ничего не будет, мы все погибнем, как Барух, как Курочкин, и джаза не будет, здесь ничего не будет, Штерн.

\* \* \*

Отъезд походил на нескончаемый джем-сейшн. Народ толпился, кучковался — на пятом, на втором — в пролётах между третьим и четвёртым, слышна была английская речь, грохот посуды, чей-то писк, визг трубы — будто вернулись добрые старые времена, — на ступеньках раскачивался в дым пьяный чех Яничек, он щекотал хохочущего Фила, взлетающего вверх-вниз со спущенными лямками комбинезона, — кто-то с четвёртого грозился вызвать милицию и вызвал-таки, — участковый, низкорослый, с пшеничными кустиками бровей и птичьим носом в бисеринках пота, помялся для приличия с грозным видом, но быстро ретировался — он любил «Песняров» и песню про Вологду и понятия не имел, кто такие Эндрю Хилл, Сэзил Тэйлор или Арчи Шепп, — здесь всё было чужое, чуждое, нерусское какое-то и всё-таки русское — здесь наливали, шумели, плакали, и если бы ещё кто-то кому-то дал в морду, но нет, они как будто не пьянели, — всё же здесь распоряжалось иное ведомство, из тех, что спуют неприметно, в штатском, — их никто не вызывает, они появляются сами, сливаются с толпой, — послушай, дружище, — завтра, завтра здесь будет тихо, веришь? — Робсон огромными ручищами обнимал участкового и провожал к выходу, передавая кому-то косяк, пожимая пять через голову, — но прежде он успевал очаровать, влюбить его в себя, — вот так со всеми, — рыдала Элка у Штерна на груди, — так со всеми, — все любят Робсона, а он — только джаз. Подтягивались околобогемные типчики, промышляющие фарцой, в вельюре и вельвете, в рубчик и ёлочку, на чехословацкой и гэдээровской платформе, — малознакомые чувихи — долговязые девы, отважные боевые подружки — натурщицы, манекенщицы, балерины, продавщицы и просто отзывчивые гёрлз, — они обнимали Робсона на пятом и плакали у Штерна на втором, — на третьем они успевали потискать пере-

мазанного шоколадом Фила, обнять Алика, Сурика, Гурама и помянуть Спинозу, завершившего свой полёт в прошлом году.

Автобус подъехал вовремя, в полдесятого утра, — об этом позаботился пунктуальный Штерн, — вот тут опять поднялась кутерьма, неразбериха, — Робсон уже стоял внизу в распахнутом кожаном пальто и красном шарфе — таким его и запомнят, — с футляром, с запрокинутой головой червонного золота, уже тускнеющего, — Штерн, помоги, — Элка, бледная после бессонной ночи, одними глазами указывала на взъерошенного мальчика, — тот стоял над лестничным пролётом, вцепившись в решётку, — а я никуда не поеду, — во внезапно образовавшейся тишине его голос прозвенел как натянутая струна, и только Штерн смог взять ситуацию под контроль и, опустившись на корточки, улыбаться, гладить по спутанным волосам, один за другим разнимая онемевшие пальцы.

## ПОБЕГ

Это потом мы стали присматриваться друг к другу — кто первый? Кто станет первым, кто прорвётся к финишу?

Ведь ничто вроде бы не предвещало. По-прежнему кружилась и подпрыгивала разноцветная карусель, отмечались дни рождения, переходящие в затяжные праздники, праздники по поводам и без оных — а уж эти-то и были самыми упоительными.

И даже юбилеи пока не омрачали нашего путешествия.

Мы родились, чтоб жить вечно, — разве не так? — разве не об этом пели фонтаны, ночные фонари, кроны деревьев? Разве не об этом был каждый прожитый день — не о вечной и прекрасной жизни?

Нам повезло. Нам действительно повезло, и даже нелепое исчезновение Рафа, всеобщего, а в особенности женского любимца, — этого вечного ребёнка, печального отрока с налитыми сумеречной влагой глазами, немножко коровьими, бесконечно добрыми, — и даже исчезновение Рафа в день его тридцатитрёхлетия не могло остановить карнавного шествия.

В том году нам всем исполнилось по тридцать три. Волшебный год!

Ничто не предвещало, напротив, — даже тяжёлые дни, наполненные нешуточным отчаянием, — даже голодные и неудобные дни были всего лишь предтечей того прекрасного, что брезжило.

Ещё смешными и неопределёнными казались цифры сорок или, допустим, пятьдесят. Пятидесятилетние считались мэтрами, учителями. А мы могли пока наслаждаться, не заботясь о том, какими будем выглядеть в глазах тех, кто идёт за нами.

За нами вообще ничего не было. С нас начиналось и нами же заканчивалось.

Вот если бы кто-нибудь, если бы кто-нибудь воскликнул, затормозил, заставил замолчать и остановиться...

Вот если бы кто-нибудь сказал о том, что буквально год остаётся до знаменитого прыжка Баруха или пять — до головокружительного полёта Штерна, милейшего, смешнейшего, интеллигентнейшего Штерна, не видящего на расстоянии вытянутой руки, а вот, поди ж ты, героя. Такого незаметного героя с тонкими вяловатыми запястьями длинных рук, выпирающим кадыком и подпрыгивающими на носу нелепыми очками.

Если бы хоть кто-нибудь предвидел, каким опасно скользким в предзимний, но всё ещё осенний день окажется скат крыши и неровный острый край, за который совершенно бесполезно цепляться пальцами, — цепляться за ускользящие края, обламывая ногти и слыша собственный крик, не крик даже, а вой, уносящийся в глубину ночи. И если бы кто-нибудь предвидел хладнокровие, с которым те, другие, заглянут в пустые, но всё ещё полные недавнего ужаса глаза и констатируют то, что так или иначе должно было случиться.

И если бы кто-нибудь мог объяснить, как, каким непостижимым образом занесло Штерна на крышу многоэтажного дома — луна, звёзды, мечты? Влюблённость, отчаяние? А может быть, тривиальная рассеянность? Жюль-верновский герой, тощий Паганель, восторженный и близорукий. Кто загнал его туда, зачем, для чего? Втолкнул либо же отвёл за руку, придерживая острый локоток, ещё и посвечивая фонариком, — осторожно, мол, ступеньки, — а вот здесь — опасно, не расшибите себе лоб, дорогой маэстро...

Конец прекрасной эпохи начнётся внезапно и совсем не в тот день, и не в том году, когда для воспоминаний уже не останется места, и не тогда, когда уйдут последние, кому всё это ещё интересно.

Кто-нибудь видел сутулую спину Баруха — кто-нибудь видел его заплетающиеся шаги? Кто-нибудь видел ту самую проклятую бумажку, которую тот якобы подписал? Или всё-таки нет? Той самой ночью, в том самом казённом доме, в котором такие длинные тёмные коридоры — длинные, тёмные и узкие, — неужели специально, чтобы идущий по ним чувствовал своё беспредельное одиночество либо же смрадное дыхание идущего за спиной?

В коридорах этих всегда недостаточно воздуха, а форточки в окнах настолько малы, что никакая птица...

Случайно, скажут они, — а даже если и нет, — вы же понимаете, какие неуравновешенные эти эстеты, романтики и циники, — для них нет ничего святого, даже собственной жизни...

Мы назовём это полётом, побегом, прыжком, но уж никак не хладнокровным убийством.

Признаться, мы страшились этого слова и не хотели видеть опасности, которая подстерегала на каждом шагу.

Итак, Раф исчез первым — нет, не умер, не сошёл с ума, не замёрз в сугробе, а просто ушёл по усыпанной опавшими листьями дорожке — прохладным, но всё ещё тёплым октябрьским вечером, — укутанный туманом, впрочем, как и весь город, утопающий во влаге и испарениях к вечеру и слегка подмерзающий к утру.

Никто не видел, как ушёл он, но всегда находятся свидетели, которые ничего точно не утверждают, а только делятся предположениями: да нет, всё-таки он был похож на нашего Рафа — тот же развевающийся на ветру плащ, широкополая шляпа и та же тьма египетская в подглазьях.

Склонные к художественным преувеличениям свидетели вряд ли могли установить день и час — то ли до октябрьских, то ли после, — да нет, это после того, как мы обмывали приезд Сола, или до того, не помнишь, старик?

Сол действительно приезжал в октябре — обваливался на туманный, влажный, сонно-прекрасный и золотой город, и тогда начинался тот самый угар, после которого долго велась переключка, потому что вечер сменял утро непонятно какого дня и тут же переходил в ночь, а потом опять в день, ночь и утро, и тут уже мало кто помнил, кто, с кем и куда ушёл.

Некоторые помнили, что Раф приходил, вроде бы появлялся с Росой, но с Росой приходил не только он, — мало ли кто мог приходиться с нею, рождённой исключительно для того, чтобы слыть и быть музой, причём всеобщей музой — музыкантов, художников, просто артистов, обладающих художественным... э-э-э... чутьём и ведущих вследствие этого беспорядочный, но, видит бог, головокружительный образ жизни.

Отчего же это было ему не появиться с Росой, Роситой — застыть в проёме двери, запечатлеться в чьей-то памяти таким вот восторженным

сдвоенным автопортретом: с кокетливо изогнутым бедром — женским, разумеется, с неровно подмазанными губами, с заросшей трёхдневной щетиной впалой щекой и миндалевидным оком, рассечённым косо падающим лучом из тусклой лампочки прихожей.

С таким же успехом на месте Росы могла появиться любая другая, — странные эти художники, а также всякий околхудожественный люд — никакая печать не скрепляет их уз, и оттого вольны они как птицы, на зависть всем прочим, волокущим тяжкие гири долга.

И всё же, всё же и в этом мире случается некое подобие постоянства — ну хотя бы постоянства захламлённых берлог, подвалов, мансард, в которых то холодно и пусто, то вдруг сыто, пьяно, весело, — и утро начинается с пронизывающего холода в местах общего пользования, со скорченными, а то и вольготно там и сям раскинувшимися фигурами, спящими поодиночке, по двое, а то и по трое на гостеприимных диванах, тюфяках и подушках.

\* \* \*

После соития женщина должна лежать, подогнув колени, по возможности как можно дольше.

Она должна лежать, улыбаясь во тьме, похожая на плывущую баржу или взмывающий дирижабль, с надутыми парусами бёдер, округлого живота, спутанных волос.

Женщина после соития должна улыбаться собственному отражению в тысяче иных миров — принадлежать только себе, вслушиваться в тайное, ещё невидимое никому и даже самому господу богу.

Лежащая на спине, со вздыбленными коленями, каждое из которых обцеловано Рафом, да и не только им, обцеловано и воспето, — с прельстительно изогнутыми ступнями, с изгибом шеи и разворотом ключиц, — это совсем не та женщина, которая, стуча зубами, в наброшенном кое-как, а потом сброшенном халате, хотя вряд ли халате — скорее,

безразмерной мужской рубашке, расстёгнутой, будто созданной для того, чтобы драпировать хрупкие женские плечи и оттенять узость запястий и внезапную мощь обнажённых бёдер, — так вот, это совсем не та женщина, которая, раздирая рот в зевке, нашаривает выключатель, зажигалку, спички — отворачивает кран с горячей и холодной водой, чертыхается, роняет, чиркает, вставляет сигарету в отверстие рта — истерзанного, смазанного долгими терпкими поцелуями, — и совсем не та, которая стоит у окна, — уже немного отдельная, другая, уже провожающая так быстро промелькнувшую ночь полным сожаления и неги взглядом.

И уж совсем не та, которая вдыхает всё то, что предлагает ей утренний город, — воскресный, рассветный, с едва слышным колокольным перезвоном из ближайшего монастыря.

Если выйти из подъезда, свернуть налево и спуститься по ступенькам вниз, то окажешься либо в приюте для слепых и немощных, либо в сестринских объятиях послушниц, но мы двинемся дальше, пресыщенные событиями ночи и всех предшествующих ночей, от описания которых воздержимся, ибо...

\* \* \*

Итак, лежащая с устремлёнными ввысь коленами, по всей видимости, была той самой Росой, сбежавшей от законного супруга в одной ночной сорочке, — той самой музой, уже не впервые сотрясающей обитель художника дикими воплями и звериным воем.

История Рафа и Росы уходила корнями в далёкое прошлое, когда ясноглазая отроковица в спущенных гольфах и коричневом школьном платье улыбнулась идущему через сквер погружённому в сновидения Рафу.

Погружённый в сновидения художник вроде бы и не собирался пробуждаться, а возможно, так и не протрезвел, посчитав случайную

встречную улыбку, одновременно безгрешную и ошеломительно порочную, с завёрнутой верхней губой над ровным рядом крепеньких зубов и особенно двумя хищными резцами, поставленными так обаятельно косо, — посчитав всё увиденное продолжением сновидения, ночного полёта.

Он так и не проснулся, но улыбка идущей по дорожке сквера девочки закрепилась где-то там, в пульсирующем сознании, и пролилась чистойшей прелестью у же на холстах — холстах, картонках, листах ватмана.

Это после уже, опознав в искушённой девице, прикуривающей на лету, в опасной близости от его, Рафова лица, рта, языка, — в рисунке скул, в тяжёлых опущенных веках, ту, запечатлённую сотни, десятки сотен раз...

Это потом уже длилось и длилось исступление в мило обставленной, немного крикливо и по-мещански, квартирке, — это потом грозило расправой от рук с довольно внушительными бицепсами, принадлежащих некоему чину, состоящему в рядах славных органов, — лицу совершенно случайному в пёстрой Росиной биографии, но тем не менее имевшему место, своё законное место и время, недолгое, впрочем, как всё, что происходило в её беспорядочной жизни.

История завершилась позорным бегством с комическим и, безусловно, феерическим спуском по водосточной трубе.

С белеющим над ночным городом, развевающимся, будто флаг, краешком Росинога белья... С тем самым бесстыжим шёлком, шёлком и велюром, нанизанным на его, Рафа, тощий остов, — вопреки всем угрозам и всем ветрам.

Это потом, после многократных измен и примирений, никто уже и не припомнит, что послужило поводом для внезапной близости — то ли



очередное фиаско Росы на семейном фронте — видит бог, ну не создана она была для ежедневного прозябания, а исключительно для блеска, огня, сжигающего подчас, но и воспламеняющего...

То ли извечная отрешённость художника, сквозь дымку очарованности постигающего мир, а следовательно, и самого себя — склонного скорее прощать и забывать, нежели помнить и накапливать обиды.

Обиды не задерживались в его сознании, утекали сквозь пальцы, точно вода или песок, — и только способность согреть в ладонях озябшее, всегда прекрасное, дышащее, всегда немного чужое и бесконечно близкое...

В общем, говорят, накануне исчезновения Рафа они были вместе.

\* \* \*

Знала ли она? Подозревала? Плакала? Умоляла остаться? Либо же хотела уйти с ним?

Дыхание разных мужчин оставляет следы на коже женщины. И разве искажённое страстью лицо могло быть тем самым, увиденным в сквере...

Роса, вечно чужая жена и любовница, — ничья, слышишь, ничья! — в ответ на немой вопрос захлебнётся, подавится всхлипом, скупой и лживой слезой, способной растопить сердце, допустим, бравого молотобойца в форме или, берите выше, какого-нибудь облагороженного сединами полковника того самого ведомства, в котором пыльные папки с тесёмками высятся до самого потолка, а в папках тех — имена, фамилии, снимки, слова — Штерна, Баруха, Рафа — вот, чёрным по белому — все до единого — пронумерованные, проштампованные, отмеченные в нужных местах фиолетовыми чернилами и красным карандашом.

Нашлись и те, кто утверждал, что следы Рафа отыщутся в Израиле, в пыльном городке Беэр-Шева, в небольшой съёмной квартирке, регулярно обстреливаемой самопальными арабскими ракетами.

В небольшой квартирке под крышей, а следовательно душной, но и продуваемой южными ветрами вперемешку с песком.

Другие упоминали о северных землях Рейна или Гессена — но это уже начало иной истории, вовсе не Рафа, а другого человека, носящего то же имя.

Если учесть, что организм наш на добрую долю состоит из жидкости, а уровень её мы постоянно восполняем и потребляем в виде крепкого кофе, чая с лимоном и без, минеральной воды и воды из-под крана, а вода эта бьёт из источников и скважин, пробитых там и сям на истерзанном теле Земли, то от места нашего пребывания меняется состав крови — и следовательно, мы сами — и то, что вчера называлось Рафом, сегодня окажется чем-нибудь иным.

И грустные глаза Рафа нальются совсем уж собачьей тоской, сухой, даже волчьей, острой, пустынной, хотя как знать, возможно, разросшийся заговор прибавит вальяжности и чувственной влаги.

Либо же, напротив, не тоской, а жизнелюбием, которое даётся не просто, а в результате многократных поражений и потерь, бесконечных сделок, соглашательств, компромиссов и примирений — с миром, с ближними, дальними, с самим собой, наконец.

Жизнелюбием, которое равносильно смерти. Как итог, жирная черта, перечёркивающая тебя вчерашнего, со всеми твоими взлётами, падениями, иллюзиями и избавлением от них.

Жизнелюбием, сменяющем крушение точно так же, как respectable костюм сменяет обтрёпанные джинсы хиппи.

Нет, тот, другой, которого видели в благополучном городке Дюсельдорфе или в Висбадене (говорят, там воды, много минеральных вод и прелестных крепкозадых девчонок), — тот, с клетчатым саквояжиком, листающий газету над утренним латте, никак не мог быть Рафом — ведь Раф и слова-то такого не знал — латте, а кофе пил трижды горький, перемолотый собственноручно в древней машинке с отбитой рукоятью — жернова которой проворачивались с величайшим трудом, а если не проворачивались, то кофейные зёрна разгрызались тут же, — белыми, ещё не знающими поражений зубами, — а тут какой-то латте, одна насмешка, а не кофе — убелённый добропорядочной буржуазной молочной пеной, и рядом — сытая ясноглазая фрау из местных, щекочет Рафину шею прозрачным ноготком.

Но и в Висбадене, говорят, полно наших сумасшедших, диссидентствующих по старой привычке, прикуривающих от зажжённой конфорки, встречающих новый день припрятанной с вечера заветной маленькой и, видит бог, кладущих на всю эту хвалёную бюргерскую аккуратность и обязательность — все эти мелкие социальные подачки в виде, допустим, двухэтажной студии с премилым балконом, с которого видны все их живописные башенки, готические верхушки и игрушечные кирпичи.

\* \* \*

Нам было по тридцать с хвостиком — Стасу, Штерну, Рафу, Баруху, — когда исчез Раф, когда отбыл в новую жизнь огненный Робсон — вместе с тяжёлым своим саксом, с чужой женой Элкой и их общим ребёнком — Элки, Штерна и его, Робсона, когда подался в ортодоксальное православие пижон и гусар Хаш — джазмен, знаменитый своей октавой, то есть расстоянием от мизинца до большого пальца, — той самой октавой, которая одинаково вольготно охватывает ряд тускло-жёлтых клавиш и округность женского живота — вдоль и поперёк. Когда плотная смуглая кисть возносилась над клавиатурой и застывала на добрые полминуты, готовая пролиться ностальгическим «Ов сирун сирун», вряд ли находился тот, кто сдерживал чистейшую, горчайшую, светлейшую

слезу или протяжный вздох, сродни детскому всхлипу, предтече безудержного рыдания.

Город был ещё тем самым, со старых чёрно-белых снимков и любительских записей, — стихийным, развесёлым и отчаянным местом, по которому не только прогуливался любознательный турист, но в котором жили, ютились, женились, разводились, сходились опять, рожали общих детей — из которого улетали, уезжали навсегда, а как же иначе, и в который непременно возвращались.

Другими, усвоившими уроки жизнелюбия, без которого, говорят, до старости не дожить.

Возможно, где-то обитает и Рафина дочь — Рафы и Росы, конечно же, — юная дива в гольфах, да что там, полосатых чулках, натянутых на высокие юные бёдра, — всё та же синева в подглазьях и этот влажный, безгрешный и порочный блеск...

Будто сошедшая с Рафиных полотен, увиденная в жарком сне девочка — привет из далёкого будущего, в котором нам страшно сказать сколько лет, — нет, лучше остановимся на тридцати трёх — это замечательный возраст, в котором возможно всё.

## ВСЁ КАК ВЫ ЛЮБИТЕ

Некоторые устроились вполне неплохо, например мальчик из акварелью писаного киевского дворика — немножко полноватый мальчик с оттопыренной нижней губой, хороший еврейский мальчик женится на однокласснице, конечно же, а вы думали, на шиксе с вот такими ногами из подмышек и прохладными даже в эту жару водянистыми глазами, вот

этими водянистыми глазами она смотрит не видя, а что смотреть, что и кого можно видеть через прилавок, из девочки получилась способная жена хозяина продовольственной лавки и способная кассирша — как ловко она отбивает чечётку своими наманикюренными пальчиками: сыра двести, плитка шоколада, бутылка вина — глаз у неё профессионально безразличный, тем более муж тут неподалёку, рубит кости, что-то? вы не ослышались, кости, пятница — базарный день и у нас всегда свежий завоз: парная телятина, индейка, свинина, — хороший еврейский мальчик ловко управляет с настоящей бараниной на плов, со свинными стейками, воловьими костями, с нежной филейной частью, кострецом, вырезкой, огузком, с куриными окорочками, гусиными шеями, рёбрышками, у хорошего еврейского мальчика густо-волосатая грудь и руки по локоть в крови, кошерно, ещё как кошерно, — смеётся он, утирая пот со лба, — табличка с отпечатанным на принтере благословлением раввината над Фиминой головой, табличка, за которую плачено немало, и мезуза у входа, у самых ступенек, — тебе сколько? — у хорошего еврейского мальчика не голова, а счётная машина, живую свинью он уже мысленно освобождает от кожи, головы, растопыренных копытец — отделяет мясо от костей, вырезает аккуратненькие, подковками, стейки, пухлые свиные сердечки — загляденье, подковки переводит в шекели, шекели в доллары, доллары в гривны — по Киеву он ходит королём, весь в белом, когда-то была у него мечта — жениться на самой длинноногой девочке класса и выучиться на зубного техника, вот и сбылось, ну почти сбылось — экзамены он провалил, а девочка всё равно бросила своего физика-ядерщика Головкицера и уехала с ним, пускай не врачом, а с тем, кто день-деньской крутится, продаёт и покупает, а потом рубит, колет и режет, фасует и тасует, а потом — всё равно ведь он в белом, как врач, только вот шея у него раздалась и бока, рубить кость — это вам не на скрипке пиликать, тут опора нужна, крепость всего организма и любовь к этому самому, да, к мясу — жареному, тушёному, варёному, парному — без единой прожилочки, кострецу, лопатке, ошейку, ошмётки алой плоти весело летят в подставленный поддон, в корзинку, в растопыренную пятерню обалдевшего покупателя — разве не за этим куском

он ехал сюда, разве не за этим великолепием, — Ленок, полкило фарша, и полкило сарделек, и банку тунца, и дюжину куриных крылышек, горлышек, ножек, отдельно печёночку, пупочек, — разве не за этим?

Сегодня Фима весь в белом — сегодня отчаливает пароход, а там, вдалеке, красавица Одесса, Одесса-мама, а за ней — склоны Днепра и величественный город на них — золотой, вечный, прекрасный, неузнаваемый, тот самый, с парками, оврагами, монашками, куполами, — привет, Фима, как жизнь, Фима, — а вон и Головкицер, очкарик с усыпанной перхотью головой, усидчивый Головкицер, сутулый, тощий, брошенный Ленкой-юлой, с карикатурным своим носом и маленькими глазками — и что она в нём нашла, чем взял её этот гигант, неужели недописанной диссертацией по ядерной физике?

— Где Головкицер? Куда он пропал, кто видел Головкицера? Нет кофейни, в которой часами сживал в толпе таких же очкариков и восторженных девиц, — кофейни, расписанной совокупляющимися самками и самцами матёрой кошачьей породы, нет кофейни, а коты всё те же, только живые, вальжные, центровые коты с Большой и Малой Житомирской, — под ноги иностранному туристу, с испитыми, из подворотен вырастающими сизыми личностями, щеголяющими азами инглиша и актёрского, конечно же, мастерства, вполне безобидного, впрочем, а ты загляни на Андреевский, Фима, кажется, Головкицер мелькал там, — когда? — давно, года три тому, совсем обносился, отощал, — на что живёт? — а неясно на что, и разве ж это жизнь, да вот ещё и картинки малюет, штучный товар — вид с Владимирской горки, — неплохо, — цедит Фима и суёт полтинник, Фима не жадный, ему не жаль полтинника, да и сотки не жаль — для человека в белом это смешные деньги, это вообще не деньги, между нами.

Но только что-то гложет его и спать не даёт, — слышь, Ленок, спишь? — Ленок спит, разметав ноги от самых подмышек, вполне аккуратную в её сорок грудь и прочую красоту, которая, конечно же, любима, желанна, но немного, как бы это сказать... привычна, что ли, — как рука или нога, — спишь? — и невдомёк ей, что на поиски пропавшего Головкицера уйдёт день, второй, третий — потный, в несвежем белом

костюме, располневший Фима, страдающий одышкой уже года два, будет носиться по Андреевскому, совать нос в каждую подворотню — и аж до самого Подола добежит.

— А по слухам, уехал твой Головкицер в благословенную страну, за океан, секретным физиком, — где-где, в Пентагоне, вот где, такие, как Головкицер, в Америке нужны, не то что здесь, — секретный физик в окружении знойных мулаток и не менее жгучих квартеронков и не вспомнит, кто такой этот круглолицый, сутки небритый, затурканный человечек в тесных белых брюках с расплывшимися пятнами пота, кто такой этот лысеющий, с одышкой, — ну да, предупреждали же, поменьше мяса, животных жиров, но что значит поменьше — пашешь сутками, пятнадцатый год без продыху, а тут ещё трое — накорми, обеспечь, отвези, — это головкицерам всяким хорошо, эти, очкастые, везде устроятся — если не в Америке, то в двухкомнатном клоповнике с престарелой мамашей, похожей на усатого фельдфебеля, в самом сердце Подола — здание под снос, вот-вот снесут, но почему-то ещё не сносят, воды горячей нет и не было никогда, колонка, отбитый край цинковой ванны, куча тряпок в прихожей — по слухам, спятила не только мамаша, но и сам Головкицер, говорят, он изобрёл что-то или продолжает изобретать день-деньской, грязный, заросший пегой щетиной по самые глаза, ползает, чего-то чиркает в тетради, чертит, дымит как паровоз и глушит этот страшный свой плиточный чай — из старых запасов, чёрный, горький, из невытой кружки с перевязанной ручкой, — бедный счастливый Головкицер, не нужный никому, так и не женился и детей не завёл — какие дети, он и сам дитя, блаженное, нежно-голубоглазое, — задыхаясь от кошачьей вони, спотыкаясь о тазы, баки, вёдра, банки, бутылки, хватаясь за липкие стены, переступая скрученные жгутом тряпки, доползёт бледный Фима до Головкицеровского подвала, бункера, убежища, озираясь в поисках капли воды, хлебнёт из грязной кружки Головкицеровской горечи.

— Сиди, — скажет Головкицер, и выйдет на маленький захламлённый балкон, и задымит в усыпанное звёздами небо. — Почему не уехал? Зачем, Фима? Куда? Разве мне здесь плохо? — И вправду, одним

плечом втиснется Фима в проём балконной двери, зацепит край бездонного Головкицеровского счастья — с глухой кошкой, глухой мамашей, — да как ты живёшь? как вы живёте здесь без страховки, без еды, без...

Без Ленки. Ведь это главное, так ведь? — усмехнётся мудрый Головкицер, попыхивая в темноте. — Так ведь моя Ленка со мной осталась, вот здесь, — и тощей ладонью коснётся поросшей густым рыжим ворсом впалой груди — груди отшельника, мудреца, аскета. — А твоя — с тобой, каждому по Ленке. — Так ведь одна же, как это две, — промычит грузный, отёкший Фима с невнятной, необъяснимой тоской — по краешку звёздного, чужого уже неба, по струящимся вдоль вечной реки улицам, забегающим вперёд, тормозящим, опоясывающим, по вынырывающим из подворотен лицам, — каким лицам, никого нет, Фима, все уже давно там, одни привидения, фикция, мираж, — засмеётся хрипло Головкицер, выкашливая остатки прокуренных лёгких в покрытое испариной Фимино лицо.

Помнишь Фимину лавку на углу, недалеко от шука<sup>1</sup>, — так вот, съездил Фима домой, красиво съездил — королём, весь в белом, сошёл с трапа прямо на Крещатик, где девочки как на подбор, голоногие стрекоты, прошёлся по Андреевскому, как и мечталось, спустился на Подол, отыскал кого хотел, а может, и не отыскал, вот тут не скажу, — а только нашли его в каком-то притоне, посреди тряпок, старых газет, бутылок, — несчастного маленького Фиму, который так чудно рубил мясо на стейки и выкраивал пухлые свиные сердечки, и прозрачные почки, и хрупкие, покрытые плёнкой крылышки, не сразу нашли — бедная Ленка, вообрази, что ей пришлось пережить, страшная страна, одни бандиты, хулиганье, а тут счастливый Фима, у которого всё так чудно сложилось, свой магазин, красавица-жена, полис — да, к счастью, всё оформили как положено, — когда? во вторник, — а лавку, что лавку, недельки через две подходите, у нас свежий завоз, всё как вы любите — стейки, сердечки, печёночки.

---

<sup>1</sup> *Шук* — рынок (*ивр.*).



## ЛИМПОПО

Как же, — говорят они, — вот же, мы все у тебя практически рядом — только протяни руку и включи — видишь, — кнопочка? здесь — включи, а здесь — выключи, — весь мир как на ладони, — то ли дело раньше, раньше действительно было хреново — дальше вот этой вот табуретки и косо вкрученной лампочки вообще ничего...

А теперь — красота! сколько угодно — хоть всю жизнь, — неважно видно, говоришь? слышно? говорить надо вот сюда, в этот глазок, а смотреть — туда, главное — не перепутать: говорить — сюда, а смотреть...

Главное, говори. Нет, говорить обязательно надо. Что-нибудь. Иначе смысла нет. Почему ты молчишь? Нечего сказать? Слишком много? Не знаешь, с чего начать? Да, всего не расскажешь, а то, что расскажешь, это же только так, одна видимость.

Ну, не можешь говорить — смотри. Говорить будет он. Что, тоже молчит? Молчит и просто смотрит?

Ну да, это же не допотопный телефон, в котором каждая минута бешеных денег стоит. Вот и кричишь-надрываешься в трубку: как ты? Что у вас? У нас всё хорошо! Повтори, не слышно! Всё хорошо, говорю, всё хорошо! Не волнуйся, все здесь. Муся, Таточка, да, все дома. Все дома, говорю! Всё ещё молчит? Ну, я не знаю. Спроси о чём-то. Ты и так всё знаешь? Откуда, вы же столько не виделись. По глазам, говоришь? Седой?

Расскажи смешное. Разряди обстановку. Что-то глупое, из детства. Про клоуна. Помнишь клоуна? Пит, кажется. На палец надевалась голова. Глупая деревянная голова с застывшей улыбкой. Когда переезжали, закатилась куда-то, в угол, там и осталась. Такая глупая голова.

А, вот ещё. Дверь помнишь? Краску. Зелёную, да, ядовитую-зелёную, как какое-нибудь Лимпопо. Её было много, полведра, и ты весь день красил, красил, без передышки, чтобы сюрприз. Порадовать что-

бы. Пока с работы не пришли. Ещё саночки стояли, прислонённые, с обледеневшими полозьями, надо было ждать, пока всё оттаёт, стечёт лужицей по ковролину.

Счастье, говоришь? Ну да, счастье. Не говори про это, держи в себе. Альбом с марками, глупые мелочи на полке, щётка для обуви, стопка квитанций. Ещё зимой пахло, ёлочным базаром, хвоей. От хвои следы на снегу. Как куриные лапы. Помнишь запах? Как стоит она, связанная, тугая, колкая, на балконе, как с выдохом распрямляются гибкие ветви, как тяжелеют они под лампочками, серпантинном, кукольными домиками, космонавтами, шарами, какой молодостью и свежестью дышит она, как вдруг роняет иголки, как ветшает, редеет, желтеет, перестаёт радовать и радоваться. Ей уже и игрушки эти в тягость.

Не знаешь, как выключить? Что, плачет? Смеётся? Сложно разобрать? Ну, с непривычки у всех так. Потом легче.

В общем, если что, жми сюда, он всегда ответит, — видишь, как просто, как легко, весь мир на ладони, свобода, доступность, коммуникация, не то что раньше — бежишь сломя голову, роняя табурет, в коридоре темно, шнур короткий, трубка-утопленница болтается безжизненно, а в ней голос металлический, сквозь треск, снегопад и метель — ваше время истекло.

## СВЕТ ПОДНЕБЕСНЫЙ

Ну и потом, это тайфун. Смерч. Неотвратимость. Он надвигается на вас, хотите вы того или нет. Пожалуй, всё-таки хотите. Потому что своей воли у вас нет.

Это такая история, боже, какая это история! Это Шалев, понимаешь? На Шалеве многие застряли, поколение смуглых еврейских (если быть точным, еврейско-цыганских австро-венгерского разлива) девочек прочно сидит на Шалеве, ни туда ни сюда, — легенда — это прекрасно, от

легенды у вас прорастают крылья и вы вспоминаете то, чего не было никогда.

Там булочник из Коломыйи замешивает тесто, оно дышит и хрипит, из него тянутся руки, пульсируют груди и губы, в нём живут голоса.

Там Бруно Шульц идёт вдоль бесконечного забора (его графика делает мир серым и тревожно-болезненным, а проза — густым, вязким, цветным, маслянистым). Он идёт навстречу сам понимаешь чему. Он пишет длинные письма и выходит на улицу, допустим, купить сигарет, а потом вернуться и дописать письмо пану Гомбровичу.

Пока ты весь внимание и восторг, на тебя надвигаются десятки, сотни других, не менее сочных (ведь это Шалев, детка, от Шалева ещё никто не убежал). Истории (у них нет и быть не может конца и начала) — не веришь, раскрой книгу книг, ощути масштаб, прогнись под его тяжестью, — на тебя надвигается судьба. В лице Сарры, Ревекки, Юдифи, Рахели.

— Слушай, история, если её правильно услышать, а потом трактовать... Никто не ручается за достоверность, но нам она ни к чему.

Господи Элохим, я задыхаюсь от любви, от обилия её и недостатка, от просроченных возможностей и невозможностей, от несбывшихся надежд и лопнувших иллюзий.

Лишь одно неизменно.

Он плетёт свои сети с неистовством одержимого, с ловкостью фокусника, запоминая узелки, закручивая двойные и тройные петли, растягивая пряжу, перекусывая нити. Вскикивает посреди ночи (его просторное бельё напоминает одежды пророка Иезекииля) и, зажигая свечу, макает перо в чернильницу, — она же сидит на его плече, вцепившись намертво острыми коготками, и клоочет простуженным горлом, вторя именам и фактам, которые не нуждаются ни в уточнении, ни в опровержении.

Разве что в продолжении.

Она кутается в алую шаль, её знобит, её всегда знобит. Мир явно сошёл с ума и нуждается в помощи, и спасут его детские пальцы с ярко-красными ноготками, алые туфельки и узкие джинсы. Порхающая в воздухе сигарета.

Она закрывает глаза и летит. Бог знает куда и зачем. Бог знает к кому. Одержимая новой любовью, она плачет, ворожит и колдует, рождается и умирает. Садится на ветку, склоняет маленькую голову, щёлкает клювом, трепещет отливающими синим крыльями, — вы слышите? В воздухе? Этот пьянящий аромат, этот трепет и стон, это нежное свечение, этот клёкот и воркование, последнее дыхание и благословение. Свет поднебесный, шорох лиственный.

## ПРЕМЬЕРА

На сей раз она вселилась в тело доверчивой рыжеволосой женщины, мечтающей о ребёнке, о ком-то, кого она могла бы назвать бесповоротно своим на ближайшие десять-пятнадцать лет, — порой она замуривала веки и ощущала в себе этот плотный комочек, и тогда она могла гладить его, обнимать, пеленать, — холё-ёсенский, — губы её вытягивались трубочкой, а ниточки рыжих бровей ползли вверх, но годы шли, а мужчины не задерживались, им тесно было в её утомительно-жарких объятиях, и тогда она шла в театр, и там, упакованная в малиновую кофту с люрексом, выставив массивную грудь, обливалась слезами и комкала насквозь промокший носовой платок, а в антракте съедала несколько трубочек с жирным кремом, и запивала сладкой водой, и, пробираясь к своему месту, шуршала нарядным платьем. Чаще можно было видеть её в первом ряду партера или в бельэтаже, — дома она клеивала фотографии актёров в пухлый альбом и детским почерком со старательным нажимом вписывала что-то восхитительно-нежное, со звуком разве что птичьему щебету.

\* \* \*

Она лежала в десяти шагах от театра, в огромной квартире с высокими лепными потолками, но не у себя в спальне, и не в кабинете,

и даже не в гостиной, а на кухоньке у выкрашенной зелёным стены, на узкой лежанке, — на кухню она переселилась умирать — там было веселей и не так холодно.

Хромая Люся слушала радио и даже подпевала иной раз тоненьким голоском, несоизмеримым с её большим нелепым телом.

На плите что-то дымилось и пригорало, Люся сердилась и шлёпала проворными босыми ступнями, с грохотом ворочала кастрюлями, а после хлопала крышкой пластмассового мусорного ведёрка, — надо кушать, строго говорила она и подносила ложку к плотно сомкнутым губам, — так, Манечка, открыла рот, открыла рот, — повторяла она, угрожающе надвигаясь грудью, — и бывшая актриса глотала ложечку каши или протёртого буряка, — «бурачки», — говорила Люся, — готовила она с размахом, и всё это томилось и скисало в холодильнике, раковина забивалась очистками, а из мусорного ведра всегда шёл запах, и тонкая, брезгливая Мария Ашотовна морщилась и сопровождала действия бестолковой Люси крепким словцом, — ох, как слабели и бледнели мужчины от её низкого надтреснутого голоса, и от этих словечек, и от этих губ...

— Корова, — властно произносила Мария Ашотовна, и Люся со звоном швыряла недомытую кастрюлю, и убегала в свою комнату, и там с размаху плюхалась в пышную постель, и подвывала жалким голоском навеки обиженной восьмилетней девочки, и вспоминала все обиды — покойного мужа, охальника и грубияна, который ни в грош не ставил её, Люсины, старания, и строгую не улыбчивую мать, которая частенько хлестала её ремнём, а то и просто ребром жёсткой ладони, что было ещё больней и обидней. Люсина задница будто создана была для подобного рода экзекуций — в юности она вызывала повышенное, но какое-то оскорбительное внимание со стороны мужчин, а теперь оказалась ненужной роскошью, подаренной Всевышним с неведомой целью.

Люся была неряха и ограниченная и деньги тратила неаккуратно, но всё это было неважно, потому что Люся была — жизнь.

После особо бурных размолвок вплывала в дверь и, гневно тряся отёкшими красными щеками, бесцеремонно разворачивала постель и меняла бельё. Потом присаживалась на краешек застеленной кровати и, смешно округлив рот, выкладывала последние театральные новости — о душечке Сазонове, о милашке Комаровском, о хорошеньком студентике, который стоял рядом в фойе, о внимании к её, Люсиной, персоне, о подорожании, о ценах на хлеб, о слякоти, о кошке, которая гадила перед дверью и теперь вот принесла котят и нужно молоко, и не взять ли им котёнка, рыжего, с чёрным пятном за ухом, — «старуха» улыбалась и блаженно шевелила пальцами ног — ей было тепло, сухо, а на ужин её ждала солёная рыбка одесского посла, а уж какая рыбка в Одессе, ей ли не знать, — вот один раз, Люсенька, на гастролях...

И Люся умолкала и, подперев двойной подбородок кулачком, с жадным вниманием впитывала подробности счастливой женской судьбы, с букетами, нарядами, страстями...

Послунив короткие пальцы, Люся перелистывала склеенные странички альбома — выпадали жёлтые карточки, — ох, Манечка, какое платье, какое платье, — а здесь вы такая цыпочка, — маленькие, почти детские ладони Марии Ашотовны скользили по пододеяльнику, а лицо освещалось девичьей улыбкой.

Старуха была слепа. Иногда она улавливала тусклое свечение лампы и расплывающееся пятно Люсиного лица, но, обладая прекрасной памятью и воображением, по одному голосу могла воссоздать контур фигуры и даже пририсовать крошечную бородавку к носу восторженно-го посетителя.

Например, Алика она называла вполне интересным мужчиной, хотя он пришепётывал и был несколько широковат в бёдрах. Люся ворчала, что Алик дармоед и охламон, что наготовила она на неделю, а Алик всё сожрёт, но старуха была снисходительна к мужским слабостям.

— Люсечка, Алик звонил? — капризно вопрошала она, зорко всматриваясь в послеобеденную тишину.

— Вот помяните моё слово, Манечка, сожрёт и не подавится, — упрямо долдонила Люся, но раздавалась мелодичная трель звонка, и старуха с удовлетворением вслушивалась в воркование и женственные переливы Люсиного голоса в прихожей.

Да, Алик приходил конкретно покушать, он пришепётывал и говорил нудным стёртым голосом, останавливаясь на малоинтересных деталях, но Алик был мужчина.

Он ловко переворачивал Марию Ашотовну на другой бок и подтыкал одеяло, при этом очки его сползли к кончику вислого носа, а старуха капризно морщилась и внятно благодарила: «Вы очень любезны, Сашенька», — а после позволяла себе «этакое» словцо, отчего у Люси подскакивал живот и тряслась грудь. Потом Алик включал диктофон и задавал вопросы. Ему нужны были подробности.

Когда Мария Ашотовна бывала в настроении, она охотно вспоминала, кто был мужчиной её жизни между третьим и четвёртым замужеством, и какими умопомрачительными букетами засыпали сцену во время гастролей в Баку, и кто писал знаменитый портрет, более полувека украшающий фойе театра.

На следующий день фамилия третьего мужа звучала совсем иначе, и мужей оказывалось гораздо больше, и Алик дулся, — они немножко спорили, а после дружно мирились, и Алик оставался на ужин. И ел рыбку одесского посла с картофельным пюре и протёртые «бурачки». А Мария Ашотовна улыбалась. Потому что сосредоточенно жующий мужчина — это жизнь. И вообще, мужчина — это жизнь.

Потом придёт время чая со сладкой булкой, и Люся будет хлопать Алика по руке и говорить «тю», а после сбегает и принесёт домашнего вина сорта «Изабелла», а старуха надтреснутым голосом потребует водки и солёных огурцов, а Люся скажет — поздно, Манечка, вы совсем не отдохали, и задёрнет шторы, и наступит долгий вечер, и бессонная ночь, и мучительное утро с зелёным пятном стены, но потом опять наступит вечер, и в театре через дорогу после очередной премьеры начнутся овалы, и это будет жизнь.

## БУМАЖНЫЙ ТЕАТР

Они возвращаются через двадцать, нет, тридцать лет. Запрокинув головы, высматривают своих.

Помните, жила здесь девочка — каждый день она выносила во двор картонную коробку с бумажными куклами. И показывала театр.

Расстоянием между ладонями он изображает девочкин рост и возраст. Макушкой она упирается в середину ладони и замирает, сощурившись от удовольствия. Ей всегда хотелось старшего брата. Не чтобы она защищала, а её. Но под ногами вечно вертелись мелкие. Ровесники младшего. И тогда приходилось изображать сильную, бесстрашную. С распростёртыми над стриженными головами могучими крыльями. Приходилось драться. Мирить. Разнимать.

Помните, жила здесь девочка с бумажным театром.

Ей было девять. Потом двенадцать. В шортах, китайских кедах, полосатой майке. Индеец Джо. Они за ней табуном ходили, канючили, ждали чуда.

Это была девочка-чревовещатель. Пищала и басила разными головами, передвигая бумажные фигурки внутри картонной коробки. Она умолкала, когда появлялись взрослые. Взрослые всё портили. Одним своим присутствием портили. Всё переставало быть настоящим. А по-нарошку... бумага становилась просто бумагой. И персонажи оказывались плоскими, нарисованными, безжизненными.

Взрослые задерживали дыхание. Старались ходить на цыпочках. Улыбались ободряюще. Но всё напрасно. Всё рассыпалось. Истории умирали, скукоживаясь на глазах.

Помнится, она жила на втором. Или даже на третьем. Нет, на втором.

Расстоянием между ладонями он изображает прошлое. Рост. Вес. Упрямую макушку. Дожди июньские, стучащие по крыше. Кажется, там бабушка ещё жила. У всех жили бабушки. Почти у всех.



Мальчика звали Эдик. Или Феликс. Ушлый, крутолобый, весь в отца. Всё время что-то на что-то менял. Глаза его загорались от непреодолимого желания. Иметь это что-то сию минуту. Выбегал, возвращался с пылающими ушами, сжимая в ладони некий предмет, достойный обмёна.

Помните, здесь жила девочка?

Она играла гаммы... Со второго этажа слышно хорошо. И на первом, и на четвёртом. Долго играла. Спотыкаясь. То ускоряя, то замедляя темп.

— Слушайте, дайте уже покой, немножко чтобы было уже тихо, — точно гриб, выростала на пороге соседка, с перекошенным от мигрени оплывшим лицом. — Хотя бы уже в воскресенье дайте людям покой. — Держась за висок, отступала к лифту. И наступала уже тишина. Крышка со звоном захлопывалась, зато открывалось окно с любопытной девочкиной головой в торчащих как попало заколках.

Он помнил эту девочку. С нотной папкой, ударяющей по ногам. С заколками этими дурацкими, в школьном платье, чуть более коротком, чем положено. Ему нравилось. То, как медленно она идёт, специально медленно, это же дураку ясно. Сразу видно, как сильно она торопится в эту свою музыкальную школу.

— Рита! Вернись, ноты забыла...

Да, возможно, её звали Ритой. Эту странную девочку из другой жизни.

— Ну что, ждём? Едем? — таксист кивает, но не слишком торопит. Счётчик включён. Дело хозяйское. Целый день, с одного кладбища на другое. Там у меня баба с дедом, а там...

Он называл её Ба. Или баба. Баба Фейга. Во дворе её дразнили — Ягой. Бабой Ягой. Глубоко посаженные глаза под густыми бровями, нависающий над верхней губой нос, смуглая кожа, вывернутые губы. Широкоплечая, ходила, переваливаясь, на коротких ногах.

— Иди до бабы, иди до меня. — Горячая пятерня ерошила торчащие вихры, крупная брошь на необъятной груди царапала до крови.

— Киця моя, иди до бабы. Баба даст вкусное.

Например, коржики из мацы. Болтая ногами, они уплетали эти самые коржики за милую душу, — и Толик с пятого, и Жиртрест, — те самые, которые дразнились — беззлобно, впрочем, — протянутая из окна первого этажа тарелка с пылающими коржиками, сырниками и ещё... такими треугольничками из слоёного теста, щедро усыпанными корицей и сахаром, — тогда ещё не было никаких ушей Амана, — просто коржики, внутри которых, боже ты мой, чего только не наблюдалось — и тебе изюм, и чернослив, и орехи, — на, это для деда, — дед жил в однокомнатной квартире напротив, собственно, иначе и быть не могло — разве могли ужиться вместе взрывная Фейга и мечтательный «деда». Дед Ньюма в результате множественных комбинаций своего деятельного сына осуществил давнюю мечту — целыми днями читать газеты, отрываясь разве что на походы в киоск. За следующей порцией новостей.

Несколько раз день в Ньюмину дверь врывалась накрытая салфеткой тарелка, за ней — обтянутая синим трикотажем (отчего-то Ба носила синее, только синее, оно так шло её ярко-синим, не выцветающим с возрастом глазам) фигура, и дом (с нижними и верхними соседями) замирал в ожидании неминуемого. Старые, а как молодые, честное слово, — улыбались свидетели.

Начиналось вполне безобидно. С энергичного (Фейга всё делала с энтузиазмом) раздвигания плотно закрытых штор и проветривания.

— Наум, как же можно. Весь день в духоте.

Дед, смиренно улыбаясь, приступал к трапезе. Он молчал. Пока молчал. Надо дать женщине выговориться. Пусть она всё скажет.

И Фейга говорила. Она начинала издали. В какой-то момент казалось, что всё обойдётся, что обед или ужин уж на этот раз не окажутся поводом для выяснения отношений.

Выяснение уходило корнями в бесконечно далёкие времена — в те времена, когда Фейга одна — «тянула всю эту подводу, вот этими вот руками, Ньюма, а где был ты? Там? Я одна кормила всю эту банду, спасибо Яше с четвёртой обувной, он закрывал глаза на мою фигуру, — а я была молодая, молодая, Ньюма, — я была перец с солью, но главное —

дети, — я кормила детей — чем? — балетками я их кормила, — по несколько пар за смену я носила вот в этом декольте, — хорошие шили балетки, и Яша (ангел, а не Яша) молчал, только опускал глаза, чтобы не щупать мою фигуру и не знать, что делается в моём декольте. А я была перец с солью, аджика с огнём, я была молодая, Ньюма, но у меня были — Лёничка, Лёвушка, Сима, — и слава богу, вахтёры на проходной тоже понимали это — что детей надо кормить, — тебе вкусно, Ньюма? А?»

Весь дом уже был в курсе Фейгиных махинаций с балетками, но самой Фейге отчего-то хотелось, чтобы Ньюма услышал — ещё и ещё раз про то, какая она была молодая и красивая, что даже мастер Яша опускал глаза — нет, он закрывал глаза, опасаясь обжечься её, Фейгиной красотой.

— Ша! — Ах, как ждали все этого «ша», — кто мог предполагать, что в тщедушном Ньюме таится недюжинная сила, способная остановить красноречие Ба. — Ша, я уже сказал, — Ньюма тщательно вытирал ложку, вилку, прикладывал белоснежную салфетку к губам...

— Старые, а как молодые, честное слово, — видит бог, старыми они себя не считали, потому что прекрасные Фейгины глаза так ярко блистали гневом, обидой, любовью — да-да, любовью, а что вы себе думаете, — хлопнув дверью, она уже обдумывала ужин и обед следующего дня — это было святое, незыблемое.

Пока гремел гром и сверкала молния, этажом выше откидывалась крышка концертного фортепиано, это странная девочка отрабатывала своё ежедневное наказание — этюды Черни.

Там, за окном, всё стрекотало и чирикало, там играли в штандера и в резинку, и потому всё своё нетерпение и даже ненависть она вкладывала в силу удара по клавишам.

В картонной коробке томились герои бумажного театра. Лишённые права голоса, ожидали своего часа. Этюды Черни и прихрамывающие гаммы закончатся, а бумажный театр — навсегда.

Так думала она, или ей кажется, что думала, поглядывая в окно.

Могла ли знать, что и у бумажного театра свои отмеренные сроки, что и он однажды канет в прошлое — почти одновременно со скандалами и маковым гоменташем<sup>1</sup>.

Как-то всё это быстро произошло. Решение об отъезде, хлопоты, переживания, продажа мебели, — старики сразу резко сдали, даже скандалы прекратились. Пока оформлялись бумаги и ждали разрешения, не стало деда Ньюмы.

Послушайте, он же ещё утром выходил за газетой, — внезапный уход Ньюмы казался предательством, тяжкой обидой, нанесённой исподтишка, — и Фейга моментально осела, выцвела, постарела.

Никто не помнит, в какой именно день у неё пропал голос. Полностью пропал. Остался сип, но и этим сипом она умудрялась шептать страстные слова любви: майн кинд, фишелел<sup>2</sup>, — и слабеющими руками чистить орехи и чернослив, — ах, какие гоменташа готовила наша баба Фейга — впоследствии сама память об этом станет семейным преданием, — уже там, в новой жизни, — там будет всё, решительно всё, кроме тех домашних коржиков из мацы, кроме скандалов и следующих за ними примирений...

— Бедные, куда они едут, в какую-то Америку, — шептала она, уткнувшись лбом в холодное стекло, по которому стекали струйки осеннего дождя.

За прошедшее лето многое изменилось.

Во-первых, не стало соседей с первого этажа. Во-вторых, она выросла.

Мальчика из еврейской семьи звали Эдик. Или всё-таки Феликс. Ушлый, крутолобый, весь в отца. Всё время что-то на что-то менял. Глаза его загорались от непреодолимого желания. Иметь это что-то сию минуту. Выбегал, возвращался с пылающими ушами, сжимая в ладони некий предмет, достойный обмена.

---

<sup>1</sup> *Гоменташ*, или «уши Амана» — традиционное для еврейской кухни печенье с маком в форме треугольника, выпекаемое накануне Пурима.

<sup>2</sup> Дитя моё, рыбка (*идиш*).

— Коллекцию на бумажный театр, идёт? — На этот раз подмышкой у соседского мальчика покоился тяжёлый альбом с марками. Он выменял его у кого-то на две старинные серебряные монеты, которые он тоже у кого-то...

— Идёт? — Глаза его, серые, упрямые, с рыжиной, заставили её покраснеть.

И правда, картонная коробка с фигурками открывалась всё реже. Как будто стыдясь самой себя, взрослеющей, она играла шёпотом, соорудив баррикады из учебников и тетрадок.

— Тебе там будет не до театра, — усмехнулась она, и в улыбке её (снисходительно-смущённой) обнаружилась ещё одна тщательно скрываемая тайна — ну, например, то, что она выросла.

События того дня оставим за кадром. Некоторые утверждают, что именно тем вечером внезапный порыв ветра выхватил, выбил картонку из её (или же его) рук и ворох бумажных фигурок, растопырив руки и ноги, разлетелся над мусорником, который и сегодня стоит на том же углу, ничего ему не делается.

По другой версии, бесценный альбом с коллекцией марок остался у неё, а актёрам театра дарована была ещё одна жизнь — с обратной стороны Земли.

Они возвращаются через двадцать, нет, тридцать лет. Запрокинув головы, высматривают своих.

Помните, жила здесь девочка — каждый день она выносила во двор картонную коробку.

Расстоянием между ладонями он изображает девочкин рост и возраст. Макушкой она упирается в середину ладони. И замирает.

## ПАРАФРАЗ

Не знаю, мне кажется, он был здесь всегда. Вот на этом углу. Я уезжала, он был. Я приезжала, он был. Я приезжала и возвращалась, а потом опять уезжала, а он как стоял, так и стоит. Всё та же облупленная дверь с неровно приколоченной табличкой. На которой менялись только цифры. Восемь, двенадцать, двадцать пять.

Очередь. Под палящим солнцем, под дождём. В любую погоду. Асфальт в трещинах, — внутри — тяжёлая духота, на колченогом стуле охранник.

У этого места всегда была дурная слава. В девяностых кого-то подрезали, потом стреляли. С тех пор поздним вечером, ближе к ночи, здесь всегда вооружённая охрана и бронированный чёрный автомобиль. Крепкие ребята в бронежилетах кучкуются возле киоска, напряжённо посматривают на редких прохожих.

Господи, можно уехать на четверть века, вернуться и упереться лбом в эту дверь. Можно слетать на Памир, Галапагосские острова — и всё равно вернуться к этому окошку.

Разбитый асфальт, доска объявлений, грохот трамвая. В будке за перегородкой — взмокшее женское лицо. Я бы не назвала его счастливым. Я выйду, а она останется.

Я побегу к дому или к метро, уткнусь в экран или в книгу — точно страус, зарывающий голову в песок. Конечно, в следующий раз я ни за что не встану в эту очередь, даже если в ней не окажется ни одного человека. В конце концов, есть другие места, более цивилизованные, без этого настойчивого рефрена из девяностых.

Как и тогда, я стою на углу с зажатой в ладони купюрой.

Мир был всё ещё цельным (или казался таковым), хоть и свистело со всех сторон, штормило, сквозило, грозило распадом — рятуйте, люди добрые, — девяностые надвигались развинченной приплатнённой походкой — руки в карманах, вихляющий зад, кривая ухмылка, прилипшая

к нижней губе сигарета, — страна сидела на баулах — кто где — на вещевом рынке, в ломбарде или в аэропорту. В результате чётких и почти спонтанных действий я окажусь в другой очереди. ОВИР, если хотите знать, был бойким местечком, в нём завязывались знакомства, вершились судьбы, — я даже вспомню книгу, которую успею прочесть (от корки до корки) в скудно освещённом коридоре той далёкой зимой. Бертран Рассел, «Почему я не христианин».

Стоящий впереди мужчина переводил взгляд с обложки на меня — за несколько дней мы почти сдружились, он выбегал покурить, я — подышать, — странное дело, очередь эта не удручала меня, здесь все были более-менее свои — потом, в новой жизни, мы вновь станем чужими.

В коридоре стоял равномерный гул, точно в оркестровой яме, — все инструменты звучали вразной, но партитура была написана и главная тема торжествующе пробивалась сквозь многозвучный хаос. Война с Ираком. Ещё был жив (и даже относительно молод) Саддам, и бомбы летели в сторону Тель-Авива, но что такое бомбы по сравнению с заплотным воплем из киоска на углу.

Я знала — даже если вернусь, то это буду не я, а совсем другая женщина, отстоявшая во всех очередях мира — там, тут, потом опять там, чёртов механизм, набирая обороты, швырял то в один зал ожидания, то в другой, — таинственный шорох песков обернётся довольно тривиальным сценарием — мисрад а-пним, банк идуд, мисрад клита, битух Леуми<sup>1</sup>, в общем, опять очереди, очереди, лица, лица, чаще растерянные, нежели удовлетворённые происшедшим, — не так я представляла себе триумфальное шествие по новой жизни, но некая сущность в шубе и вязаной шапке (посреди бессрочного израильского лета) на остановке четвёртого автобуса (в районе Феджи) произнесёт уже знакомое до тошноты «леат-леат», «савланут», «ихие беседер»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Социальные службы для новых репатриантов в Израиле (МВД, банк, Министерство абсорбции, соцстрах).

<sup>2</sup> Потихоньку, терпение, всё будет хорошо (*ивр.*).

Здесь тоже были обменники, и, комкая в горсти очередную бумажку, я становилась в условную очередь, да, собственно, не было никакой очереди, и охранника не было, и страха не было совсем — кому придёт в голову бояться толстого рыжего Ицика в вязаной кипе или ушлого бухарца с тяжёлым золотым магендовидом на волосатой груди, и если и попадался человек с оружием, то ничего такого в этом не было, никакого зловещего умысла, чаще всего это был невыспавшийся, припорошенный несмываемым загаром и пылью чей-то сын, — однажды, к слову сказать, я окажусь случайным свидетелем трогательной весьма сцены: средних лет грузный мужчина, порывшись в бумажнике, подсел к такому сонному и смертельно уставшему «чьему-то мальчику» и чуть ли не силой вложил в его ладонь несколько скомканных купюр, вся пантомима длилась секунды, но их хватило, чтобы остаться в памяти. Пятьдесят пятый автобус, старая тахана мерказит<sup>1</sup>, чужой человек, улыбаясь, суёт деньги оторопевшему солдату. Возьми, сынок, тебе нужней.

Казалось, его вот-вот закроют, снесут, и вообще непременно случится что-нибудь эпохальное, в результате чего не будет хмурых лиц, очередей, охранников в бронезилетах, мата, сканирующих глаз, развинченной походки и главное — этой кривой ухмылки с налипшей к углу рта сигаретой. Восемь, двенадцать, двадцать пять.

Но грохочет трамвай, и некая могущественная сила (инерции? памяти?) подталкивает в спину, ведёт по мосту, и тут я, слава богу, просыпаюсь и понимаю, что ничего этого в моей жизни нет. Ни моста, ни трамвая, ни зажатой в ладони скомканной купюры.

---

<sup>1</sup> Автобусная станция (ивр.).







# КАНУН ПОСЛЕДНЕЙ СУББОТЫ

## СВЕТ ДАЛЁКИХ ОКОН

**Е**сли по мановению волшебной палочки можно замедлить темп большинства живущих на этой планете, то почему нереальным кажется возвращение непрожитого отрезка жизни?

Закроешь глаза и видишь, как вырывается из-под стражи замедленное время, как, будто огромный муравейник, оживает затихший мир, как взрывается миллионом огней, петард, как это всё происходит — момент прорыва, выздоровления, — как торжествует былая небрежность, возвращается лёгкость сближения, касаний, свободы.

Заполненные до отказа ячейки памяти не дают уснуть окончательно. Напротив, всё более явственными и отчётливыми становятся воспоминания. Ныряешь в них, будто в волшебный подводный мир, фильтруя и отбрасывая ненужное.

Когда заканчиваются сюжеты, снимки, слова — на помощь приходят запахи.

Вот так пахнет лак, которым покрыли паркет в новой квартире. Вот так пахнет рубашка моей первой любви. А это запах августа, густой, глубокий, насыщенный, с лёгкой горчинкой — так пахнет зрелая, знающая себе цену, охваченная поздней страстью женщина. О, как хороша она, как беспощадно прекрасна в своей отчаянной смелости — накануне долгой зимы.

А это запах нагретого солнцем старого дома, а это аромат моих пятнадцати. А так пахнет выстиранная накануне красная майка — она очень идёт мне, восемнадцатилетней, кроме всего прочего, другой

майки у меня нет — как и других джинсов, впрочем, но ничего иного мне и не нужно — майка, джинсы, ускользящий август, полупустая платформа метро. А это горечь (разрыва, расставания, отъезда, ухода) — двадцати, тридцати — слышишь, как ветви стучат в окно? как ускоряется шаг?

Шабат, другой, третий, двадцатый — пятнадцати лет как не бывало, — кажется, только вернулся с шука, раскидал всё по полкам, только нашёл квартиру, только подписал договор, только оплатил — дни будто вырванные листки чековой книжки.

Долгие часы (о, уныние, помноженное на знание) в ульпане, дорога домой, низкие потолки, жалюзи, лимонное дерево во дворе, свора голодных котов, сосед сверху, наблюдающий в бинокль.

Как пахнет тоска, как уголком загибается лист прочитанной книжки, как время пролистывает само себя, застревая на годы. Что там, вдали? Окна казённых корпусов? Запахи страха, напускной бодрости, отчаянья, надежды.

Свет далёких окон, нежность скомканных слов, — дай силы не забыть эти лица, ладони, глаза, — сопровождающих на каждом ухабе.

Как привычно склоняется к плечу разморённая светом голова, как смягчаются черты, обострённые знанием.

Как пахнет жизнь, подаренная... господи, ни за что, просто так, ещё одна. Новая, неизношенная, целая.

Вот эта женщина, бредущая под раскалёнными лучами с прижатой к уху трубкой (я слышу голос, сорванный отчаяньем: мне тридцать пять, понимаешь? а я ничего не успела), — я вижу её отсюда, из глубины карантинных (проживаемых один за другим дней) — и слышу запах надвигающейся беды, которую не спутаю с унынием или, допустим, тревогой, — он нарастает, точно снежный ком, и время идущей по пустынной улице (о, гулкость каждого шага в колодце двора) уж никак не сравнить с сегодняшним, лишённым запаха и вкуса, похожим на бессрочное ожидание то ли начала новой жизни, то ли конца предыдущей.

## ЙОМ РИШОН

В памяти запечатлён золотой день многолетней выдержки, долгие пешие прогулки вдоль простирающихся ландшафтов, насыщенные множественными восторгами впечатления, утроенные неожиданно ярким январским солнцем, свежестью трав и деревьев, запахами сирийской (ливанской) кухни из близлежащих едален, — и как отдалённый звон колокольцев — дождливый «йом ришон»<sup>1</sup> — день первый, то есть израильский понедельник, — ничем не напоминающий о том золотом шабатном дне января, — даром что весна — всюду влага, влага, влага, всё волшебство таинственным образом затаилось, чтобы в нужный момент объявить о себе нежным свечением куполов и спилей, вкраплением воспоминаний в дождевые потёки, лужицы, — неизъяснимое удовольствие от обыденности этого дня, его серости, скудости, от редких пересечений с людьми. Ничто не мешает узнаванию дорогих подробностей — точно старинный ларец, приоткрываясь, являет взору потускневшие драгоценные вещицы — перебираешь их, узнаёшь скорее на ощупь, по знакомым щербинкам, впадинам и выпуклостям, ощупывая внутренним взором, касаешься чего-то интимного, спрятанного, непроявленного.

Старик-коробейник, уличный шарманщик, фальшивомонетчик, меняла, дряхлеющий и вечно обновляющийся мир предметов, кладбище подробностей, нехитрого скарба, испод бытия, восточный орнамент по краю надтреснутого блюда, волшебная лампа Аладдина, пещера с драгоценностями, испорченный патефон, старые снимки, ушедшая под воду Атлантида, проступающие над ней, водой, лица, звуки, повторяющийся (то рядом, то издалека) крик муэдзина, обрывки слов, лоскуты тканей, ковров, воспоминаний, надтреснутые горлышки кувшинов, амфор, их вытянутые удивлённые шеи, их округлые бёдра, их выпуклые

---

<sup>1</sup> Воскресенье, букв. — день первый (*ивр.*).

животы, поющие отверстия их ртов, подёрнутые патиной зеркала, в которых тени, отражаясь, отступают, приближаются, замирают, — попытка попасть в собственный след венчается потерей памяти. Расколотая рама важней картины, вправленной в неё.

Ты помнишь всё, ты всё забыл. Солёный привкус счастья и горький — невозможного. Кофейная взвесь скрипит на зубах. Дорога ведёт к морю. О, чужеземец, мечтающий измерить шагом Голгофу, не ведающий о том, что как никогда он близок к ней. Всего только следы, ведущие к изувеченным Хроносом стенам, улочкам, втекающим и вытекающим из, — заплата на заплате, шов на шве, рубец на рубце. Грубый, рваный, уродливый, расползается, натягивая ветхую ткань.

Как больно дышать. Как сладко дышать. Течение времён. Песок жизни. Оказывается, его можно пересыпать из ладони в ладонь, пересчитывать песчинки, наткаться на острые камни, стёкла, битые черепки.

Это Яффо. Жадный, жаркий, ленивый, суетный, неспешный, продуваемый насквозь морским ветром. Здесь яхты покачиваются на волнах, свет слепит, многотысячный гул голосов, сегодняшних и тех, вчерашних, — со старых снимков, стен, из пухлых семейных альбомов, из коробок с рухлядью, из сонных ларцов и запертых на засов лавок.

Прийти сюда к ночи, упиваясь прибором и тишиной (в которой звуки, встречаясь, множатся, разлетаются вдребезги), заглянуть в арабскую пеккарню, взвесить на ладони плоскую лепёшку, щедро посыпанную затром<sup>1</sup>.

Убедиться в повторяемости ритма, в уникальности мелодии, сознаться в главном. Вот город (не засыпающий никогда, в общем-то — бессмертный, со всем, что ему принадлежит, тайным и явным), а вот твоя жизнь, твой единственный путь, проходящий сквозь стены, улицы, арки, дома. Нам суждено соединиться (на день, на час), упиваясь яркостью мгновений, сожалея о быстротечности их. Нам не суждено быть.

---

<sup>1</sup> *Затр, заатар (араб.)* — общее название нескольких родственных ближневосточных трав из семейства тимьяна или душицы. Тем же словом называют приправу, сделанную из высушенных трав, смешанных с семенами кунжута и сумака, солью и другими специями.

## КОМПОЗИЦИЯ

У гроба Господня суета. Не просто суета, а композиция из десятков сотен лиц, согбенных силуэтов, коленопреклонённых, — некоторые из них напряжённо и торжественно буравят взглядом глазок камеры, — событие на всю жизнь и даже выходящее за пределы её. Распростёртый на камнях (прямо на могиле) нежный смуглый младенец в развороченных цветастых пелёнках, над ним — мать, отец, — тонкие тёмные руки, профили, одежды, — облако исступления витает над и вокруг, всё это максимально выверено композиционно, точно кадр из нескончаемого сюжета великого режиссёра, снятый великим оператором. Вот где точность и ёмкость, вот где насыщенность. В цвете, в соразмерности момента и вечности. Смешение языков и стилей, — сквозь всё и вся — шорох русской речи — какие-то женщины, краснолицые, кряжистые, в платках, японцы в галстуках, неулыбчивые лица, отягощённые важностью происходящего. Я всё это видела. Везде была. Сердитый араб всё так же восседает на стуле возле сувенирной лавки, его поза, опущенная голова, щёки, иссечённые глубокими бороздами, а эти двое так же бредут мимо, и дождь делает кадр размытым, но можно откорректировать, поиграть с резкостью, цветом, оттенками. Со вздохом отказаться от самой идеи. И больше никуда не бежать (и не идти), оставив всякую попытку запечатлевания вечности.

## КАЛЬБ

На востоке небо ярко-синее, а звёзды — огромные, каждая с голову младенца. Вдоль шоссе протянулись гранатовые сады, будто ожерелье со сверкающими камнями — бледно-розовыми, алыми, цвета запёк-

шейся крови, сдвоенными, сросшимися, — диковинные плоды Святой земли лежали в придорожной пыли, скатывались под ноги.

Гостеприимно распахнутая калитка обнаружила два расшатанных стула, покосившийся стол и качели в глубине двора. В доме жили люди, которым некуда было спешить. Это был их последний дом, последнее пристанище.

Едва слышный ветерок поднялся к ночи, прокрался к стоящим неподвижно лимонным деревьям.

Вчера младший брат жены хозяина пристрелил собаку.

Всё произошло внезапно, посреди раскалённого полуденным зноем пустыря, за которым раскинулась свалка с крадеными запчастями от угнанных машин (как выяснилось, это и был тот самый божий промысел, которым не брезговала огромная семья). На крики сбежалась вся детвора. Босоногие, в мятых майках, столпились они вокруг крутолобого беспородного пса, который большую часть времени проводил возле будки, на цепи.

Огромный подрощенный щенок пастушьей породы — его подбросили арабы с ближайшей стройки, да так он и прижился, тарахтя железной миской, отгоняя ос, лениво поваливая огрызком хвоста, откликаясь на короткое, будто взмах хлыста, имя. Неприхотливый, он обходился малым количеством воды и еды, — днём мирно дремал в тени дерева, а ночью — метался за собственной тенью и вёл беседы с летучими мышами и землеройками, которые водились в этом заброшенном углу и, похоже, подтрунивали над бедолагой — свободные, парили над его головой, пели визгливыми голосами, рыли ямы, расползающиеся, будто глубокие морщины или трещины, и вообще жили своей таинственной ночной жизнью, совершенно непонятной для простого пса, найденного в строительных джунглях Амишава.

Так бы и жил он, постепенно становясь взрослым, мудрым, скучным, язвительным стариком, но судьба распорядилась иначе. Подослав скользкое, сверкающее сталью, юркое...

Сотворив своё страшное дело, она (а это была, как вы уже догадались, змея) погибла на месте от пули младшего брата хозяйской жены.



У большинства мужчин, живущих в этих краях, имеется документ на ношение и использование оружия. Неведомо, обладал ли таким документом волоокий красавец Йоси, но блеснувшее в его смуглой руке сразило ядовитую гадину на месте — и тут же второй хлопок, истаявший в зное, обездвижил её жертву.

Неловко вывернув плечо, уткнулся оскаленной мордой в землю, так и не увидев множества зим и лет, не успев соскучиться и одряхлеть в этом заброшенном углу.

Три дня и три ночи оплакивали хозяйские дети погибшего пса, пока не привели нового — легконогую юную овчарку, с умными глазами, посаженными чуть раскосо и оттого напоминающими газельи.

Овчарка с персидскими глазами возлежала на жёсткой подстилке, шевеля чутким ухом, ноздрями втягивая доносящиеся с хозяйской половины запахи жареного мяса.

Близился шабат. Жгли костры, пылали жаровни. Во главе стола сидела хозяйка, когда-то красивая, но теперь расплывшаяся после множества родов, — с небрежно охваченной обручем пепельной гривой, она покачивала на коленях мирно сопящего младенца — тугощёкого, как и она сама, — и, подперев ладонью голову, вслушивалась в несколько хвастливый рассказ младшего брата.

Сидящие за столом громко разговаривали и смеялись, пытаясь перекричать музыку мизрахи<sup>1</sup>, доносящуюся из глубины двора.

Мясо на огне удалось на славу, шабат начался минута в минуту, с первой звездой.

Набегавшиеся за день дети мирно раскинулись на топчанах — разбросав смуглые руки и ноги, разметав каштановые, чёрные, золотые головы по жарким подушкам. От смешанной крови рождаются красивые дети. Хозяин, немного криволапый, деревня деревней, выходец из благословенной Персии, и жена его, дочь польского еврея, соединившего судьбу с репатрианткой из Марокко, — произвели на свет человек шесть или семь. Пока, спящие тут и там в тишине августовской ночи, они пре-

---

<sup>1</sup> Восточная музыка (*ивр.*).

красны. Особенно младший, трёхлетний, с ни разу не стриженной копной золотистых кудряшек. Собственно, есть ещё один, но это «тинок», младенец, он ещё не считается, знай сосёт себе грудь, вцепившись пухлыми пальцами.

Прекрасна южная ночь. Прекрасны спящие дети. Прекрасны застывшие лимонные деревья. И гордая луна над домом улыбается горько. Наблюдает из своего далека, стережёт разноцветные сны.

И только тень арабского щенка мечется по обожжённой земле, не находит покоя. Безутешная собачья душа парит над заброшенным пустырём, над остывающими углями мангала, парит и скулит, распластав неуклюжие, израненные колючками лапы. Пытается вспомнить своё имя. Короткое, как удар хлыста. Кальб. Что по-арабски означает — собака.

## ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР

**А**раб, швыряющий на чашу весов пару лимонов или пучок спаржи, не просто продаёт товар.

Еврей, сефард по происхождению, кстати, тоже.

Восточный базар — это театр, а не просто какое-то там купи-продай. Иногда — театр военных действий.

Шук — это живопись, анимация, графика. Это шарж, гротеск — от тонкого росчерка до жирного мазка.

Чего стоит плывущая вдоль рядов русская красавица, тургеневская девушка не первой и, увы, не второй свежести.

Там, на своей далёкой холодной родине, зачисленная практически в утиль — здесь цветёт, полыхает, — плывёт вдоль рядов с русой косой наперевес, — тут, впрочем, возможны варианты — русую косу заменим на пергидрольную прядь, небрежно струящуюся вдоль щеки, на волну цвета армянского коньяка, бордо, шампань — на тщательно взбитую

платиновую, а то и золотую корону, сражающую наповал темпераментно жестикулирующих идальго по ту сторону прилавка.

Плывёт, уклоняясь от предложений, сколь лестных, столь и непристойных, — плывёт, покачивая чуть продавленной, чуть увядшей, но невыразимо обольстительной для восточного человека кормой.

Или возьмём, допустим, бывшего советского клерка с сановными бульдожьими складками вдоль щёк — без галстука и авторучки, торчащей небрежно из нагрудного кармашка, потому как кармашка не наблюдается, — в пропотевшей насквозь синтетической майке и пластмассовых шлёпанцах.

Или юркую старушку с весело подпрыгивающей тележкой.

Проводив русскую красавицу — оставим же за ней это определение — долгим взглядом, восточный человек с недоумением пялится на старушку «из бывших», осколок метрополии, — старушка упоённо роется в апельсинной россыпи, ретиво откладывает в сторону порченый, по её разумению, товар.

— Ма ат оса, гиверет<sup>1</sup>? — брызжет возмущением восточный человек, — но госпожа уже знает себе цену — освоив несколько расхожих выражений на языке праотцев, она и ухом не ведёт, а знай себе неспешно сортирует цитрусы, время от времени скидывая локотки в целях самозащиты — тяжкое наследие прошлого, опыт не всегда успешных баталий: за «Колбасный отдел», — за «Сыры» — отдельно, — и ещё — за курой, синей советской курой, главным трофеем и триумфом. — А вам пора бы уже выучить русский — мы уже не первый год знакомы, молодой человек, — отчётливо произносит она хорошо поставленным «идеологически выдержанным» голосом — чувствуется, что в далёком прошлом наша героиня поднаторела в речах на разного рода собраниях, — вообразим, что пришлось пережить и какие медные трубы пройти старшему экономисту планового отдела Циле Марковне Голубчик — допустим, что звали её совсем по-иному и работала она учётицей на заводе «Трансигнал» либо учительницей младших классов.

---

<sup>1</sup> Что ты делаешь, госпожа? (*извр.*)

Прения между старушкой и арабом заканчиваются мирно — выигравшая ещё один поединок, толкает она тележку, бесцеремонно наезжая на базарных зевак, — таранит, выписывает почти виртуозные вензеля, — опупевший от старушкиной безнаказанности торговец заходится в долгом крике — от которого мурашки по коже и учащённое сердцебиение.

— Шекель! — кричит он испуганно. — Шекель! — вопит он, вращая белками глаз, успевая отслеживать следующую партию сошедших с автобусной подножки красавиц, русских, украинских, молдавских, азиатских. — ШЕКЕЛЬ! — вторит ему стройное грузинское многоголосье, — в зычный мужской рёв вплетается почти козлиное бляенье, — а по обочинам шоссе сидят молчаливые йеменские старцы — их рты забиты гатом, волшебной травкой, отвечающей за белизну зубов и душевное равновесие.

На обочине вдоль шоссе сидят йеменские старцы, а ещё — огромные пчеломатки, узбекские женщины с дешёвыми грубыми пиалушками для чайной церемонии, а ещё — с правильными казанами для настоящего плова и прочей кухонной утварью, на которой взгляд невольно задерживается, — что хочишь? — лениво вскидывается узбекская женщина и достаёт откуда-то из необъятных недр ажурное, фарфорово-фаянсовое, уже не среднеазиатско-советского обжига, а почти японское — в бледных соцветиях и лепестках лотоса, — пиала уютно ложится в ковшик ладони, — такая лаконичная, такая непорочная, такая девственная.

Раскладки никому не нужных книг, изданных в каком-нибудь семьдесят девятом или даже девяносто четвёртом, — учебники по праву, русской грамматике и китайскому, — набор отвёрток, позеленевшие лампы, зингеровские швейные машинки, велосипедные насосы, — здесь жизнь кипит до позднего вечера, — у барахольщиков свой неписанный кодекс, тонкая система уставных и внеуставных отношений — своя ячейка, свои активисты и партийные боссы, свои ревнителы и нарушители конвенции — свои Паниковские и Балагановы — свои пикейные жилеты и обитатели Вороньей слободки.

Пекарня «Ицик и сыновья» расположена на углу, в самом бойком месте.

Завидев меня, Ицик (иногда один из его сыновей или бесчисленных братьев) расцветает, сияет и демонстрирует всяческую приязнь.

Огромной лапицей он загребает порцию горячих бурекасов и суёт мне в лицо. — Попробуй — попробуй, — настоятельно рекомендует он, не в силах удержаться в рамках казённого хозяйского радушия. — Попробуй, — кричит он душераздирающе, вываливаясь за прилавок. — Кхи! кхи!<sup>1</sup> — с картошка! с яблоко! — плюёт он исступлённо, почти оскорбляясь, полыхая особенными, ициковскими чернильно-жаркими глазами, — смятенная, обезоруженная натиском, я покорно угощаюсь из ициковой руки, огромной волосатой руки, — отставив усвоенные в детстве правила гигиены — из чужих рук — никогда — из чужих мужских рук, промасленных, горячих, нетерпеливых, пропахших сахарной пудрой, ванилью, цедрой и корицей, — столь щедрых и бесцеремонных, как и весь восточный базар.

## МА НИШМА, НЕШАМА?

Литература? — спросите вы, — жизнь, — отвечу я, — что может быть интересней истощного вопля старьёвщика за окном, вторящего ему надрывного — «тапузим, клемантина, тапузим»<sup>2</sup>, а ещё вторгающегося в полусонную обитель солнечного луча и легкомысленного утреннего ветерка, колышущего занавеску.

Что может быть прекрасней грациозной кошачьей тени и движущейся следом за ней согбенной тени мужчины в праздничной белой рубашке, и шелеста его вечернего и даже ночного голоса, нараспев: «Ма нишма,

---

<sup>1</sup> Держи (*ивр.*).

<sup>2</sup> Апельсины, клементины, апельсины (*ивр.*).

нешама, ма нишма»<sup>1</sup>, — и вашего минутного недоумения, и его приветствия, и взмаха руки, и столь же неспешного шествия там же, в глубинах и руинах старого двора старого дома, и столь же напевного, удаляющегося «Ма нишма, нешама, ма нишма», и шарканья ног по ступеням, и запаха сырости, старости, благообразной, впрочем, полной достоинства и уверенности в закономерности собственного существования, — в закономерности этого вечера и этого утра, начинающегося с позвякивания кофейной ложечки, мелькания кошачьих лап, и величественного разрастания солнечного диска, и обещания тёплой и недолгой зимы.

Это обещание вы унесёте с собой, втиснете в дорожную сумку или за пазуху, словно котёнка или щенка, — и, ёжась от его необременительной, сладкой тяжести, уже засыпая, вспомните всё, что предшествовало дороге, — утренний визит птички-удода, россыпь цитрусов на кухонном столе, и эту блаженную, насыщенную звуками, запахами, трепетами и шорохами тишину, и доносящийся издали шелест «Ма нишма, нешама, ма нишма».

## ХАМСИН<sup>2</sup>

Тель-Авив

год 5758

канун Судного дня

**К**огда полезёшь на стену от духоты, а мысли твои станут раскошенным варевом, а кожа покроется волдырями, тогда, только тогда, отмокая в ванне, подставляя лицо тепловатой струе с привкусом хлора, только тогда, задыхаясь, пробегая, нет, проползая мимо летящего весе-

---

<sup>1</sup> Как поживаешь, душа моя, как поживаешь? (*ивр.*)

<sup>2</sup> Горячий воздух пустыни, «ломается» обычно к вечеру.

ло синегобокого автобуса, это если «Дан», и краснобокого, если «Эгед», только тогда, вдыхая песок вперемешку с выхлопами бензина, ожидая очереди и отсчитывая дни, дни и часы, часы и секунды, кубометры и миллилитры дней, заполняющих двуногое пространство, с фалафельной на углу улицы Хаим Озер, неважно какого города, с пьяным негром-баскетболистом на заплёванной тахане мерказит, — утопая в чудовищном гуле голосов, распухающих в твоей башке кашей из «ма шломех, кама оле, иди сюда, шекель, шекель тишим»<sup>1</sup>, ты будешь плакать и метаться по залам и этажам, сбивая по тути флажки и заграждения,

сжимая в руке билет, счастливый билет, вымученно улыбаясь свежесбритому щеголеватому водителю с ласковыми, как южная ночь, глазами гуманоида, только тогда, вздрагивая от толчка и треска, и даже тогда, взлетая в воздух, мешаясь с красными и белыми кровяными тельцами вашего соседа, изрыгая последнее, — ох, нет, матьвашу, нет, — выблёвывая свой мозг, селезёнку, утренний кофе, музыку мизрахи, надменную мину ваадбайта<sup>2</sup>, неотправленное письмо, невыгулянную собаку, просроченный чек, добродушный и неподкупный лик банковского клерка, неприготовленный обед, не изношенные ещё туфли, не успев порадоваться неоплаченным кредитам и вдумчиво взглянуть в ставшее красным небо и не вспомнить лиц, обещаний, клятв, родильной горячки, всех рождённых тобою или зачатых, возносясь в сферы, называемые небесными и смотря на массу сплюснутых, воняющих горелой резиной, вздувшихся, только тогда, не ощущая ни голода, ни жажды, ни страсти, ни вины, оставив своё либидо и своё эго, там, на заплёванной тахане, с маленьким эфиопом, похожим одновременно на кофейное дерево и китайского болванчика, и бесполезными мешками и сумками, с прекрасной бесполезной дешёвой едой с шука Кармель — пастромой, апельсинами, связками пахучей зелени, орешками, коробками маслин, плавающих в затхлой солёной водице, раздавленными куриными по-

---

<sup>1</sup> Как дела, сколько стоит, иди сюда, шекель, шекель девяносто (*ивр., рус.*).

<sup>2</sup> Управдом (*ивр.*).

трошками, слизью и кровью, вонью, мухами, истекающей мёдом бакла-  
вой на липком лотке белозубого араба,

враз лишаясь каркаса, цепей, застёжек, оболочек, ощущая ватный  
холод в ногах, улыбаясь застенчивой улыбкой невесты, самоотвержен-  
но сдирающей с себя капрон и креп-жоржет, натягивая развороченное  
чрево блудницы на остов последнего желания, отдаваясь с жаром и  
спешкой деловито сопящим архангелам — вот Гавриил, а вот — чёрт  
знает кто ещё, — мешая ультраортодоксов и хилоним<sup>1</sup>, кошерное и  
трефное, заходясь от невыразимого, ты станешь судом и следствием,  
поводом и причиной, желанием и пресыщением, — возносясь уже чем-  
то эфемерным, освобождённым от веса, пола, правды, вранья, счетов  
за коммунальные услуги, диагнозов и приговоров, споров и измен,

ты станешь аз и есмь, алеф и бет, виной и отмщением, искуплением  
и надеждой, семенем и зачатием, победой и поражением, ямбом и хо-  
реем, резником и жертвой, — чаша весов качнётся вправо, — раздирая  
рот и хватая пальцами воздух, ты будешь корчиться в потугах, выталки-  
вая смятым языком Его имя — под визгливое пение ангелов — далеко,  
очень далеко от вздыбленного хребта улицы Арлозоров и русского ма-  
колета<sup>2</sup> на углу Усышкин, от лавки пряностей с запахом амбы и корицы  
до куриных крылышек и четвертей, от маклеров и страховых агентов,  
от пабов и дискотек, от сверкающего центра Азриэли до бесконечной  
улицы Алленби, прямо к морю, к вожденной прохладе, — остановка  
шестьдесят шестого и пятьдесят первого по дерех Петах-Тиква<sup>3</sup>, — ты  
станешь глиной и дыханием, творением и Творцом,

распахивая несуществующие крылья на несуществующих лопатках,  
продираясь сквозь страшную резь от невообразимого света под истош-

---

<sup>1</sup> Нерелигиозная часть еврейского общества (*ивр.*).

<sup>2</sup> Продуктовый магазин (*ивр.*).

<sup>3</sup> Шоссе в Петах-Тикву (*ивр.*).



ный вой «Шма Исраэль», ты вздрогнешь от чистого звука шофара<sup>1</sup>, — в иссохшем сиротском небе загорится первая звезда

и прольётся дождь.

## ТАХАНА МЕРКАЗИТ

Грузовик подъехал к самому подъезду, а она всё стояла у окна, скрестив руки на груди. Тот, кто лихо соскочил с подножки и подал ей руку, был чужой. Чужой по определению, чужой во всём, в каждой подробности, — с этим выгоревшим заливчатским чубом, с золотой цепочкой на груди, — широкоскулый, с припухшим глазом, с калмыцким, степным загаром.

В кабине пахло потом, острым мужским парфюмом, — динамики подрагивали и хрипели, ухарски повизгивали голосом Маши Распутиной, дребезжали тягучим мугамом<sup>2</sup>, повторяющимся многократно, — так называемой музыкой таханы мерказит. Заметив, что она поморщилась, он положил руку ей на колено.

— Прости, малыш, сама понимаешь, пробки, конец недели. — От этого «малыш» стало ещё неуютней, но рука его уже по-хозяйски расположилась на её бедре, и она промолчала. Растопыренная пятерня хамсы<sup>3</sup> раскачивалась перед глазами — ещё не поздно сойти, обратить всё в сиюминутный каприз, в шутку, но эту возможность она упустила, — когда он затормозил у русского магазина на углу — вернулся, прижимая к груди пакет с бутылкой вина и наспех упакованной снедью, — орешки

---

<sup>1</sup> Еврейский ритуальный рог, в который трубят во время синагогального богослужения на Рош ха-Шана (Новый год).

<sup>2</sup> Восточная музыкальная форма, характеризующая монотонностью и повторами.

<sup>3</sup> Восточный талисман в виде ладони.

любишь? — жареные, — он запустил пальцы в пакет и развернул ладонь, — в лице его, обёрнутом к ней, было... такое знакомое радушие — очень мужское. Он был из тех, кто ловко откупоривает, наливает, раскладывает на тарелке грубо нарезанные ломти сыра и колбасы.

Он был голоден, жевал быстро, забрасывал в рот орешки, отпивал вино, смотрел на неё с весёлой ухмылкой, — что ты не ешь, — разве не за этим он вёз её сюда, в тёмную квартирку с окнами, выходящими во двор, со скрипучей тёткой в бигудях, выросшей как гриб на винтообразной лесенке, — разве не за этим — за быстрым насыщением, утолением жажды, голода, — иди сюда, — он потянул её через низкий столик, потянул легко и, резко развернув спиной, усадил на колено.

Он был из другой стаи — молодой волк, желтоглазый, с выступающими белыми клыками, и он любил её как мог, ласкал неумело, — поджарый, мускулистый, он подтягивался на локтях и перебрасывал через себя, — говорить им было не о чем, и они лежали, обессиленные, тяжело дыша. Сквозь жалюзи пробивался яркий свет, такой неуместный в эти минуты.

Это тогда, в парке, он свистом подозвал огромного пса, вразвалку подошёл к ней и обхватил руками, будто загребая, — не бойся, он у меня дурачок, — огромный пёс оказался щенком, — он вертел хвостом, смешно подгибал длинные тяжёлые лапы и упирался в колени плюшевой головой.

Шли по дорожке, поглядывая друг на друга искоса, посмеиваясь, болтали о всякой всячине, а думали об одном и том же. Только его мысли были быстрые, волчьи — они пахли палёной шерстью и мокрой травой, а ещё дымком потягивали сладковатым, а её — стекали тяжёлой волной, плескались юркими рыбками.

Он даже не спросил, свободна ли она, будто ответ её имел хоть какое-то значение, да и она не торопилась спрашивать, и не было всех этих милых реверансов — только ударяющее по глазам полуденное солнце, его жадный взгляд, её торопливое согласие, — не слишком ли легко она далась, сократив дистанцию до дюйма, — лежи, не вставай, — скомандовал он, и она с удовольствием подчинилась — подперев голову ру-

кой, с расслабленной усмешкой наблюдала за его передвижениями, — странно, она ощущала себя маленькой, послушной, и ей было приятно, что этот молодой волк повелевает ей.

В квартире было знакомое нагромождение случайной мебели, подобранной там и сям, но уж никак не купленной, — потёртый диванчик, разнокалиберные стулья, унылая голая лампочка, — единственная дань роскоши — безвкусная картина на всю стену, в крикливых хризантемах, — перехватив её взгляд, он улыбнулся: от прошлых жильцов осталась...

Потом какое-то немое безумие — то ли вино ударило, подкатив кислым к горлу, растеклось весёлыми ручейками, — то ли солнце окончательно скрылось за крышами пёстро наклепленных домишек, — темнота казалась пряной, обволакивающей — только светились глаза, мелькали руки, ключицы, скулы, — в какой-то момент он причинил ей боль, и сам испугался, и долго жалел её, — жалел, укачивал, засыпая, отлетая, — она жалела его, такого молодого и одинокого в этой чужой стране и уж совсем чужого ей, — перебирала слипшиеся от влаги жёсткие пряди — проводила ладонью по медной мальчишеской груди, спотыкаясь о позолоченный крестик.

Грузовик долго петлял по узким улочкам, пробираясь между натянутыми бельевыми верёвками и замершими в преддверии паствы модельными домами. Они молчали, улыбались посветлевшими, будто омытыми дождём лицами. Перед выходом, почти у самого дома, она с силой притянула его ладонь и прижала к губам.

## ДОМ АРИАДНЫ

— А знаешь, у меня теперь новая жена и новый ребёнок, — он взмахнул рукой в сторону высокой молодой женщины, укачивающей младенца. — Мальчик, — горделиво добавил он.

— А старые дети? Что со старыми? — встрепенулась я, вообразив себе двух уценённых девочек пяти и девяти лет, стоящих на пороге дома в Амишаве.

Нюма был моим первым соседом. Первым ивритоговорящим соседом, коверкающим довольно забавно русские слова. Выходец из Бессарабии, jovиальный здоровяк с маленькой, до синевы выбритой головой, он снимал квартиру в доме того же Нури, только с противоположной стороны. Как оказалось позже, счета за газ и воду я оплачивала за хозяйина и Нюму — честногоглазого вышибалу, женатого на тихой женщине в шлёпанцах и растянутой хлопчатобумажной майке. Женщина смотрела мыльные оперы и воспитывала двух замечательных девочек — Вики и Шени.

— А что с Вики? — повторила я. С тонконогой, стриженной под мальчика, впечатлительной и отзывчивой.

— Всё хорошо, всё у них хорошо, — торопливо закивал Нюма, приглашая полюбоваться «новым ребёнком».

Тем летом в нашей жизни появилась юркая Ариадна. Она свила себе уютное гнёздышко в рассохшейся стене и начинала шуршать под утро, видимо обнадёженная внезапной и обманчивой прохладой. Иногда она буянила под мойкой и деловито пробегала вдоль плитуса, выныривала за окном и замирала, сливаясь с землёй, песком и чахлой травой. Мне она казалась терракотовой, с зеленоватым отливом, и довольно дружелюбной.

Ящерица — это хорошо, это к добру, это не крыса и не таракан.

Тараканы, то есть «джуким», водились здесь в огромном количестве. В отличие от своих соплеменников, обычных домашних тараканов, эти были довольно мобильны и любили путешествовать. Это были летающие тараканы, пикирующие, сражающие цель до последнего, доводящие до истерики, до сумасшествия, до сердечного приступа.

На их фоне миролюбивый шорох Ариадны казался добрым предзнаменованием. Иногда мне хотелось взять её в руки и полюбоваться розовыми бликами на гибкой спине и пульсирующим изумрудным глазом.

По двору носились хозяйские дети и дети Ньюмы — тогда ещё совсем не старые, любимые, не подозревающие о грядущем предательстве. По стене ползла задумчивая Ариадна, а на крылечке, высунув влажный подрагивающий язык, лежала обессиленная Лайла, юная гладкошёрстная такса, безропотно разделившая судьбу новых репатриантов.

— Эти странные люди, эти странные люди так самоуверенны, до глупости, они приезжают сюда, не зная ни слова на иврите, они едут сюда с детьми, хорошо, но они везут сюда собак — такс, терьеров, овчарок, уверенные, что для всех для них уготовано тёплое местечко под солнцем, хотя бы даже здесь, в каморке жуликоватого Нури.

— Откуда такая уверенность, — сетовала Мара, моя новая знакомая, полнеющая яркоглазая брюнетка, нет, впрочем, уже тогда — блондинка.

Они едут сюда со скарбом, с детьми и с собаками так просто, без малейшей мысли о благословении, о чуде.

— Ты хоть понимаешь, что этот лимон, висящий на ветке, и эта апельсиновая завязь — это нес? Чудо? Ты хоть понимаешь, что предшествовало этому всему, как появились здесь все эти люди, похожие на обтёсанные булыжники, грубоватые, упрямые, идущие к цели?

— Я шла по шуку и прикасалась к каждой картофелине, я чистила её, и дрожащими руками укладывала в кастрюлю, и шептала заклинания, наблюдая за тем, как быстро твёрдый клубень становится рассыпчатым, нежным... Ты хоть понимаешь, что такое приехать сюда, в благословенный Эрец-Исраэль, и съесть картофель, выращенный на этой земле, и разрезать помидор, сорванный этими руками?

— Иешуа, — кричит она, — Иешуа, ты только посмотри на этих маляхольных, они приезжают сюда, заходят в супермаркет, покупают хлеб белый, чёрный, арабскую питу, лаваш, они едят пастрому, сыр, творог и даже пирожное и ещё чего-то хотят.

— Я, например, ехала домой, а куда ехала ты?

Иешуа — коренастый сухумский еврей, похожий одновременно на араба из Яффо и на Армена Джигарханяна, надевает кипу и садится во главе стола.

На столе — серебряный подсвечник и блюдо с халой. И много маленьких тарелочек с острыми и сладкими вкусами.

— Кушай, — строго напоминает Мара. — И ребёнку положи, бери ещё, побольше, всё равно такая жара, всё испортится, холодильник почти не работает. Иешуа! — кричит она так, как будто муж находится за тысячу километров от неё, но нет, он сидит по правую руку и улыбается. Лицо его покрыто кирпичным несмываемым загаром.

Иешуа — человек-загадка.

— Что ты знаешь, — стонет Мара. — Это моя головная боль! Он уходит на рассвете, идёт пешком до шука Пишпешим<sup>1</sup> и возвращается поздно, к ночи.

Где он был, что он ел, никто не скажет.

Иешуа — коллекционер, собиратель прекрасных странностей — эфиопских статуэток, картин кисти неизвестных мастеров, ваз, бутылок, шкатулок, рам. От их обилия в комнате некуда ступить и невозможно вздохнуть. В распахнутое окно не поступает воздух — впрочем, поступает, тяжёлый, горячий, с песком. Каждый день приносит новую пыль. Пыль вездесуща, живуча, неистребима. Она забивается в нос, глаза, стекает по спине жаркой струйкой.

— Что ты знаешь, — стонет Мара, протирая зеленоватую лампу с тяжёлой бронзовой подставкой. — Это моё горе, это моё наказание! День за днём я протираю, вытираю, вымываю, я была молодая, у меня были чёрные косы, веришь? Когда-нибудь, когда-нибудь, — таинственно добавляет она, — я расскажу тебе историю.

Историй у Мары не тысяча, а миллион. Когда-нибудь, говорит она и начинает. Конец одной истории становится началом другой, и так до бесконечности. В прошлой жизни Мара была полководцем, летописцем и дипломатом.

— Что ты знаешь — всё происходит здесь и сейчас, — я лежу на диване, ещё даже без лифчика, я беру трубку и говорю: соедините меня, ну, с кем ты думаешь? С Ариэлем Шароном, правильно. И соединяют!

---

<sup>1</sup> Блошинный рынок в Яффо.

Они все у меня здесь! — Она раскрывает пухлую властную ладонь и подмигивает. — Что ты знаешь, вчера я говорила с Геулой Коэн, а сегодня я умираю и никому нет дела, ни одной живой душе. Никому нет дела, государство разваливается на глазах — они отдают территории, это большая кровь, это преступление, это война, и никому нет дела. — Она вздыхает и крошит салат, вынимает из духовки рыбу и разминает запечённые на огне баклажаны. — Вы приезжаете сюда и думаете, что так надо. Привозите детей, собак, отдаёте голоса за кого попало. И что мы имеем? Все ваши проститутки уже здесь. Территории отдают, солдаты гибнут. Шабат шалом, кстати, пора за стол, — говорит она и зажигает свечи.

— Шабат шалом, — говорит Иешуа и разрывает руками халу.

— Что значит, — продолжает Мара, — всё чего-нибудь да стоит, мы, евреи, давно сюда шли, к нашему общему дому.

Не знаю, как остальным, но мне душно за роскошно накрытым столом, душно и неуютно. Я неловко раскланиваюсь и тороплюсь к выходу. К так называемому первому дому на родине. Дому, в котором светятся хозяйские окна, за которыми точно такой же стол и свечи. Слышно, как гремит посуда и ревёт младший хозяйский ребёнок.

«Шекет!»<sup>1</sup> — зычный мужской голос перекрывает галдёж, а к ногам моим бросается Лайла. Она лижет мне руки и лицо, вертится и виляет хвостом. Она так долго ждала в одиночестве и кромешной темноте и совсем отчаялась, и даже шорох ползущей по стене Ариадны и шелест эвкалиптового дерева не могли утешить её и отвлечь от острой собачьей тоски.

---

<sup>1</sup> Тише! (*ивр.*).

## ШАПИРО С УЛИЦЫ ШАПИРО

**В** незапамятные времена в прекрасном белом дворце на окраине города (за таханой мерказит) каждую среду собирались представители многочисленной эфиопской общины.

Там они могли общаться на древнем амхарском языке, угощать друг друга вкусными эфиопскими блюдами, делиться проблемами, горестями и отмечать эфиопские свадьбы, юбилеи и годовщины.

Для сохранения идентичности людям необходимо время от времени собираться в специально отведённых для этого местах, совсем не обязательно похожих на унылые амидаровские дома барачного типа в районе старого Амишава.

Пусть это будут дворцы с колоннами, белыми ступенями и гулкими прохладными залами. А какая акустика в этих дворцах! Хлопок ладони как минимум удваивается, и случайный человек, неожиданно для самого себя очутившийся в этих хоромах, наконец-то окажется равным самому себе, стоящему у огромного зеркала в вестибюле. Да здравствуют дома культуры, клубы железнодорожников и любителей хорового пения!

Обречённо ступая вслед за широкозадым работодателем в крошечной, венчающей необъятное туловище кипе, — парня звали то ли Фима, то ли Рома, — хорошо, пусть будет Фима, я старалась приучить себя к положительному восприятию реальности, — да тут нефиг делать, — не работа, а чистое удовольствие, — эфиопы народ чистоплотный, — в качестве доказательства Фима наклонился и провёл пухлым белым пальцем по ступеньке (раздался несколько обескураживающий, но не оставляющий сомнений звук) — палец действительно остался чистым, но тягостные предчувствия навалились на меня, — я, знаете ли, небольшой любитель уборок, — но тут — случайный звонок от шапочной знакомой — меня убедили, что работа абсолютно непыльная, — отказаться всегда успеешь, — сходи взгляни, что, жалко тебе, что ли?



И вот, в бессмысленной попытке с чем-то согласиться (либо опровергнуть), я встретилась с великаном в несвежей футболке и едва сходящихся на рыхлом животе шортах. — Фима, — представился он, с явным огорчением разглядывая переминающуюся с ноги на ногу меня, но всё же, не теряя присущего ему человеколюбия и оптимизма, повёл (сначала на автобусе, потом пешком), пока не оказались мы в светлом чистом здании с арками, белыми колоннами и скользкими ступеньками.

Короче, это самое — держи ключи: от входной двери — матате<sup>1</sup> и тряпка — вот здесь, в кладовке, — тяжело пыхтя, Фима нагнулся, и... о боже, я опять сделала вид, что ничего ровным счётом не слышу, боже сохрани, — я готова была показаться глухонемой и даже незрячей, лишь бы не видеть багрового Фиминого лица, усеянного россыпью коричневых веснушек.

Я понуро плелась за Фимой, опасаясь того, что он вновь нагнётся за чем-нибудь и мне вновь и вновь придётся притворяться глухой, нет, трижды глухой, учитывая прекрасную акустику этого заведения.

На этом, собственно, моя так блистательно начавшаяся карьера уборщицы эфиопского дома культуры завершилась, так и не успев толком начаться. Наверное, к сожалению, потому что воображение моё всюду рисовало одна другой ярче картины моего непосредственного участия в эфиопских празднествах и вакханалиях — не с парадного, так с чёрного хода.

Перед внутренним моим взором проплывали невесомые, почти условные силуэты эфиопских старцев в белых развевающихся одеяниях, вытесанные из благородного тёмного дерева статуэтки божественной точёной красоты, стройные, точно ливанские кедры, эфиопские юноши и шумные глазастые дети. Кто знает, возможно, я даже выучила бы сложный амхарский язык, такой архаичный и таинственный, как шорох песков и завывание шакалов в пустыне Данакиль.

Целесообразно было бы также описать мои злоключения в кабинете дантиста (итальянца по происхождению) или в доме угрюмой марок-

---

<sup>1</sup> Щётка (*ивр.*).

канской старушки, пытавшейся угрюмо всучить мне — «кхи, бишвиль елед»<sup>1</sup> — прошлогодние пирожки в промасленном пакете.

Дантист, мужчина совершенно опереточной внешности (на мою беду), оказался страстным меломаном, и, забыв о своих прямых обязанностях, я до самого его возвращения, развалившись на диванчике, наслаждалась блистательной коллекцией классики и джаза. Опомнилась, разумеется, несколько поздно, часам к пяти, — после чего мне было отказано в том, чего я и сама не очень желала.

И если разобраться, то отказы чаще всего совпадали с моим явным нежеланием и абсолютным несовпадением с местом, обстоятельствами и, по сути, являлись истинным благом для потерпевшей.

\* \* \*

Тебе нужно привести девочку из школы. Хорошую румынскую девочку из хорошей семьи румынских евреев. Ничего сложного. Привести из школы, накормить (ей восемь лет), проследить, чтобы сделала уроки (помилуйте, какие уроки в израильской школе!). Да, кроме девочки, там ещё румынская бабушка. Она не говорит на иврите, но девочка переведёт, если что.

Да, забыла предупредить. Девочка немного странная. Ну что ты сразу напряглась? Ничего такого. Ну, очень капризная, понимаешь? Кручёная, балованная. Хамит. Может ногой двинуть ни с того ни с сего. Бабушка с ней не справляется. Вообще, похоже, там давний конфликт. Три поколения в одной душной квартирке. Родители вроде зарабатывают неплохо, банковские служащие, приличные люди.

Но бабушка с внучкой... понимаешь, они какие-то лишние. Вообще. Одни проблемы. Бабушка так и не выучилась говорить на иврите. Девочка не говорит на румынском. Если чувствует, что её не понимают, шипит, царапается, топает ногами. Бабушка плачет и запирается в туалете. В общем, ты на этом не должна акцентировать внимание. Тупо забрала, тупо привела, тупо накормила. Чем? Ну, там полный холодильник, ориентируешься. И сама можешь поесть. Да бери чего хочешь! Только

---

<sup>1</sup> Возьми, для ребёнка (*ивр.*).

чтобы бабка не заметила. Редкая скупердяйка. Заложит не сморгнув.

Удочерённая минуту назад воображаемая девочка становится непреодолимой проблемой. Меня заранее тошнит. От девочки, от запаха чужого дома, быта, холодильника, запертой в туалете бабки, скандалов. Я не смогу тупо накормить. Тупо отпихнуть чужую старушку. Тупо открыть чужой холодильник.

Да, кстати, бабка немного понимает по-русски, учти. Но ненавидит всех, кто на нём говорит. Так что не спались, будь осторожна. Говори на иврите. Кивай, улыбайся. Держи дистанцию. Да что ты побледнела? Каких-то пару часов, пока эти с работы не придут.

Каких-то пару часов, и я с облегчением выдыхаю, так и не познакомившись с румынской старушкой и её внучкой. В конце концов, у меня тоже холодильник. Холодильник, ребёнок, которого нужно привести из школы и накормить. В конце концов, у меня такса на сносях!

Неважно, что это такса моего брата. Та самая, которая навалила кучу во время таможенного досмотра. Прямо на столе. Теперь она повзрослела и живёт в нашей продуваемой всеми ветрами квартире на Цалах Шалом, 66. Скоро родятся щенки, и у меня совсем не будет времени ни на румынскую девочку, ни на эфиопские свадьбы и уж тем более юбилеи.

\* \* \*

Куда-то пропали израильские сны. Помню, мне часто снился дом на улице Шапиро. Нет, я никогда не жила на улице Шапиро. Но там жил один банковский служащий с той же фамилией.

Отчётливо помню его. Живот, широкие брюки, очки в тяжёлой старомодной оправе. Пожилой, с коричневым добрым лицом, иракский, разумеется, еврей. Похож на добермана. Как звали, совершенно не помню. Но помню, что он предпочитал «нескафе им халав вэ капит сукар»<sup>1</sup>. Ави-ва (немолодая девушка с клоунским макияжем на тяжёлом, несколько непропорциональном лице) — «нескафе бли сукар»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Растворимый кофе с молоком и одной ложечкой сахара (*ивр.*).

<sup>2</sup> Растворимый кофе без сахара (*ивр.*).

Шмулик с первого этажа употреблял боц<sup>1</sup> с полными двумя ложками сахара. Шмулик был прыщавый и астеничный, с вечно холодными влажными руками. Как правило, он забежал за своей порцией кофе в крошечную пристройку.

К тому времени, когда привозили сэндвичи (с пастрамой, жёлтым сыром и малосолёным белым), все сотрудники уже выпивали по порции другой.

— Хамуда<sup>2</sup> — полцарства за чашечку кофе, — ну, на иврите это звучало не совсем так, но смысл был примерно такой.

Выпитый до официального ланча кофе считался неформальным. Заглядывая в кухню, сотрудники банка, и без того довольно расслабленные, уже на пороге выдыхали с облегчением.

Всё-таки кухня — место сакральное. Прообраз дома. Здесь можно, прислоняясь спиной к шкафчику с посудой, поговорить о личном.

Стоит отметить — в присутственных местах в Израиле в целом царит неформальная обстановка. Не стоит удивляться, если посреди приёма пкида<sup>3</sup> с невинной улыбкой трёхлетней девочки заявит: «Рак рэга, ани оলেখет лаасот пипи»<sup>4</sup>.

Как-то пакид<sup>5</sup>, возглавлявший одно из отделений банка «Леуми», — интересный мужчина с ухоженной сединой, венчающей благородных очертаний бронзовую голову, с фигурой заядлого теннисиста, сокрушённо вздохнув, заметил: смотри, хамуда, у меня нет оснований не доверять твоей платёжеспособности. Во-первых, ты красивая. Во-вторых, образованная. Уверен, ты вот-вот найдёшь подходящую работу.

Сочувственно вздыхая, он виртуозно вёл несколько телефонных бесед, ублажал капризного клиента, увещевал трепетных ашкеназских старушек, щекотал розовый живот дамской собачки с шёлковым бантом

---

<sup>1</sup> Молотый кофе, залитый кипятком (*ивр.*).

<sup>2</sup> Милая (*ивр.*).

<sup>3</sup> Служащая (*ивр.*).

<sup>4</sup> Минутку, я пойду пописаю (*ивр.*).

<sup>5</sup> Чиновник, служащий (*ивр.*).

на шее, гладил по головам чьих-то буйных двойняшек, прихлёбывал из прозрачной чашки. Его появление скучающие в очереди посетители приветствовали чуть ли не аплодисментами. По его ладной энергичной фигуре было ясно — вклады клиентов в надёжных руках.

Первым моим банковским открытием стал знойный июльский полдень девяносто четвёртого года. Единственная (тогда) русскоязычная пкида в хорошо кондиционированном зале первого этажа.

Это была необычайно притягательная женщина.

Дочь польских евреев, она родилась в Израиле и говорила по-русски с обаятельным акцентом.

Звали её Маша. Человек, наделённый обаянием, преображает самое тривиальное учреждение.

Оказавшись в банке, я первым делом искала глазами сдержанную, элегантную, улыбчивую Машу.

Даже овладев азами иврита, я всё равно занимала очередь именно к ней. Женщин такого обезоруживающего шарма я встречала нечасто.

Ужасным разочарованием стал перевод Маши в другое отделение. Место её заняла тоже владеющая русским служащая, уже из алии девяностых. Она была похожа на надутого клеща. Полная необъяснимого чванства, недоброжелательности, даже некоторой брезгливости в отношении вкладчиков. Впрочем, брезгливость её довольно быстро сменялась заискивающей любезностью перед особо уважаемыми клиентами и теми, кто оказался выше на ступень. Я предпочитала любого ивритоязычного пакида этой особе.

Переступая впервые порог израильского банка, я даже вообразить не могла, что однажды окажусь по ту сторону кулис. В завидной роли. Той самой, которая «кушать подано». Я продержусь в этой почётной роли недолго, усвоив, впрочем, полезные навыки вроде удержания равновесия с переполненным подносом. Бог знает, каким волшебным образом взлетала я с этим самым подносом на второй этаж.

Значит, так. Шмулику — кофе по-варшавски, Ронит — нескафе с су-кразитом и каплей молока (один процент), Ицику — чёрный, без молока,

покрепче, Овадье — господи, про Овадью я забыла. Овадьа не пьёт кофе. Только зелёный чай.

Я первой открывала банк. Гремя ключами, важно прохаживались по пустынному, довольно затхлому (до включения кондиционера) помещению. Тянула на себя рубильники один за другим. На кухоньке домывала стаканы после неформалов, опрокидывающих порцию-другую перед закрытием.

Блаженную тишину прерывал вкрадчивый голос заведующего отделением — приземистого восточного (кажется, персидского происхождения) мужчины со слащавой улыбкой на смугло-жёлтом лице. Этот голос вызывал у меня стойкое ощущение гадливости. И неслучайно, как выяснилось. Несколько позже этот джентльмен предстал на скамье подсудимых по обвинению в сексуальных домогательствах по отношению к банковским служащим, в том числе и к работницам кухонной пристройки. Оказалось, женщины годами и десятилетиями (зная друг о друге, о новых увлечениях и стойких привязанностях босса) терпели прикосновения его толстеньких, будто подрубленных пальцев.

К счастью, то ли я казалась ему слишком непонятливой, то ли отстранённой, то ли (к счастью) была не в его вкусе, но дальше заваривания чая в металлическом чайничке «для босса» (почти цифирь) и приготовления кофе по-восточному для важных арабских клиентов наши отношения не развивались. Хотя, конечно же, лопатками и позвоночником я ощущала присутствие этого самого «босса» и выдыхала, когда он покидал территорию кухни.

Он, помнится, ужасно гордился тем, что чай в подстаканнике и кофе на подносе ему приносит человек с высшим, так сказать, образованием, и охотно делился своей гордостью с гостями.

— Ах, какой она варит кофе, — ашкеназия, интеллигентит! — закатывая крохотные заплывшие глазки, босс со вкусом вытягивал жирные, будто смазанные курдючным салом губы. Арабский гость (чаще всего это был статный мужчина в ослепительно белом костюме, почти шейх) благосклонно взирал со своего кресла, удостоив едва обозначенной на чеканном лице улыбкой.

Счастье в том, что любое место работы я полагала временным и потому была абсолютно убеждена в том, что искусство равновесия с полным подносом я вряд ли смогу применить в дальнейшем.

Любое завершение карьеры (будь то раскладка молочной продукции, работа в керамической мастерской либо продажа мужской обуви) казалась удачным и своевременным освобождением от тягостных обязанностей.

Исключение, пожалуй, составила работа в книжной сети «Стемацки» и бойкая продажа дисков в отделе классики и джаза.

После моего скандального ухода сгорел знаменитый супермаркет «Пиканти», а заводделением банка «Леуми» сел на скамью подсудимых (за домогательства к банковским служащим). Хозяйка керамической мастерской оказалась на грани разорения, продажа музыкальных дисков в одночасье потеряла актуальность.

Насчёт книжной сети «Стемацки» ничего не знаю. Пожалуй, книжный подвал был единственным местом, откуда мне не хотелось бежать.

## СВЯЗЬ

— Знаешь, в чём цель несчастья? Цель несчастья приводит человека к тому, чтобы Святой, Благословен Он, посмотрел на него благожелательно, чтобы он стал для Него желанным. Все беды только приближают нас к Нему, делают нас приятными. «Зло» приходит к нам, чтобы мы пробудились. Всевышний преисполняется жалости и сострадания к человеку, и тот удостоивается «освещения» — света духовной радости. Таким образом, бывшие прегрешения превращаются в заслуги.

Иешуа вздыхает и ставит на место статуэтку эфиопского божка — видишь, он одинок, сегодня я найду ему пару.

Сегодня он займётся богоугодным делом — в развалах яффской ба-  
рахолки отыщет подругу для длинноногого и длиннорукого африканско-

го юноши. Божок взирает невозмутимо — и покорно проваливается в глубины холщовой торбы.

Уже из окна тринадцатого этажа можно видеть согбенную спину Иешуа, его коричневую шею и крепкие кривоватые ноги в удобных кожаных сандалиях.

Иешуа — человек-легенда. Иногда мне кажется, что он любит свою землю на ощупь — осязая каждую впадину и каждый бугорок, наслаждается ею, как женщиной. Кусочки этой земли, её разрозненные фрагменты он тащит отовсюду — со свалок, барахолки; его тёмные пальцы любовно склеивают разбитые края продолговатых фаянсовых блюд, нежно-голубых ваз, округлых кувшинов с удивлёнными удлинёнными горлышками. Будто опытный хирург, бережно пальпирует внутренности изувеченных временем предметов. Прикладывает к уху возрождённую морскую раковину и улыбается блаженной улыбкой.

Мне кажется, он говорит с ними на каком-то особом языке. В разных углах квартиры вспыхивают светильники, медные лампы освещают несметные сокровища, восставшие из руин.

— Ты это видишь, Боже? — стоящая у окна Мара воздевает полные белые руки и уже через минуту энергично стряхивает пыль с многочисленных статуэток, картин, сундуков.

У Мары крохотные изящные ступни и властные ладошки. По плечам струятся некогда чёрные волосы. К моменту нашего знакомства волосы побелели, и из жаркой брюнетки Мара стала вызывающе яркой блондинкой.

— Мечта сухумского еврея, — усмехается она, водружая на голову изящную шляпку.

Сегодня ей нужно успеть в закрытое учреждение, то есть психушку — навестить единственную дочь своей давней приятельницы Полины.

Полина, полнокровная высокая женщина с правильными — пожалуй, чересчур правильными — чертами лица, сдав девочку в дурдом, решительно помолодела. У неё началась стремительная и оттого ещё более сладкая и любвеобильная вторая (если не третья) молодость. Тут же нашлась вереница солидных состоятельных мужчин, готовых поддерживать морально и всячески одинокую женщину в интересном возрасте.



Запертая в психушке дочь испытывает к матери вполне объяснимую ненависть — особенно после того, как в результате употребления сильнодействующих препаратов лишилась передних зубов.

Эстер — так зовут девушку — большеглазое, зябкое, похожее на мотылька существо, на вид абсолютно безобидное, но лишь до тех пор, пока не упоминается имя матери.

— Что ты знаешь? — всплёскивает ладошками Мара. — Бедное дитя — она играла на скрипке, писала стихи. А теперь ещё и без зубов. Ждёт, когда мать опомнится и оплатит услуги дантиста.

Мать не торопится. Завтра, нет, уже сегодня она летит на Кипр с бывшим банковским служащим, нынче моложавым и полным надежд пенсионером — по имени Моше или Давид.

Жизнь клонится к закату, а столько хочется успеть.

— Вот здесь у меня — свежий творожок, а в этой баночке — душистый мёд из кибуца. Шоколад, вафли, паштет, апельсиновый джем, — Мара заботливо прикрывает корзинку и продолжает рассказ. — Полина привезла девочку в пятилетнем возрасте, и крошка — златокудрая красавица — подавала блестящие надежды. Всё началось со школы. Времена были дикие — девочка оказалась единственным русским ребёнком в классе. Ну, ты понимаешь, местные дети не могут похвастать врождённой деликатностью. Прошло десять лет, и пять из них Эстер живёт в этом доме — от рецидива к рецидиву. Не бойся, заходи — она только порадуется человеку с воли; главное — не оставлять её наедине с матерью.

Мы входим в светлую комнату с подростковым диваном и книжными полками. У окна спиной к нам стоит девочка.

Девочка как девочка — скорее, девушка, но худая, как ребёнок, с огромными тревожными глазами и бледной матовой кожей. Тревога сменяется надменным, даже жёстким выражением. Мара о чём-то спрашивает её, касается птичьего плеча; девочка вскидывает голову — гордая, не хочет жалости.

— Послушай, Мара, она же не идиотка. Зачем держать её здесь? Я видела, какие книги стоят на полке, и эти глаза. Она нормальна.

— Конечно, нормальна. — Мара поглядывает на часы: сегодня шук закрывают рано, а холодильник пуст. — Конечно, нормальна — но видела бы ты её в присутствии Полины. Бедняге не оставалось ничего иного. Что ты знаешь? Приходилось прятать ножи, вилки...

Мы пересекаем ухоженный парк, в котором стройные ряды алых и белых роз, а нежные завязи апельсиновых деревьев распространяют терпкий аромат.

Запрещаю себе оглядываться, но точно знаю, уверена: затворница, не отрываясь, смотрит нам вслед. Осталась ли тревога в её глазах? Или сменилась отчаянием? Или безутешной печалью покинутого всеми ребёнка?

— Шабат шалом, — молодцеватый сторож, темнокожий таймани<sup>1</sup>, запирает за нами ворота.

Шук заливаётся сотнями голосов, под ногами скользят банановые шкурки — именно здесь продаётся самый вкусный ломкий шоколад, солёные фисташки и цукаты из апельсиновых корочек.

Немолодой мужчина в майке и спортивных штанах с лампасами выкатывает зелёный мусорный бак. На ногах его — отличительная особенность русского человека — сквозь прорехи в растоптанных босоножках проглядывают чёрные носки из вискозы. По мере приближения рот мужчины растягивается в радушной улыбке, обнажающей ладно пригнанные друг к другу металлические зубы.

Для местных жителей русские — это что-то вроде цыган. Только на наших женщинах можно обнаружить скрипучие комбинации из искусственного шёлка, двадцатисантиметровые каблукы, обилие дешёвой бижутерии. И всё это — в условиях африканской жары. Только наши люди способны «скупаться на рынке» в двубортных пиджаках и умильно-детских панамках. Но только одно «но», безусловно, смягчает некоторое, мягко говоря, недоумение аборигенов.

Женщины. Девушки. Их разнообразие. Разность. Их белая уязвимая кожа. Их восхитительная непредсказуемость. Доступность, чёрт возьми! Самоотверженность и кротость.

---

<sup>1</sup> Йеменский еврей.

Ходят легенды об особенностях русских женщин.

«А вот у меня была русия...» — вздыхают добропорядочные отцы семейств, рачительные хозяева и заботливые мужья.

Русия — это лазейка в иное, иррациональное. Это фейерверк, праздник, неведомое доселе чувство свободы.

Истинные русские аристократки плывут по шуку. Полуденное солнце золотит их нежные спины. Огибает склоны и долины умопомрачительных фигур.

— Мара, золотко моё! Кого я вижу! — мужчина в майке стискивает что есть силы слабо протестующую Мару и пытается заодно приобнять меня.

Натянута улыбаясь, Мара церемонно раскланивается и хватает меня за руку — только этого не доставало: один раз сделаешь доброе дело — и всё, проходу не дадут.

Мы углубляемся в людской поток, на ходу раскланиваясь, отвечая на расспросы.

Пройти, не встретив знакомых, в этом городе довольно сложно.

Вообразите, однажды в автобусе, следующем маршрутом Бней-Брак — Иерусалим, я встретила соседку по лестничной клетке из прежней жизни.

Никуда ты не уезжала, будто говорило её лицо — довольно вздорной и недалёкой бабёнки, ежедневно вытряхивающей половики над моим окном. Бывшая соседка смело жонглировала расхожими ивритскими выражениями, внезапно срываясь на суржик, а на голове её восседала шляпка с полями. Выражение лица этой женщины сделалось строгим и богобоязненным. Теперь она говорила: у нас, в Бней-Браке.

Стоит Маре выйти из дому, как тут же в толпе образуются заторы и пробоины: кто-то обнимает её, кто-то жалуется, плачет, делится житейскими неурядицами.

Если с вами что-то стряслось, не надо звонить в «Маген Давид Адом»<sup>1</sup>. Звоните Маре.

---

<sup>1</sup> Скорая помощь в Израиле.

Если Иешуа спасает глиняные вазы, то Мара склеивает человеческие судьбы. Поднимает падших, утешает, придаёт смысл будням и накрывает столы в праздник.

Рожает с каждой роженицей и провожает каждого усопшего. Она помнит, когда и у кого прорезался первый зуб, кто вылечился и от чего... «Ай-ай-ай... Что вы говорите? Такой молодой, я же буквально вчера...»

Нет в нашем городе человека, не знающего, кто такая Мара.

Если вы думаете, что мужчина, выкатывающий мусорный бак, — обычный мусорщик по имени Фима Зайчик, малоинтересный, пожилой и беззубый, то вы глубоко заблуждаетесь.

Фима Зайчик с некоторых пор, а точнее с марта месяца этого года — не кто иной, как сам Ахашверош, царь персидский. По рынку ходят Мордехай, Эстер, Аман, царица Вашти<sup>1</sup>...

Ещё издалека завидев Мару, Фима Зайчик — Ахашверош — заключает её в свои объятия, и то же самое происходит при встрече с Мордехаем и Аманом.

Если бы вы только знали, сколько пафоса и неподдельной страсти звучало в монологах, произносимых со сцены матнаса<sup>2</sup>. А сколько смеха...

Дело в том, что роль царицы Вашти исполнял тоже мужчина. Репатриант из Аргентины, одетый в женское платье, напудренный, завитый и надушенный сладкими духами, упорно не произносил букву «ша» и вдобавок нетвёрдо выговаривал «р», и всякий раз, когда со сцены звучало «Ахасфелос», зрители, да и сами актёры, едва удерживались от рыданий.

Силами местного драмкружка, состоящего из безработных и пенсионеров, был поставлен гениальнейший из спектаклей Пуримшпиль.

---

<sup>1</sup> *Ахашверош, Аман, царица Вашти, Мордехай, Эстер* — исторические персонажи, герои «Книги Эстер». «Книга Эстер» отличается разительно от всех остальных книг, входящих в Танах. Первое отличие, которое бросается в глаза, — это то, что в этой книге, единственной из всего Танаха, ни разу не упомянуто имя Бога. И вообще повествование очень напоминает комедию масок.

<sup>2</sup> Дом культуры, клуб (*ивр.*).

А дирижировала оркестром, конечно же, неутомимая Мара. Эка невидаль — поставить спектакль в настоящем театре, на настоящей сцене, с настоящими актёрами! А вы возьмите простых, совсем неинтересных с виду людей, далёких от театральных подмостков. И тогда вы поймёте, что такое театр!

Сколько волнения, неподдельной страсти, жара, всепоглощающего вдохновения!

Всякий раз, останавливаясь вслед за Марой в любой точке города, в любое время, пусть даже в ту самую минуту, когда из-под носа со страшным рёвом срывается последний предшабатный автобус, оставляя нас стоящими у трассы с бесчисленными пакетами... всякий раз я поражаюсь терпению и любви, струящимся из её глаз.

Мара любит людей. Причём всех до единого, не делая скидок на морщины, возраст, дурной запах изо рта, чёрную неблагодарность, тривиальную подлость.

— Что ты знаешь? Я плачу и смеюсь, встречая каждый самолёт, переполненный бесценным грузом. Ты думаешь, народ — это обязательно красавцы и умницы? Это бомжи, инвалиды, выжившие из ума старушки, больные дети, мужья и жёны, любовники, пасынки и девери. Это мой народ, какой есть, другого не будет. Это они правдами и неправдами выбивают пособия, это они сплетничают, сквернословят, но это их дети. Как тебе объяснить? Плоть от плоти... Это наши дети. — Мара прикрывает глаза и откашливается. — Ну что ты стоишь? Через час — шабат, а нам ещё добираться...

Страннее пары я не встречала. Уже давно Иешуа изъясняется не простыми человеческими словами, а иносказаниями, трактовками — как будто цитирует кого-то, — он играет в слова, понятия, раскладывает слова на буквы, выворачивает их наизнанку, докапываясь до первобытного, животного и божественного содержания их. Порой меня не покидает ощущение, что Иешуа играет в какую-то игру, по-своему отыгрывается, возможно даже мстит кому-то. Сидя за столом, он сосредоточенно жуёт и вдруг оживлённо вскидывается.

— А ты знаешь, почему женщина становится распутной? Вначале в неё входит дух глупости — шота. Вторая стадия — сата — сбиться с пути. И тогда наступает последняя стадия — сота — распутная. Ты видишь эту связь?

— Да, — торопливо киваю я, проглатывая баклажаны, нашпигованные чесноком и орехами.

Я, безусловно, вижу эту связь, потому что с некоторых пор отчаянно поглупела.

Я стремительно меняюсь — похоже, сбрасываю старую кожу и обрастаю новой.

— От хумуса растёт грудь, — сообщает мне Аллочка, называющая себя на новый лад — Эллой.

Аллочка расписывает чашки и мезузы в мастерской Фанни — огромной белой женщины родом откуда-то из Айовы или Северной Каролины.

Фанни — бывшая оперная дива, единственная дочь незрячих от рождения родителей, удачно вышла замуж (кажется, в третий раз) и теперь снабжает американских евреев кошерной утварью, расписанной умелыми руками девочки из маленького украинского городка — то ли Мелитополя, то ли Херсона.

Во время работы Фанни включает стереопроектор и распахивает рот с крупными желтоватыми зубами. Она ужасно непосредственная, наша Фанни. Всё, что она делает или говорит, она делает шумно, демонстративно, почти вызывающе. Сейчас закончится очередная оперная ария и начнётся подробное повествование о климаксе, которым бывшая певица страдает с недавних пор. Фанни очень физиологична и практически не ведает стыда. Она вздыхает, ёрзает огромными полшариями зада, вспоминает о том, что сегодня у неё не было... Мелко хихикая, доверительно сообщает о том, что у неё пучит живот.

Мы с Аллочкой переглядываемся. Через час Фанни выдохнет своё знаменитое: «Пуфф», — капризно оттопырит пухлую нижнюю губу и начнёт собираться. Уже с порога она в третий раз огласит список срочных дел и унесётся в сторону благополучной Раананы.

— Свобода! — кричу я, опрокидывая стул домомучительницы.

Долой постылую оперу, долой ведро, заполненное вязким раствором. Долой ряд белых, девственно белых тарелок и чашек.

Теперь мы можем насладиться унылой свободой промзоны. Пить кофе, болтать и смеяться.

— От хумуса растёт грудь, — сообщает мне Аллочка и распахивает рабочий халат.

Что-то с нами творится здесь, в этом душном помещении, за этой металлической тяжёлой дверью, раскалённой от полуденного африканского солнца.

Мы говорим о мужчинах. О чём ещё говорить нам? Из соседнего здания доносятся мужские голоса.

Это зона. Промышленная зона. Сотни мужчин и женщин с утра до вечера выполняют бессмысленную, отупляющую работу. Сотни не старых ещё мужчин и женщин фертильного, как его принято называть, возраста.

Фертильность наша не подлежит сомнению. И оттого мы рады появлению Мусы. Муса испуганно просовывает смоляную голову в проём двери: ну, толстая ушла? Он называет нашу хозяйку «шмена», то есть «жирная», но это, разумеется, за глаза; в глаза же — неудержимо лезет. Фанни — настоящая мем-саиб, и в присутствии её великан Муса сжимается до размеров нашалившего школьника.

— Вы заметили, девочки, какой наш Муса красавец? — голосом сытой кошки интересуется Фанни.

Ещё бы; заметили и некоторое смущение самой Фанни, и то, какими пятнами покрывается щедро декольтированная грудь.

В отсутствие Фанни Муса садится довольно уверенно, забрасывает ногу на ногу и принимает из Аллочкиных рук чашку с боцем. Он бережно расстилает белоснежную салфетку.

— Баклава — настоящая, не какая-то чепуха с шука, — бери, не стесняйся — жена пекла.

Он произносит: «баклауува» — и во рту становится вязко и приторно.

Муса живёт в Газе, в небольшом домике на земле, окружённом оливковыми деревьями. Мне кажется, в каком-то сне я видела этот дом и

босого полуголого мальчика, сидящего на корточках неподалёку. Молчаливую жену, выпекающую пресные лепёшки. Бельевую верёвку через двор и тощую козу, жующую горькую арабскую траву.

— Ма шломхем, банот?<sup>1</sup>

Никого не обманывает светское начало беседы и рассказ о больших ушках младшего, то ли одиннадцатого, то ли двенадцатого по счёту, ребёнка. Через каких-нибудь полчаса из угла комнаты, прикрытого ширмой, донесутся голубиные стоны и притворно возмущённый Аллочкин вскрик — негромкий, впрочем:

— Куда, зараза, руки суешь?!

Но Муса упорно суёт, потому что Аллочка сладка и горяча, как только что съеденная, обильно пропитанная мёдом баклава, и от местного хумуса у неё растёт грудь, в чём Муса собственноручно желает убедиться, — каморка становится нестерпимо жаркой, и распалённому Мусе, видимо, кажется, что он — хозяин такого небольшого гарема; на шее его пульсирует яремная вена; кажется, ещё чуть-чуть — и налитое тёмной кровью лицо взорвётся. Всё-таки удивительные эти маленькие девочки из провинции: крохотной ладошкой Аллочка отпихивает настырного гостя:

— Ма, ата метумтам? Ма ата осэ?<sup>2</sup>

Укрощённый хозяин гипотетического гарема вспоминает, что рабочий день вот-вот закончится, а дорога в Газу занимает немало времени, часа три, и на каждом посту он, взрослый мужчина, отец двенадцати, кажется, детей, должен стоять навтыяжку перед желторотыми мальчишками в форме.

А в доме под цветущими оливами раскатывает тесто его горячая, сладкая, всегда желанная жена, которую зовут, допустим, Адавийя — летний цветок, или Азиль — нежность, а по двору бежит его сын, младший, с перевязанными ушками, — если Аллаху будет угодно, мальчика вылечат израильские врачи, но для этого потребуется разрешение.

---

<sup>1</sup> Как дела, девочки? (*ивр.*)

<sup>2</sup> Ты что, с ума сошёл? (*ивр.*)



Добрая Фанни всё устроит, вряд ли она откажет Мусе, и мальчика привезут в лучшую детскую клинику, и тогда он вырастет здоровым и крепким, как отец, и на шее его будет биться тугая яремная вена, когда, распахнув на мальчишеской груди дешёвую джинсовую куртку, купленную на летней распродаже вместе с рюкзаком и удобными мокасинами фирмы Nike, выдохнет в толпу смеющихся школьниц и стариков с тележками: «Аллаху акбар».

Это будет та самая остановка, с которой Иешуа делает пересадку на сто шестьдесят шестой автобус, идущий с центральной автобусной станции прямо к дому.

Красавица Яффа, с блошиным рынком, рыбными рядами и сбегающими к морю ступеньками, останется позади, а с высокой мечети донесётся записанный на плёнку полуденный азан<sup>1</sup>, третий из пяти в этот день.

Итак, сначала женщина глупеет, потом — сбивается с пути.

Всё по порядку. Нет, вначале я познакомилась с этим человеком. Потом...

Потом начались нагромождения глупостей, череда неприятностей и неловких ситуаций.

Таких, например, как потеря месячного проездного билета. Не знаю, каким образом выскользнул он из моих рук. Разве бегущая к автобусной остановке женщина того самого (смотри выше) возраста, да ещё после бесконечного трудового дня, в предвкушении долгожданной свободы...

Начнём строго по порядку. Тот факт, что не встретиться, не пересячься мы никак не могли, не подлежит сомнению. Каким образом могла я обойти стороной перевязанного кокетливой косыночкой-банданой, плотно сбитого мужчину с шальным взглядом голубых глаз?

Хорошо, предположим, я сделала вид, что не заметила, совершенно не заметила его заинтересованного, мягко говоря, взгляда и решитель-

---

<sup>1</sup> *Азан* — призыв к молитве. Текст один и тот же. По всему мусульманскому миру этот побудительный призыв провозглашается пять раз в день.

но двинулась в сторону пекарни Ицика на углу. В пекарне я некоторое время металась между усыпанными пудрой и облитыми глазурью марципанами и солёными слоёными пирожками. Я обожаю выпечку. Запах свежеиспечённого хлеба способен вдохнуть в меня жизнь.

Конечно же — каждым позвонком, хребтом ощущала я его присутствие, — конечно же, таинственный незнакомец последовал за мной.

Через какие-то четверть часа, сверкая глазами из-под сбившейся повязки, он поведал мне страшную тайну. И спросил, желаю ли я сопровождать его во время секретной поездки к резиденции Арафата?

То, что за всей этой удивительной историей тянется след ФСБ, не вызвало у меня никаких сомнений. Уже в однокомнатной подвальной квартирке с единственным крохотным окошком незнакомец решительно стащил со шкафа некий цилиндрический предмет.

— Это подзорная труба, — строго ответил он на мой немой вопрос и чёткими, невыразимо прекрасными движениями развернул желтоватую тряпицу.

Упоминала ли я о том, что с детских лет питаю слабость к огнестрельному оружию? Все эти гладкие поверхности, изгибы, отверстия...

— Иди сюда, быстрее, — прошептал он и сдавил моё горло довольно крепкими пальцами.

Пошатываясь, я вышла из подъезда. Должна заметить, не в первый и не в последний раз убедилась я в удивительном свойстве моей психики.

Лабильность — кажется, именно так это называется.

Меня изнасиловали, тупо констатировала я, вдыхая вечернюю духоту полной грудью.

Дело в том, что акт изнасилования случался в моей жизни не раз и не два, и я, обладая той самой пресловутой лабильностью, прослеживаю определённые закономерности.

По улицам ходит немало красивых, молодых, сексапильных и просто хорошеньких женщин. Что же такого находят во мне эти разного возраста, вероисповедания и социального статуса мужчины?

Да, уши. У меня прекрасные уши, маленькие, изящные, как у породистого арабского скакуна. Уши эти расположены по обеим сторонам

довольно милой головки, украшенной также замечательным ртом и задумчивыми глазами.

Уши мои чутки к малейшим, тончайшим нюансам и колебаниям, частотам и резонансам. Нежные, с бархатистой мочкой, они доверчиво тянутся в сторону всякого, кто произносит моё имя...

Кроме ушей, я обладаю зыбкой, неуравновешенной, плавающей походкой, выявляющей во мне человека сомневающегося, внушаемого, неуверенного в себе.

А насильники кто? Глупости, вовсе не brutальные мачо, альфа-самцы, — напротив, это люди с травмированной психикой, зачастую весьма болезненной.

При виде моих прижатых к голове ушей и зыбкой походки они, эти несчастные, видят якорь, мачту, в некотором роде спасение и утешение и несутся за мной, точно гончие по следу.

Где-то я упоминала уже о своей неистребимой внушаемости и — да — ужасном, гипертрофированном любопытстве!

Я всегда хочу знать, чем закончится история. Любая, самая невзрачная, самая плохонькая...

Один раз, ведомая собственным неуёмным любопытством, я без малейшего сопротивления последовала за молодым человеком, который честно сознался, что совершил побег из тюрьмы и давно не слышал запаха женщины. А я как раз примерно в то же самое время находилась под неизгладимым впечатлением от игры Аль Пачино в фильме «Запах женщины» — помните? Конечно, мой новый знакомый несколько не дотягивал до харизматичного итальянца...

Меня изнасиловали — шаря по дну сумки в поисках проездного билета, я убедилась, что расплата не замедлила явиться в такой банальной форме. Пострадавший отделался лёгким испугом, заключила я, потирая шею, — но, кажется, в начале нашего повествования мы говорили о глупости?

Что-то непостижимо притягательное было в медвежьей сноровке и в этой не вызывающей сомнения властности, с которой он, слегка, совсем легонько подтолкнув меня в грудь, рявкнул: сидеть!

Он сбросил короткую куртку из пятнистой маскировочной ткани, и оказалось, что плечи у него пухлые, как у купчихи, а грудь обтянута видавшей виды полосатой майкой-тельняшкой в подозрительных разводах цвета засохшего кетчупа.

Голубоглазый назвался снайпером и с удовольствием поделился воспоминаниями о том, как вот этими вот руками — тут он выразительно развернул ладные мужские ладони, — вот этими вот руками стрелял и душил, стрелял и душил.

— Чечня, сама понимаешь, плановые зачистки.

Я втянула голову в плечи.

— Ребят наших жалко, — скрипнул зубами он и жадно затянулся.

Комнату заволокло сизым дымом, словно после взрыва.

— Я человек подневольный: куда пошлют, там и работаю. Сегодня — здесь, завтра — где угодно. Хоть в ЮАР, хоть в Танзании. Поедешь со мной?

Ослабив тиски, снайпер свернулся уютным калачиком и мирно засопел.

— Пожрать бы, — мечтательно зевнул он — так мог бы зевнуть изголодавшийся хищник — и, доверительно приобняв мои плечи, поведал грустную, трагическую даже историю необыкновенной любви к третьей жене, которую случайно обварил кипятком и которая буквально через пару недель после досадного происшествия разбилась на комфортабельном лайнере Сочи — Гудермес.

— Представляешь, я мыл ей голову, а голова у неё была крохотная, облепленная мокрыми волосами, почти младенческая, — мне так и хотелось сдавить её и услышать хруст, я едва удержал себя, но вот не знаю, что на меня нашло — почему я забыл разбавить кипяток в чайнике...

Голубоглазый обхватил щёки руками и с силой потянул их вниз — будто бы вознамерившись оторвать совсем. Но щёки были довольно упитанные, переходящие в бычью шею, поросшую пегой щетиной.

Я чувствовала себя зрителем, в результате счастливой случайности попавшим на сцену в качестве главного героя, да что там — героини!

Мне надлежало сыграть свою роль по всем законам жанра. В конце концов, Его Величество Случай избрал меня, именно меня для исполнения важной, по всей видимости, миссии.

И я осталась сидеть, осталась — повинуюсь непреложному закону — увидеть, чем закончится история с русским шпионом, вербующим попутчиц в резиденцию Арафата.

— Гилель<sup>1</sup> любил повторять: моё унижение — моё возвышение, — начал Иешуа очередную шабатную речь.

В углу комнаты мерцали свечи, стол был накрыт праздничной скатертью.

— Ибо и плохое — тоже хорошее. Всякому созиданию следует разрушение, — произнёс он, не глядя в мою сторону. — В серебряных покрывалах, говорит рабейну Бахья, есть маленькие отверстия, и сквозь них мы видим золотые плоды.

Иешуа преломил лежащую на столе халу и посмотрел на сидящую рядом жену; напротив изгибались точёные фигурки, вырезанные из чёрного дерева: одна мужская и одна женская.

Шабатная звезда возшла над спящим городком, над домами, маколетами, детскими площадками.

Некто, чьё имя не принято упоминать всуе, свесив ноги с пухлого облака, вырезал в серебряной фольге крошечные отверстия-глазки. Он ловко орудовал миниатюрными ножницами, воспользовавшись, по всей видимости, моим маникюрным набором.

— Что ты творишь, Отче! — вскричала я.

Но Отче подмигнул мне, совсем как Ицик из пекарни на углу, и тогда, приложив фольгу к левому глазу, я увидела автобусную остановку и семилетнюю девочку, улыбающуюся золотозубым ртом. На голове

---

<sup>1</sup> *Гилель* (3648—3768 / 112 г. до н. э. — 8 г. н. э.) — один из величайших еврейских мудрецов всех поколений. Родился в Бавеле (Вавилоне), несмотря на происхождение из рода царя Давида, был крайне беден и зарабатывал на жизнь тяжёлым ремеслом дровосека. В возрасте 40 лет отправился в Землю Израиля, чтобы изучать Тору у величайших мудрецов, затем в течение 40 лет был главой Санхедрина (Синедриона).

девочки блистала корона, а в руках она держала скрипку, похожую на покрытую чёрным лаком китайскую шкатулку. Вокруг девочки плясали и прихлопывали в ладоши плешивый царь Ахашверош, Аман и переодетая царица Вашти.

— Видишь? — обернулся Отче, и я отшатнулась, потому что лицо у него было покрыто кирпичным загаром, а на ногах красовались пыльные сандалии из кожи.

— Ты — Иешуа? — обрадовалась я, но Отче нахмурил перевязанный пёстрой банданой лоб, и глаза его стали нестерпимо-голубыми.

Он рванул на груди полосатую майку и, скрипнув зубами, выдохнул в ставшее красным небо:

— Аллаху акбар!

## ТРОПА ЛЮБВИ

**Я** не люблю людей. Я поняла это как-то вдруг, подпрыгивая на заднем сидении нарядного синего автобуса, принадлежащего компании «Дан».

Рядовая, ничем не примечательная поездка. Всё как обычно. Проплывающие за окнами пальмы, утренняя сонливость и даже дурнота — явный предвестник надвигающейся жары.

Пассажиры — тоже часть пейзажа, впрочем, наверное, как и я сама.

Помятая блондинка в коротко обрезанных шортах, — всем блондинкам блондинка, — взбивая травлёные перекисью водорода кудряшки, льнёт к знойному малому за пятьдесят. Славный малый, оказывая даме знаки внимания, горделиво вертит ладно посаженной гладкой головой. Голова по форме напоминает репу, на вершине которой ёрзает крохотная вязаная кипа.

Чем наши женщины не обделены на новой родине, так это вниманием. Оно (внимание) вездесуще и несколько чрезмерно. Объятая этим

самым вниманием жертва — вечный источник сладострастия — гипотетического и реального. Сладострастием объята вся страна. Девяностолетние старцы ничуть не уступают юным отрокам. Сад наслаждений сулят все, от мала до велика.

Блондинка хохочет, извивается, изнемогает. Она почти задыхается, придерживаемая надёжной рукой.

Я помню её же, идущую из маколета вместе с дочерью, перекормленной девочкой лет девяти, наделённой ранними признаками женственности — мягким жемчужным жирком бёдер и груди, полуоткрытыми пухлыми губами, безгрешно обхватывающими фруктовое мороженное «Артик» ядовито-зелёного синтетического цвета и, по всей вероятности, вкуса.

Если сидящая на переднем сидении дама в шляпке осуждающе покачивает головой, то ветхозаветный старичок напротив едва ли не хлопает в ладоши. Глаза его по-детски восторженно огибают пышный фасад блондинки. Блондинка, заметив это, извивается ещё яростней, воображая себя, по-видимому, одалиской на ложе любви.

Как-то совершенно случайно (в том же, кажется, автобусе) мы познакомились, и оказалось, что в прежней жизни одалиска преподавала русский язык и литературу в провинциальном городишке на окраине бывшей империи.

Ох уж эти любительницы словесности — пресные, заторможенные девы, закомплексованные матерями и мужьями, непременно разведённые, имеющие в анамнезе не менее дюжины роковых историй.

Здесь они (любительницы) обретают второе дыхание, расправляют крылья и вряд ли вспоминают о строгих портретах седобородых классиков в полумраке учительской.

Я тоже люблю странной парой. Сказать по правде, автобусное время — это время моей личной свободы. Я могу думать о чём угодно минут тридцать, не меньше. Целых тридцать минут я люблюсь фонтаном сладострастия, как будто у меня своих забот нет. Как будто нет других, не менее любопытных персонажей.

Например, вот этих, сидящих впереди меня.

Я недоумённо озираюсь по сторонам. Автобус заполнен хихикающими, шумными, словно подростки, изнемогающими от любовной истомы взрослыми людьми. Настойчивые пальцы исследуют открытые и даже скрытые (весьма условно) одеждой участки тел.

Они щиплют один другого, мнут, льнут, елозят. То тут, то там раздаётся не оставляющее сомнений утробное воркование, чавкающие звуки бесстыдных поцелуев.

Автобус переполнен сладкими парочками, мужчинами и женщинами, которые кажутся абсолютно беззаботными и счастливыми. Выглядят они немножко странно. Девчачьи заколки в волосах взрослой женщины, лопающийся пузырь жевательной резинки в углу растянутого рта.

Ну хорошо, с блондинкой и репой всё ясно — но остальные? Кто они, эти загадочные, бесстыдно льнущие друг к другу люди?

Отчего они решительно и бесповоротно счастливы в этот будничный, ничем не примечательный день?

Почему они столь демонстративно и упоённо заняты друг другом и не найдётся ни одного мало-мальски приличного человека, чтобы одёрнуть их.

Я ждалась, ощутив себя явно лишней на чужом пиру.

Куда едут все эти люди? Куда еду я? Может быть, это какой-то специальный маршрут, чья-то благотворительная программа? Под кодовым названием «Ган Эден»<sup>1</sup>. Возможно, это некий прообраз рая? Что же мешает мне стать такой же счастливой? Некий глубокий изъян, который ношу в себе?

— Мизкеним<sup>2</sup>, — прошуршал старческий голос по левую руку от меня. — Что? — встрепенулась я. — Бедняжки, бедняжки, — старушка покачивала головой, — им тоже хочется счастья.

Воркующие мужчины и женщины в подростковых одежках оказались воспитанниками закрытого, нет, полужакрытого учреждения, — для «особых», уже никогда не повзрослеющих детей.

---

<sup>1</sup> Эдем, райский сад (*ивр.*).

<sup>2</sup> Бедняги (*ивр.*).



Не ведающих стыдного, тайного, запретного.

Для которых блёклые краски будней переливаются всеми цветами радуги, а ничем не примечательный автобусный маршрут становится увлекательным путешествием.

Хихикая, блондинка грациозно выпархивает на остановке. Выходят «репа» и весёлый старичок.

Я закрываю глаза и откидываюсь на спинку сиденья. Воркование становится монотонным и ничуть не раздражает.

Ноздри щекочет запах морской воды. Там, на конечной сто шестьдесят шестого, длинной лентой тянется побережье...

Пожалуй, сегодня я сойду там.

## ЦВЕТ ГРАНАТА, ВКУС ЛИМОНА

**Ж**енщина похожа на перезрелый плод манго — она мурлычет мне в лицо и мягко касается грудью. — Не зажигай свет, — бормочет она, увлекая вглубь комнаты. В темноте я иду на запах, чуть сладковатый, с экзотической горчинкой. Вы бывали когда-либо в апельсиновом пардесе? Сотни маленьких солнц под вашими ногами — они обращены к вам оранжевой полусферой, но стоит нагнуться и поднять плод, как покрытый седовато-зелёным ворсом цитрус начинает разлагаться в вашей руке и сладковатый запах гниения преследует до самого порога.

В окно врывается удушливая ночь с белеющим во тьме лимонным деревом. Каждое утро я срываю по одному лимону. Признаться, я и мечтать не смел о подобном чуде.

В той стране, откуда я прибыл, лимоны не растут на деревьях. Они лежат в ящиках, заботливо укрытые от морозов. Я надрежаю шкурку и вкладываю в рот моей гостьи ломтик лимона. Женщина-манго смеётся и принимает из рук моих божий дар. Это добрый знак. Она не отшатывается, а молча, как заговорщик, вбирает мягкими губами ломтик ли-

мона и нежно посасывает его вместе с моим пальцем. Я ощущаю жало её языка, мне горячо и щекотно. Женщина ведёт меня по запутанному лабиринту толчками и касаниями. Сегодня я решил быть ведомым. Легко даю снять с себя одежды и медленно обнажаю её, слой за слоем. Лёгким нажатием ладони я задаю темп и направление. Женщины ночи щедры и любвеобильны. Мои соседи, жалкий сброд на окраине восточного городка, они скупают краденое и режут кур на Йом-Кипур. Дети их красивы. Это дети от смешанных браков — тут парси перемешались с тайманим, а марокканцы с поляками. Всё плодится и размножается на этой благословенной земле. От брит-милы до бар-мицвы один шаг. Здесь нет декораций, только тощие египетские кошки у бомбоубежища, скудная эвкалиптовая рощица. За ней четыре действующих синагоги, по две для сефардов и ашкеназим, и опутанная проволокой военная база. Чуть поодаль бейт-кварот — пустынное густозаселённое кладбище со скромными белыми плитами. Всё здесь и сейчас, плодитесь и размножайтесь. У них грубые лица и крепкие челюсти. Они разделяют своих жён на купленных в кредит матрасах, раскладывают их добросовестно и неумолимо после обильно приправленной специями пищи, которая варится и жарится в больших котлах. Они зачинают ангелоподобных младенцев. Они провожают субботу и встречают её с первой звездой. Так поступали их деды и прадеды. Вот женщина, вот мужчина — треугольник основанием вниз накладывается на другой, вонзающийся остриём в землю. Её основание вселяет уверенность в меня. Она становится на четвереньки, поплёскивая замшей бёдер и пульсирующей алой прорезью между, — соединённые, мы напоминаем изысканный орнамент либо наскальный рисунок — мне хочется укрыться там, в их бездонной глубине, и переждать ночь.

Комната, в которой я живу, заполнена призраками. Говорят, не так давно здесь жила русская женщина, проститутка. Всё местное ворьё ошивалось у этих стен — на продавленном топчане она принимала гостей, всех этих йоси и хескелей. Переспать с русской считалось доблестью и хорошим тоном. Низкорослые, похожие на горилл мужчины хлопали её по заду, и кормили шуармой, и угощали липкими сладостями

её сына, маленького олигофрена, зачатого где-то на окраине бывшей империи, и совали шекели в её худую руку. Женщина была молода и курила наргилу.

Я слышу хриплый смех, вижу раскинутые загорелые ноги. По субботам она ездила к морю и смывала с себя чужие запахи, потом долго лежала в горячем песке, любуясь копошащимся рядом уродцем, и возвращалась к ночи, искривлённым ключом отпирала входную дверь и укладывала мальчика в постель. Обнажённая, горячая от соли и песка, курила у раскрытого окна, — что видела она? лимонное дерево? горящую точку в небе? мужчин? их лица, глаза, их жадные, покрытые волосами руки. Наверное, ей нравилось быть блядью. В этом сонном городке с бухарскими невестами и кошерной пиццей, с утопающими в пыли пакетами от попкорна и бамбы<sup>1</sup>. Иногда она подворовывала в местном супермаркете, так, по мелочам. Нежно улыбаясь крикливому румыну в бейсболке, опускала в рюкзак затянутое плёнкой куриное филе, упаковку сосисок, банку горошка, шпроты, горчицу, палочки для чистки ушей, пачку сигарет. Мальчик канючил и пускал слюни. С ребёнком на руках и заметно округлившимся рюкзаком выходила она из лавки. Мадонна с младенцем. В Тель-Авиве ей, можно сказать, повезло. Маленький горбун встретился на её пути, на углу Аппенби — Шейнкин. — Искусство, омманут, — закатывая глаза, пел марокканец из Рабата жилистой гортанью, повязанной кокетливым платком. О, он знал толк в красоте, в цвете и форме, объёме и пропорциях. Искусство для него было — фотокарточки с голыми девушками в разнообразных сложных позах, женщина была для него диковинным цветком с наполненной нектаром сердцевинкой. Установив мольберт посреди офиса, крохотной комнатухи в полуразрушенном здании на улице Левонтин, он наслаждался искусством. Над каждой позой работал часами, словно скульптор, — разворачивая модель покрытыми старческой гречкой костистыми руками — приближая напряжённое лицо, задерживая дыхание, наливаясь тёмной кровью. Он не набрасывался на истомлённую ожиданием жертву, о нет, скорее, как

---

<sup>1</sup> Детское лакомство из кукурузы.

гурман в дорогом ресторане, наслаждался сервировкой, ароматом, изучал меню. Выдерживая паузы, подливая вино, пока со стоном и хрипом, взбивая пену вздыбленными во тьме коленями, она сама, сама, сама...

Женщина ночи не отпускает меня. Тело её покрыто щупальцами — они ласкают, укачивают, вбирают в себя, — у неё смех сытой кошки, тревожный и чарующий. Смеясь и играя, мы перекатываемся по топчану. Вином я смазываю её соски, и она поит меня, покачивая на круглых коленях. Призрак белоголовой мадонны с младенцем там, на обочине дороги, за лимонным деревом и свалкой, тревожит и смущает. Она протягивает руки и бормочет что-то несуразное на славянском наречии, таком диком в этих краях. — Пить, пить, — шепчет она, — её ноги в язвах и рубцах, а сосцы растянуты, как у кормящей суки, — пить, — просит она без звука, одним шелестом губ, — завидев мужчину, она кладёт дитя на землю и привычно прогибается в поясице. У женщины ночи терпкий вкус и изнуряющее чрево. Ещё несколько мгновений она будет мучить и улаживать меня, под заунывные и вязкие песнопения Умм-Культум и причитания сумасшедшей старухи из дома напротив.

## ЕГИПЕТСКАЯ ПРИНЦЕССА

— Ты будешь секретаршей, секретаршей у большого начальника, — выдыхала она мне в лицо, — как ни пыталась я ускользнуть от её душливого внимания, мне это не удавалось. — Увидишь, ты будешь секретаршей. — Видимо, дальше этого её воображение не простиралось. — Ну что, милая, хамуда, ты уже нашла работу? настоящую работу? — кричала она из окна и приветственно взмахивала рукой.

В то время я как раз выгуливала новорождённых таксят, которых родила собака моего брата. О ней отдельная история. Роды были тяжёлыми, но, слава Создателю, пятеро из семи остались в живых, и теперь роженица с истончившимся от страданий профилем лежала на пахучей

подстилке, а я выносила её детей «подышать свежим воздухом», если можно так сказать о спёртом воздухе марокканского предместья. Я выносила их одного за другим, прижимая к груди. Вначале всех пятерых, потом последышей, похожих на крысят, Зосю и Басю. Я подставляла их чахлые тельца солнечным лучам и гладила сплпшующая медно-подпалую шёрстку. По несколько раз в день я кормила их из детской бутылочки молочной смесью — хоть Лайла и была примерной матерью, но молока на всех не хватало, младенцы повизгивали и отталкивали друг друга, обнаруживая невиданную волю к жизни, — самые слабые так и не дотягивались до истерзанных полупустых сосцов.

Завидев меня со щенятами, она брезгливо морщилась. Так ты никогда не найдёшь настоящую работу. Работу секретарши, ты должна забыть о глупостях, выучиться и стать человеком. Ат хамуда<sup>1</sup>, добавляла она в утешение и трепала меня по щеке. И медленно поднималась по лестнице, распространяя удушливый запах цветочных духов и сладкой пудры. Пудра слоями лежала на её лице, малоподвижном, размалёванном однажды и навеки, с ниточкой нарисованных бровей, багровой полосой губ, — эта манера трепать по щеке раздражала меня, но я никак не успевала вовремя вернуться. Ат хамуда, — бормотал приземистый марокканец Ами, выуживая из кармана спрессованный ком халвы. От щедрого дара я всё-таки успевала вернуться, но от потрёпывания по щеке почти никогда, — иврит ещё не стал моим вторым языком, и я никак не могла уловить момент, за которым вполне дружественное соседское приветствие переходило в стадию шокирующей фамильярности. Ат хамуда, — повторял он, сладко улыбаясь, раздвигая желтоватую гармошку рта в крошках халвы, — ат хамуда, — проговаривал он, выдыхая в лицо спёртость марокканского гетто, амидаровского барака, кошачьего притона с живописными лужицами на лестнице, с запахами куркумы, камуна, всей этой пряной смеси, настоенной на мугамах какой-нибудь новоявленной Сарит Хадад, на скученности этого «хумусо-тхинного»

---

<sup>1</sup> Ты славная (*ивр.*).

пространства, на смеси диалектов, ливийских, египетских, марокканско-французских, на гроздьях хамоватых гаврошей, заглядывающих в окна первого этажа, выстреливающих отборным матом своими упругими розовыми язычками: има, има — дай, има<sup>1</sup>, — гортанным подвыванием маленьких притворщиков, оболваненных манкуртов с улицы Цалах Шалом, 66.

Мысленно я прослеживаю траекторию своего передвижения по улице Цалах Шалом, начинающейся с остова военной базы, опутанной подобием эвкалиптовой рощицы, и заканчивающейся матнасом, можно сказать, эпицентром всех значительных событий в шхуне<sup>2</sup>. Подавляя приступы тошноты, я оставляю позади гостеприимный торговый центр, раскинувшийся овощными прилавками, почтовым отделением, парикмахерской, кабинетом ветеринара, решительной русской женщины по имени Лиля, короткостриженной, с бульдожьей хваткой мускулистых рук, с энергичными крепенькими ножками, напоминающими ножки от рояля, — совмещающей трудовые будни с легкомысленной подтанцовкой на свадьбах и бар-мицвах в ресторане с многообещающим названием «Голубая лагуна».

Позади остаётся центр вечернего досуга со светящимся телевизионным экраном, несколькими шаткими столиками, темпераментными футбольными комментаторами, — несколько лунатических лиц под загадочной ориентальной луной, — скопище маргиналов, ведущих, впрочем, вполне упорядоченный образ жизни: кос-кафе<sup>3</sup>, затяжка, футбольный матч, прогулка на пёстром автобусе до торгового центра, — наряд — шлёпанцы с малоаппетитными отростками пальцев, майка, шорты. Разнообразии человеческих лиц в диапазоне от карикатуры до трагикомического фарса, где марокканская нервозность сменяется медлительной персидскостью, левантийской раскованностью и хриплым

---

<sup>1</sup> Мама, мама — перестань, мама (*ивр.*).

<sup>2</sup> Шхуна — район (*ивр.*).

<sup>3</sup> Чашка кофе (*ивр.*).

сексапиллом местных лолит, нежных отроковиц, увешанных мобильниками невообразимых цветов и фасонов. Утренние русские старушки капризно перебирают магазинные грядки, яростно торгуясь с сонными лавочниками. Их российско-ивритский суржик умилительно-смешон, их отчаянная попытка отстаивать свои старушечьи права на новой родине трогательна. Как быстро, однако, распрямляются униженные плечи в этой благословенной б-гом иудейской пустыне, как небрежно и высокомерно поучают они новеньких, растерянно озирающихся в этом благолепии, в этой ближневосточной нирване, в утешительной близости от бомбоубежища, в ласкающих взор и слух ценах на цитрусовые, под кликушечьи песнопения полуграмотных морот<sup>1</sup> в ближайшей одноэтажной школе — три притопа, два прихлопа, — напичканные сомнительной ценности сведениями, выползают школяры на свет божий. Вот оно, торжество и тождество, вот она, главная цель и достижение, круглые макушки, от белобрысых до апельсиновых джинджи<sup>2</sup>, от плюшевых, в негроидных завитках, до васильково-колокольчиковых, брянско-белорусских, — детский гам и гомон оживляет время сиесты, а вот и старушки на подхвате — ведут свои сокровища к борщам, чолнтам, солянкам, — это ли не везение, это ли не удача, каждому дитяти по русской бабушке, марокканской, йеменской, любой.

А вот и автобус, нарядный автобус пролетает мимо сидящей на мостовой огромной женщины, ещё не старой, со слезящимися трахомными глазами, она сидит прямо на асфальте, вытянув обездвиженные ноги. Не отворачивайтесь в суеверном ужасе, женщина эта всего лишь элемент пейзажа, фрагмент мозаики — таинственным образом появляется она в одном и том же месте, окружённая разноцветным хламом. Похоже, собственные дети выставили несчастную за порог дома, не навсегда, впрочем. Иногда вокруг стенающей, извергающей поток проклятий то ли на арабском, то ли на ладино, образуется круг сочувствующих небрежливых аборигенов. Кивая головами, выслушивают они душераз-

---

<sup>1</sup> От ивр. *мора* — учительница.

<sup>2</sup> Рыжие (*ивр.*).

дирающую историю, похожую на нескончаемый сериал. Рядом стоит эфиопский старец в белом парусиновом костюме и канотье. Его узкие кофейные запястья блестят на солнце, как отполированное временем благородное дерево. Опираясь на трость, он кивает головой и блаженно улыбается, непонятно кому, то ли кричащим согражданам, то ли собственным эфиопским мыслям в благородных очертаниях голове. Шекель, шекель, — цокают копыта, — на повозке груда арбузов, — юркие мальчишки с готовностью раскалывают огромные шары, орудуя ловко и споро устрашающими тесаками, — сладки, попробуй, гверет! Пара арбузов неизменно остаётся разможжённой на проезжей части, сладкая кашлица расплзается по асфальту, являясь отличной приманкой для назойливых мух.

Вскоре я начинаю различать эти лица, вникать, пропитываться духом странного местечка, этакого Макондо, в котором если кто и спит по ночам, так это те самые упахавшиеся «русские», которые благо и божий дар для персидской старушки, сдающей однокомнатную хибару на земле за триста зелёных, или для бухарского маклера с золотой цепью на мохнатой груди, этакого эфенди, бея, эмира. Всё утро он возит нас в роскошном авто с бархатно урчащими динамиками в надежде свести интересы персидской старушки, жующей сухой ниточкой губ в своём гранатовом пардесе, да хранит её господь, с интересами вновь прибывших, ещё совсем глупых, свежих, как молодые петушки, наивных новых репатриантов с застенчиво опущенными ресницами, с необожжённой ещё девственной кожей, с ещё внятными интонациями московской, питерской, киевской речи, с ещё свеженькими «теудат оле»<sup>1</sup>, удостоверяющими новую личность, рождённую буквально вчера, в аэропорту Бен-Гурион, у стойки равнодушно-доброжелательного клерка.

Сидя под раскалённым навесом на автобусной остановке, я испытываю острый приступ томления по чему-то несбыточно-устойчивому

---

<sup>1</sup> Удостоверение личности (*увр.*).



в моей жизни, по такому вот родовому гнезду, пусть и расположенному прямо у шоссе. Этот дом строился не один год. Хозяин, небольшого роста турецкий еврей по имени Пино, он деятелен, криклив, обстоятелен, — его участие в мизансцене насквозь значительно, — вокруг него вертится весь этот женский мирок, с необъятной «имой»<sup>1</sup> на пороге дома, выгревающей вместе с тюфяками и матрасами свои старые кости, со средних лет женщиной, видимо женой, которая с утра и до вечера пребывает в беличьей суете. Её напряжённый профиль мелькает тут и там, а натруженные смуглые руки не знают усталости, — впереди шабат, а тесто ещё не готово, а стирка, а дети, — детей, кажется, штук пять или шесть, — самый младший, второй Пино, тоже центр мироздания, бронзовокожий наследник, — переваливаясь, угукая и пуская слюни, он подкатывается к бабке. Бабка вторит ему, выпячивая нижнюю губу, достигающую кончика носа, — дитя радостно смеётся и пытается ухватить старуху за кончик этого самого носа, но тут появляется хозяин, и всё сливается в клёкоте, в выразительной пантомиме, под разудалое мизрахи из покорёженного авто выгружаются свёртки со снедью, многочисленные пакеты, уже пахнет жареным мясом, бабка смеётся, хлопает в ладоши, сверкают гуттаперчевые ягодички младшенького.

За автобусной остановкой следует улица с претенциозным названием Чикаго. Чуть поодаль можно увидеть свалку и мой первый дом на родине, небольшую фазенду многодетного Нури, человечка, похожего на аккуратно упакованный окорок. Сражённая невиданной благочестивостью и религиозным фанатизмом моего квартирного хозяина, я предполагала в нём наличие прочих положительных качеств, но жестоко просчиталась. Даже моя способность легко умиляться при виде очаровательных золотокудых отпрысков быстро сошла на нет. Нури оказался настоящим бандитом.

В оправдание ему всё же могу отметить, что детей следует кормить, и хорошо кормить, и вот тут-то расчётливого Нури с подпрыгивающей

---

<sup>1</sup> *Има* — мать (*ивр.*).

на упитанном затылке кипой укорить не в чем. Дети — это святое. Особенно свои.

Дети — это святое. Дети и кошки. Кошки и дети. Постепенно и то и другое перестало вызывать слезливое умиление. Кошки с улицы Цалах Шалом оказались тощими и драчливыми. Моя несчастная такса панически боялась их, впрочем, детей она боялась ещё больше. При виде алчно загорающихся детских глаз она начинала судорожно рвать поводок, пытаясь скрыться от настырного внимания неискушённой детворы. Бегущие вслед за нами остервенело лаяли, размахивали палками, но тут же пускались наутёк, стоило мне сделать вид, что я готова спустить с поводка заливающуюся нервическим визгом собаку.

Всё проходит, и моё путешествие по улице Цалах Шалом близится к завершению, и уже сидя на кухонном столе в полупустой квартире, я с некоторой грустью поглядываю в окно, — все эти случившиеся в моей жизни люди уже не кажутся чужими.

Весь этот пёстрый скандальный мирок, с носатыми старухами и их сыновьями, с кошками и торговцами арбузами, с восточными сладостями в кармане одинокого соседа, предающегося постыдному греху дождливыми вечерами, — сидя в машине, под позывные из другого мира, он исполнял маленькие ночные серенады, терзая своё нестарое ещё тело умелыми смуглыми пальцами. Доброжелательная дама с третьего этажа оказалась египетской принцессой. В её доме стояли книжные полки, покрытые вековой пылью. Раскрыв одну из книг, я коснулась засушенного цветка, который рассыпался моментально. Сквозь причудливую арабскую вязь сквозило дыхание ушедшего мира. Аба шели ая цадик<sup>1</sup>, — произнесла она, обнажая в багровой улыбке ряд искусственных зубов. Он был учёный человек, писал стихи — настоящий насих<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Мой отец был святой (*ивр.*).

<sup>2</sup> Принц (*ивр.*).

На стене висел портрет молодого мужчины с породистым тонким лицом и зачёсанными назад волнистыми волосами... Ат хамуда, — добавила она и потрепала меня по щеке. И прошептала в ухо, обдав волной тяжёлого парфюма: «Не поддавайся им, девочка, будь сильной, — мне уже отсюда не выбраться».

Упакованные книги отбыли в другой район, но телефон ещё не отключили, а по старенькому приёмнику передают мою любимую тему — Confirmation Паркера, такую неуместную в этом безумном мире, но примирающую с любыми обстоятельствами места и времени.

## МОЛОЧНАЯ КОРОЛЕВА

Как они все живут, как живут эти люди, ездят в утреннем и вечернем транспорте, раскладывают молочную продукцию, выпекают хлеб, улыбаются друг другу через прилавок...

Пожилой араб, усаживаясь на перевёрнутый ящик, с нескрываемым сожалением поглядывает на меня, хлюпающую носом в холодильной камере супермаркета.

— Нельзя тебе здесь, — произнесёт он хрипло и затаенно горьким глотком боца. Боц — для несведущих — если перевести с иврита дословно — грязь, но вообще-то кофе. Чёрный кофе, смолотый в пыль и залитый крутым кипятком.

Нельзя, — мысленно соглашусь я, опрокидывая ящик с порционными стаканчиками взбитых сливок. Ящики громоздятся один на другом, штук десять. Может, и больше.

Здесь, за полиэтиленовыми кулисами, сыро и промозгло.

Молочная продукция не заканчивается никогда. Не заканчивается и потребитель. Утренний, дневной, вечерний.

Руки дрожат. Спотыкаясь, бегу за следующим ящиком. Ещё немного, я привыкну. Ещё чуть-чуть, начну жонглировать цветными пластиковыми стаканчиками, баночками, крышечками. Сливки со вкусом сливок, кофе, шоколада, карамели, клубники, банана, киви, чернослива, кураги... С ароматом апельсина, лайма, корицы. Три по цене двух. Пять по цене четырёх. Кому сливок, кому простокваши, кому молока?

Когда-то давно, в другой жизни, я просыпалась от истошного вопля «молочной женщины». Женщина с бидоном. Если она кричит «ма-ла-ко-о-о», значит, пора в школу. «Ма-а-ла-а-ко-о» цвета зябкого утра, с каплей синеватых сливок. Только настоящая молочница может так кричать. Так страстно, так неистово... Клич самки.

Накормить народ молоком. Кое-как причёсанных женщин, полузастёгнутых мужчин. Молочная женщина не церемонилась. Покрикивала, подгоняла. Она родилась с половником в руке. С зычным голосом. С просторной, полной молока грудью.

Интересно, если я заору «ма-а-ла-а-ко», меня уволят?

Поглядывая на часы, отсчитываю секунды. Ещё часа два, я выйду из зала и побреду к автобусной остановке. Проеду мимо промзоны, кладбища, указателя при въезде в город.

Выдохнув, войду в лавку на углу. Кажется, она ещё открыта. Хватит ли у меня сил улыбнуться плотному человечку по ту сторону прилавка? Смуглолицый человек, назовём его Ашер, или Нисим, или Моше, — подбросит пару горячих лепёшек и опустит прямо в бумажный пакет.

— Как дела? Всё хорошо? — спросит он, не прекращая ладных движений, лепёшка падает именно так, а не иначе — вот уже много лет она взлетает и падает, запущенная умелыми смуглыми руками. Она вращается и плавно оседает на противень. Пахнет дымком, затром, кунжутот. Я очень устала, говорю я, хотя на самом деле улыбаюсь из последних сил.

Прижимая промасленный пакет к груди, шагаю к дому. Двадцать минут свободы. Прохожу мимо фалафельной. Оттуда тянет обжаренным нутот и прогорклым соевым маслом. Мелкий люд толпится неподалё-

ку. Мальчишка на велосипеде. Мамаша с тремя детьми. Один совсем младенец, почти голый, копия матери — такой же круглолицый, с любобпытными маслинками глаз. Красивый тайманский ребёнок. Похоже, торговля идёт бойко. Слева — фалафель, хумус, справа — пицца.

Самое время для короткого жаркого перекуса. Здесь, в этом городе, всё коротко и жарко. Стремительно. И любят так же, как поглощают промасленные лепёшки. Жадно, с воодушевлением. И только. Здесь нет полутонов. Разве что кошачьи тени, ползущие по вздыбленному асфальту.

А вот и Нахум. Нахум — тщедушный подросток. Первенец. Старший в многодетной семье, живущей этажом ниже. Нахум совсем мальчик, но чёрный пух уже вьётся по выступающему подбородку, глазищи горят.

— Ты красивая, — сообщает он мне, поплёскивая этими самыми глазищами. — Ты знаешь, что ты королева? — Он обгоняет меня на велосипеде, белая рубашка светится в темноте, быстро мелькают спицы.

Я королева. Я королева маленького королевства. Нахум знает что говорит. Ведь он не вполне обычный мальчик. Поговаривают, что у него якобы «не все дома». Во всяком случае, единственный из всей семьи, — штук девять шумных детей, и это не считая взрослых, — Нахум помнит моё имя.

— Ты не русская, — говорит он, — ты другая.

— Какая же? — улыбаюсь я.

— Не знаю, — опускает голову он, — другая, и всё.

Здесь, в этом крошечном городке, деревья не отбрасывают тени. Огромные звёзды висят прямо над головой. В темноте игрушечные дома уже не кажутся грязно-серыми. Скорее, нарядными. Из-за перевёрнутого мусорного бака выныривает белая рубашка Нахума. Она раздувается, точно парус.

— Ат юдад, — кричит Нахум, прижимая кипу к затылку. Затылок у него стриженный, а каштановые локоны подпрыгивают вдоль худых щёк. — Ат юдад, ше ат малка шели?<sup>1</sup> — кричит он, поравнявшись со мной.

---

<sup>1</sup> Ты знаешь, что ты моя королева? (*ивр.*).

Растирая колено, хохочу во всё горло. Шарю по асфальту в поисках пакета с лепёшкой.

Овощная лавка, амбарный замок, лимонное дерево на углу. Распахнутые трисы первого этажа, гул голосов из ближней синагоги. Удушливый запах гамбы, табака и сладкий — цветущего миндаля.

— Да, — захлёбываюсь я, давлюсь и опять хохочу, — я твоя королева — ты мой король — а это — наше маленькое королевство.

Ума не приложу, как бы я прожила этот год, если бы не догадывалась об этом.

## КАНУН ПОСЛЕДНЕЙ СУББОТЫ

А сейчас по просьбе Коли из Джекказгана, — вкрадчивый говорок, прорывающийся в эфир сквозь скрип и вой — то интимной почти щекоткой в ухе, то утягивающий куда-то в воронкообразную бездну, — из Лондона с любовью, — год, страшно сказать, семьдесят седьмой, — за окнами слепо и темно — там долгая зима и скрип полозьев, а здесь, в тиши кабинета, говорящий ящик, голосом Севы Новгородцева — лёгким таким, доверительным говорком: а сейчас, по просьбе Коли, бедный Коля — сдал тебя упивающийся собственным красноречием Сева — вместе с твоим Джекказганом — несгибаемым мужам со стёсанными ликами идолов острова Пасхи, — судьба Коли неизвестна, — жив ли — строчит ли мемуары, бедствует ли, педствует (почти по Бродскому), — неведомо, — одно ясно, Коля любил рок, беззаветно и преданно, — отрёкся ли он от своей страсти, представ пред сильными мира сего, — в джекказганском своём заповеднике, — мир явился нам именно таковым, изнанкой, грубым швом, попахивающим незалеченной молочницей, и не о Коле речь, хотя, возможно, в своё время мы доберёмся до жизнеописания вышеупомянутого, — но вернёмся, год семьдесят седьмой, мир развернулся раскоряченным задом, подтёртым вчерашней газетой,

казёнными стенами роддомов, разъеденных стафилококком, — монотонным раскачиванием в детских кроватках — запах манки и киселя, густой, плотный, — много крахмала, коровье молоко, — всё неизменно, как и монументальные фигуры тех, чьи руки нас принимали, — простые женщины, добрые няни, — честь вам и хвала, — но чу, не сжимается благодарно моё очерствевшее в скитаниях сердце, — если и вспомню что, то чужое, чаще враждебное, вывернутые кисти рук в кабинете старшей медсестры, запах зелёнки, йода, — подчинение чьей-то недоброй, взрослой, безразличной и оттого страшной воле, или вот это, уже не детское, разумеется, — всё тот же унылый вид из окна, — оскоплённый жёлтый свет в коридоре, окликлый предбанничек же, — на жёсткой кушетке — чужая девочка, — во всём этом могильном ужасе, — всему чужая, чужого роду и племени, готовится к наиважнейшему в своей бесполой жизни, если не считать первого мокрого поцелуя, то ли от дождя, то ли от обильного слюноотделения, под грохочущие двери лифта на каком-то там этаже, но мы отвлеклись, — она немного заискивает перед исполином в юбке, — с огромными ручищами, крохотным личиком олигофренши, — в стоячем колпаке, — чем не Босх? — санитаркой ли, исчадием ада, надвигающейся на неё с ржавым лезвием, — всюду мыльная пена, миазмы смерти и унижения, — преодолев один стыд, обезличенно, точно выбритый наголо зэк, отдаёшься во власть другого, — никто, и зовут никак, и будешь никем, — уже без стыда почти обзревая свою плоть откуда-то сверху — сквозь пелену извечной бабьей муки, разрывающей твоё детское ещё нутро, души нет, она умерла от бесчестья — распластанная на холодном столе, она готовится к новому воплощению.

Ты помнишь Колю из Джезказгана — нет, ты помнишь всех этих отважных мальчишек, — твоему отцу было куда меньше, чем тебе теперь, — с запретным самиздатом, кухонными посиделками, все эти голоса, пробивающиеся сквозь сатанинский вой глушилок, — из Кельна, Лондона, Вашингтона, Иерусалима — «Коль Израэль», — думалось ли мне? воображалось? — сколько беспросветных рабочих часов, скрашенных

влюблённостями, я проведу под звучание этого голоса? Уже лишённый таинственного фона шуршащих песков, очарования ориентализма, нелегальности — выхолощенный, обезличенный, как и все прочие голоса, — уже на новой, исторической моей родине, под новости о новых терактах, об убитых, раненых — под рекламную жвачку, под радостные вопли тёть и дядь, побеждающих в бессмысленных викторинах, под бесплатные советы адвоката Миши Штутмана — кто на проводе? — вас беспокоит заслуженная пенсионерка Бэла Левинзон, — что ви мне рот затыкаете? — смотрите, какая нервная, я тоже нервная, — скажите, они так и не привезли шкаф? а полочки? — а ваш зять подал на развод, а раввинат, нет, — я вам таки скажу, — нет, это я вам скажу, — в тот день, осатанев от беспросветной скуки и слепящих солнечных лучей, я села в попутку, — услышав имя Муса — вздрогнула — интифада, похищения солдат, убийства, смертницы с воплями «Аллах акбар», щёлкая изогнутыми клювами, подобно мифологическим птицам, распахивают злоевающие крылья — под ними обнаруживается некая перепончатая мерзкая масса, — юные смертники, вполне половозрелые шахиды, возносятся к небесам в слепой надежде на продолжение банкета в обществе семидесяти двух девственниц, белотелых, тонкокожих, «напоминающих красное вино в прозрачном бокале», свободных от физических изъянов и обычных женских недугов — менструаций, менопаузы, привычки мочиться и опорожнять кишечник, — лицо попутчика было небритым, вусмерть замордованным, по-собачьи добрым, — полчаса мы провели на пустыре за городом, под пение цикад или сверчков, — я старалась не измять юбку, — зажжённая сигарета осветила тёмные подглазья и складки, идущие от крыльев носа, и седой ёжик — почти Довлатов или Омар Шериф, минус интеллект, ирония, талант, пьянство, цинизм, дендизм, если хотите, хотя кто знает, с какими мерками подходить к этим — иным — братьям нашим, — перед самым отъездом я встретила его, неузнаваемого, смертельно больного, покрытого пепельным налётом — уже небытия — в приёмном покое медицинского центра Davidoff, — опять была летняя пытка, влага, и странная мысль: зачем судьба дарит эти встречи, бессмысленные на первый взгляд, — не ду-



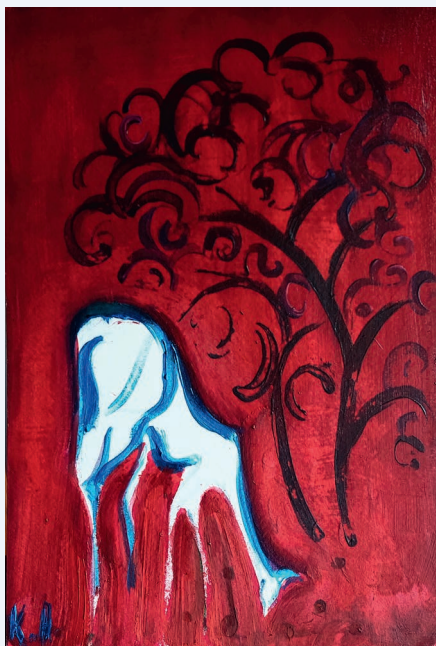
маю, что мы когда-либо ещё встретимся на древней этой земле, под пение сверчков ли, цикад ли, — мысли об измятой непоправимо юбке, о следах шершавых поцелуев, похожих на комариные расчёсы, — уже видела себя верхом на осле, покорно сидящей задом наперёд, с болтающимися безвольно ногами, под улюлюканье всегда готового к бесплатным развлечениям плебса, ни дать ни взять — готовая иллюстрация к «Белой книге», — собственно, ничего значительного не произошло, вместо ульпана я брала уроки иврита, живого такого, разговорного, уличного, с самыми важными словами, едкими соками, междометиями, рычанием, кошачьими воплями, рассекающими синеву ранних сумерек, освещённых ориентальной луной, — нельзя познать страну и не познать народ, если не с парадного крыльца, то с чёрного хода хотя бы — от перса до иудея.

Я развёлся, мой сын вырос, я болен, — губы его были серыми и безжизненными, они шевелились, а покрытый испариной лоб стал гораздо выше — седой ёжик поредел, и за обыденными словами угадывалось: я болен, мой сын вырос, я одинок, я никому не нужен, моя жена наконец ушла от меня, но вместо вожденной свободы — больничная койка и мятые пижамные штаны, я болен и не нужен никому, — он помнил моё имя и многое другое — он помнил такие подробности, о которых я позабыла давно, — я успела вырасти, повзрослеть, похорошеть, составить, умереть, опять родиться — я успела сбросить кожу и нарастить новую, — а ты всё такая же, — бедный Муса, — он врал мне, а может, и нет, — возможно, он видел иным зрением, не похотливым, как тогда, не откровенно мужским, а иным, — с осторожностью он коснулся моей руки, и лучи от уголков его глаз расползли по всему лицу.

Мы можем посидеть в кафе, съездить к морю, — взгляд его был тоскливым, как у бездомного пса, но я прекрасно помнила, каким назойливым мог быть он, тогда, обрывая телефон, появляясь под окнами, пугая соседей и подвергая сомнениям мою и без того хлипкую репутацию, — Муса, — сказала я как можно более мягко, но твёрдо вместе с

тем, тут важно не промахнуться, не переборщить, — ещё чуть-чуть, и я со своим идиотским характером начну жалеть его, и, проклиная всё на свете, поеду к морю, и буду выслушивать жалобы, и жаловаться сама, мы будем обнажать свои шрамы и щеголять потерями, а потом он попытается, наверное, в машине — он будет трогать меня своими серыми руками, а я буду мужественно бороться с отвращением, — Муса, мы не увидимся больше — скоро я улетаю — я говорила чистую правду, — дома лежал билет, — куда? — продолжая улыбаться, спросил он — домой, я улетаю домой, Муса, — повторила я, слабо веря самой себе, — называя домом то пространство, то самое пространство, в котором остался коротковолновый приёмник, пропускающий неактуальные теперь голоса, тётки — запахи хлорки и мастики, потных подмышек в метро, болгарских дезодорантов, — длинные и зияющие пустотой прилавки, застывшие в переходах старушки с натянутыми на изувеченные пальцы колготами, — давно чужие, чуждые, — скрип полозьев, сугробы за окном, гололёд, пионерские лагеря, медицинские осмотры, череда сходящих в могилу генсеков, очереди в ОВИР, баулы, книги, поцелуи в подъезде, отдающие холодом, застывающие по пути, — я еду домой, Муса, — в отчаянье повторила я, борясь с желанием обнять его как внезапно близкого мне человека, которого я вряд ли увижу когда-нибудь, — я стояла у пропасти, заглядывая вниз, и мне было страшно, — я понимаю, — тихо сказал Муса — ты едешь домой, — в лице его проступила тень усталости и спокойствия, — мне знакомо это выражение, он был похож теперь на измождённого нескончаемым путешествием верблюда, полного достоинства и веры в свои незыблемые пустынные устои, — только стоящий на краю пропасти может понять другого, — каждый из нас произнёс целую речь, суть которой было — прощание, — для него — с целым миром, частью которого была я, для меня — с моим вечно-временным домом, наверное, настоящим, — бесшумно отворилась дверь, — когда я обернулась, Мусы уже не было, только жёсткий хамсинный ветер и пресловутый песок на зубах, возможно, всё это мне только показалось.





ΠΑΤΑΡΑΓ

## АБРИКОСОВАЯ КОСТОЧКА

У каждого армянина своя абрикосовая косточка. Конечно, лучше, когда плод, или дерево, или даже целый абрикосовый сад, но так бывает не всегда. Порой всё, что у тебя есть, — та самая косточка, которую сжимаешь в ладони.

Разрозненные воспоминания, их так сложно собрать воедино — например, Азаран-блбул — это птица? или человек?

Про Азаран-блбул, красную корову, синьора Мартироса, про стёртый камень из деревни Шикагох, про жертвенного ягнёнка из Мерцавана, про тонкие листы лаваша, горячий воздух из тонира, про Сис и Масис, про сладкую воду из источника, про хачкары на всей протяжённости пути — всё то, что мне предстоит узнать однажды — сначала с тобой, потом — без тебя.

Однажды. Наверное, именно она, эта косточка, заставит вслушиваться в слова, искать глазами глаза.

Только не надо о Комитасе, хорошо? Не надо упоминания о том, что и так существовало всегда. Ты уже родился с этим. Тебя ещё не было, а Комитас — был. Не буду объяснять, что это значит. Каждый армянин рождается с этой мелодией. С этим плачем, с этим пеплом, с этим счастьем, с этой тоской, которая — слышите? — Ко-ми-тас.

Давай поспорим. Что было в начале? Старая яблоня, абрикосовое дерево, белая крыша соседского дома, нестройное блеяние овец, люди с острыми глазами из-под густых бровей и это слово смешное... «нани» — то ли из снов, то ли из сказок, напомни...

В сказке всегда была добрая красная корова, которая спасала. Она превращалась то в дерево, то в птицу, то в воду... Там были маленькие

красные яблочки. От них прибавлялось сил. Ты помнишь, как бежали они, взявшись за руки, — мальчик и девочка...

Она всегда была рядом.

И тогда не пугали ни жажда, ни голод, ни одиночество.

Когда не останется воспоминаний, я возьму книгу.

Когда закончится книга, я скажу — вначале был Карс.

И наконец заплачу.

## ПО ТУ СТОРОНУ РЕКИ

У ваших детей армянские глаза — с грустинкой. — Со вкусом затягиваясь, гостья пристально смотрела через стол, на папу, и от этого взгляда мне отчего-то делалось неловко — я мало что понимала в женском кокетстве и искусстве изощрённого флирта, а это был, несомненно, флирт — нахваливая наши грустные глаза, гостья явно имела в виду папины, — вот тут уж без дураков — с той самой пресловутой грустью (а не грустинкой) и иронией (приподнятая правая бровь), — чего таить, папа производил особенное впечатление на многих, но рядом была мама, и потому все комплименты, тайные и явные, доставались нам с братом, — воодушевлённая, я делала ещё более (по моему разумению) армянские глаза, добавив в них неземной тоски и вселенского разочарования, а повод для того находился довольно быстро — ну, например, одно напоминание о том, что завтра понедельник, уроки не сделаны и вряд ли будут сделаны, потому что гости.

Гостей я любила. Весёлую суету до — шумные приветствия в прихожей, острый аромат духов (особенно зимой), тяжёлую охапку пальто, которую бережно складывала в своей комнатушке, на диване. Дразнящие запахи, доносящиеся из кухни, и то воодушевление, с которым папа накрывал на стол. Вилку слева, нож — справа, — и как они всё это помнят,

эти взрослые, — и ещё салфетки! Как, не осталось, а наверху? А в шкафчике, а в кладовке? — зажав в кулаке мятую бумажку, я неслась за салфетками, распираемая исключительностью возложенной на меня миссии.

Кто ходит в гости сейчас? Куда? К кому, скажите на милость? Где то радушие, которого сегодня с огнём не сыщешь (за радушием приходится нестись на оленях, в заболоченные и нетронутые равнодушием места) — не правда ли, как похожи эти слова — «радушие» и «равнодушие», — кто ходит в гости сегодня с такой обстоятельностью, с такой уверенностью переступает порог, за которым прыгающие от нетерпения дети и едва удерживающие радость взрослые, на что сейчас тратятся неспешные часы досуга, куда подевалась утончённая игра слов, лёгкость застольной пикировки, невинного флирта и долгого (уже на пороге) прощания...

У ваших детей армянские глаза — брат был так ещё мал, что комплимент я приняла на свой счёт и, улучив удобный момент, ринулась к себе комнату сверять показания. Из зеркальной глади, волнуясь, смотрела на меня неловкая, некрасивая девочка — ещё не подросток, но и не дитя, — вопрос внешности уже волновал, но ещё не удручал. — У меня армянские глаза, — нараспев произнесла девочка и, приблизив взволнованное лицо к зеркалу, замерла.

Вообще же девочка эта часто заглядывала туда, в таинственное Зазеркалье, в тщетной надежде обнаружить то, чего не наблюдалось в окружающей её, девочку, действительности.

Действительность же настоуживала. Это странное раздвоение она носила в себе и расставалась с ним только дома. Здесь, у зеркала, исчезала неловкость, проступало всё то, о чём сложно было поведать кому-либо.

Где-то очень глубоко плескалось это древнее, глубинное знание, казалось бы совершенно несовместимое с тем, что было на поверхности. Приходилось долго всматриваться в собственное отражение, пока движения не становились плавными, отточенными, глаза — огромными, — она воздевала руки, поднималась на цыпочках, вращалась вокруг собственной оси, ожидая волшебства.

Волшебство выныривало из зеркальных глубин, вознаграждая упорство, — красота была неуловимой, её невозможно было застолбить, запомнить, приручить, — как долго нужно стоять у зеркала, чтобы исчез сутулый подросток с неровно подстриженной чёлкой...

Как часто она приходила к нему обиженной, с оттопыренной нижней губой, с насупленными бровями — и, о чудо, под детскими пальцами, разглаживающими зыбкость отражения, проступало Оно.

Взволнованно проводила указательным пальцем по переносице, ощущая гладкость кожи, уязвимость её и тепло, — обида отступала перед внезапным откровением — оказывается, она такая, другая, — вытянутая в струнку, замирала, любуясь двойником, — запоминая осанку, выражение лица, поворот головы, — вот и сутулости как не бывало, и близорукости нет, а есть тонкие руки, узкие плечи, длинная шея — всё это, скрываемое уродливой школьной формой, обретало право на существование здесь, у зеркала.

Оно спасало её, затягивало, сглаживало остроту извечного одиночества книжной девочки из хорошей семьи.

Одиночество увязывалось за ней повсюду, барахтаясь под лопатками вместе с тяжёлым ранцем, оно было верным попутчиком всегда.

Им будет сложно расстаться. Пожалуй, даже невозможно. Об этом узнает она много позже, заглянув ещё глубже в зияющую пропасть зеркал. Зеркал окажется много, одни будут льстить, другие — ошеломлять, возмущать, тревожить, — одно из них, не выдержав напряжённости её взгляда, разлетится на тысячи осколков.

Потрясённая, со втянутой в плечи головой и сжатыми у груди руками, она постарается забыть день и час, не возвращаться к нему снова и снова, — в пролетающих мимо осколках она успеет увидеть все свои страшные сны и ту девочку, согнувшуюся под бременем печального знания.

Конечно, она попытается избавиться от него, освободиться, — казалось бы, чего проще — перевернуть страницу и, обмакнув перо в чернильницу, написать, обозначить это внезапное ощущение свободы, жизни, воздуха. Забыть своё отражение в глазах других, смыть муку и тоску узнавания.



Я есть — я всё ещё есть, — проводя пальцем по переносице, виску, ключице — на ощупь, по дюйму восстанавливая древнее знание, спасительное чувство красоты, она закрывает глаза, уже не нуждаясь в подтверждении, она запомнит стоящую по ту сторону реки.

## МОЁ АРМЯНСКОЕ ЛЕТО

...Ибо до Евы была Лилит.

*Мидраш V века. Б'решит Рабба*

**А** ведь я не хотела быть взрослой. С возрастающим ужасом провозжала глазами половозрелых старшеклассниц, которые уже не годились для прыжков через резинку, для прочих игр — нет, они, конечно, годились для определённого рода игр, но...

В общем, ничего приятного грядущее взросление не сулило. Как-то я это подозревала. А вашей девочке пора бы носить лифчик (это партия участливой соседки), — да, я, конечно же, обзавелась им, уже после первой поездки в Ереван, где внезапно и сокрушительно расцвела под огнедышащими взорами армянских мужчин, — о, именно там я ощутила себя уместной, со всеми своими чрезмерностями, плавностями, выпуклостями, — куда-то исчезли угловатость и бледность, — в тот год мы совпали — terra Armenia, абрикосовый август, мощный ток крови, ереванские улочки, прохладные дворы, платаны, ветер, несущий не облегчение, но сонный жар, пыль, удушье.

Толстенький неповоротливый Арамаис взмахивал рукой — видишь? — вон там видна Турция, — да, — зачарованно вглядывалась я в очертания турецких берегов, — там была Турция, но была она и здесь — из близлежащего духана доносились волнообразные томительные звуки, они накрывали с головой, — можно было покачиваться на волнах, воображая себя сиреной, наядой, наложницей, одалиской, —

Восток струился, стекал вдоль позвоночника медленным тягучим мугамом, он обволакивал и усыплял.

Мне было четырнадцать, почти пятнадцать, и у меня было богатое воображение. Армянская девушка должна быть скромной. Она должна оставлять мужские взгляды без внимания, как и подобает восточной красавице, она должна проплывать в мареве, подобная миражу. Она должна таить, манить, гипнотизировать, — опустив ресницы, я медленно проплывала под звуки зурны, постигая сложнейшее из искусств — отвечать, не отвечая, — обещать, не указывая сроков и дат.

Разъятые половинки абрикоса, сахарный сок на губах — тайна, которую носишь в себе. Нежная тяжесть, сладкое бремя. В деревянной пристройке за домом я долго не решалась принять душ, подозревая, и не без оснований, что кто-то непременно воспользуется возможностью разгадать мою тайну. Скорчившись, почти вжимаясь в нагретую, выкрашенную белой краской стену, я кое-как завершила обряд омовения и торопливо натянула на влажное тело одежды и, освежённая, вышла к ужину. Так и есть — отправляя в рот пучок тархуна, плотненький весёлый Арамаис поглядывал на меня с лукавой усмешкой.

Мою армянскую любовь звали Лилит. Где ты сейчас, Лилит? Вышла замуж, вырастила детей? Была счастлива, была влюблена — была беременна, носила дитя, обнимала мужчину?

Мужчины боялись подходить к тебе. Конечно, вокруг было полно красавиц. Разных, на любой, самый взыскательный вкус, а такой, как ты, больше не было. Что заставляет по-особому держать спину, улыбаться, дышать. Наверное, кровь. Любой эпитет, превозносящий девичьи прелести, кажется банальным, недостойным тебя, девятнадцатилетней.

Эрос. Только ли? Если да, то утончённый, полный недосказанности, невозможности. Если да, то ещё и полудетский восторг, это постепенное узнавание, открытие, замирание — это ты? а это я. И стихи, стихи ночь напролёт — то ли под деревом на скамейке, то ли обнявшись в кровати, да нет, не обнявшись — не разнимая рук, не отводя глаз.

А я сразу узнала тебя, воробышек, — армянский воробышек, — от горного воздуха хочется петь, и много говорить, и рисовать — наклон го-

ловы, поворот шеи, эту мягкую линию — эту древность, эту античность, эту святость, эту дьявольскую бездну — глаз, век, губ, скул.

Воробышек — это я. Ниже на полторы головы. Немой армянский воробышек, не знающий главных армянских слов. Ты знаешь, как по-армянски — я люблю тебя? — глаза её мерцают во тьме, то лукаво, то печально.

Мек, ерку, ерек<sup>1</sup> — армянский букварь был не похож на русский. Там не было мам, которые, о ужас, с утра до вечера мыли рамы, зато там жил весёлый носатый мальчик Оник, который очень любил маму, папу, дедушку и бабушку, а больше всего — что бы вы думали, что больше всего любил мальчик Оник? Правильно, учиться. Ещё и ещё раз вчитывалась я в эту глубочайшую сентенцию, пока Оник и его многочисленная любвеобильная родня не начинали троиться перед моим мысленным взором.

Распахнутое в киевский двор окно сулило массу соблазнов. Ну, во-первых, Таньку с третьего этажа, которая уже час дожидалась моего появления, разложив пупсов, ванночки, одежки, всяческую кукольную утварь и так называемые аксессуары на подстилке за палисадником. Во-вторых, сумасшедшего Люсика, на голове которого сидит невидимая ворона. Обхватив голову руками, несётся Люсик по двору, сбивая с ног неторопливых старушек в цветастых платках. Люсик — это страшно, непонятно, но ещё и интересно. Ведь не у всякого на голове обитает невидимая ворона.

Летними вечерами мы прятались в прохладном помещении игротеки, расположенной в полуподвале, в первом подъезде.

Игротека была интересным местом. Иногда там собирались взрослые, и тогда отменялись шахматные и прочие кружки. О событии извещали за несколько дней. Мол, так-то и так-то, в подвальном помещении дома номер такой-то состоится товарищеский суд над товарищем таким-то (после имени-фамилии располагалась злостная карикатура на жалкого человека с носом, напоминающим кактус, утыканный иголочками).

---

<sup>1</sup> Один, два, три (*арм.*).

Либо приглашались все желающие обсудить непристойное поведение, допустим, Марии Ивановны из шестой квартиры.

Желающие всегда находились. Чаще взрослые как-то уж слишком увлекались обсуждением несчастной Марии и не успевали заметить несколько детских голов за стульями, среди которых, конечно же, угадывалась и моя. В помещении было душно, но мы этого не замечали. Большой части произносимых слов мы не понимали, зато были вознаграждены сполна зрелищем рыдающей Марии или её вислоносого мужа, пронзительным визгом какой-то тётки с шиньоном на голове, шуршащими старушками, заранее осуждающими всё и вся узкими, будто подштопанными ртами, — а ну брысь, — вскидывались они, и мы, опрокидывая стулья, неслись к двери, вылетали, раскинув руки, из подъезда и неслись наперегонки, переполненные услышанным, увиденным.

Перед сном я разыгрывала целый спектакль, чётко исполняя партию осуждённой, опозоренной женщины, разгневанной толпы, — с увлечением вырезала из картона двенадцать фигурок присяжных заседателей, — подлец, негодяй, — пищала и басыла я, усердно передвигая бумажные силуэты.

Папа колотил по клавишам пишущей машинки, — наверное, всё моё детство прошло под эти звуки: вопли соседской Таньки и звук сдвигаемой каретки, — вначале была машинка с русским шрифтом, потом — с латинским, — вторая была просто обворожительна, чёрная, изящная, — она была воплощением изысканной добротной европейскости, особенно по сравнению с первой, русскоязычной, простенькой, но тоже симпатичной, — самым желанным казался чемоданчик от неё. Когда-нибудь, — мечтала я, — когда-нибудь машинка сломается и чемоданчик будет мой, — момент исчезновения старой машинки не запечатлелся в моей памяти — помню, как на её месте появилась новая, большая, сверкающая, а старая исчезла с чемоданчиком вместе бесследно.

Я была честная девочка-врунья, фантазёрка, истовая выдумщица, индейская дочь, похищенная безжалостными грабителями, я носилась по воображаемым прериям, помахивая... — чем там помахивают настоящие индейцы? — собственно, неважно, — в моём арсенале были лук,

и стрелы, и ружьё, винчестер, а ещё прелестный пистолетик — чёрный, гладко-воронёный, — он правильно укладывался в ладони, и дуло проглядывало между указательным и большим, — револьвер, маузер, — я была бесстрашная девушка-эсерка и милый сердцу маузер прятала в пыльных юбках либо за поясом. Я всегда спешила на какие-нибудь вообразаемые баррикады, а три адъютанта стояли навтытяжку у подъезда. Три личных и очень преданных.

Я была Жанна д'Арк, жаждущая справедливости, безжалостно карающая и стремительная, я была Олений Глаз и Соколиное Перо, я была маленький лорд Фаунтлерой и умирающий от голода Оливер Твист, я была Гаврош и Жан Вальжан, Козетта и Констанция, это я стреляла в министра, президента, царя, это со мною не могли совладать вооружённые до зубов вояки и полицейские — я была честный преступник, мужественный отступник, я путала следы и мешала карты, я была заговор и возмездие, я была всадник и жеребец, я была знамя революции и её невинная жертва, я скрывалась в засаде и сжигала мосты.

Это я изобрела порох, чуть не отправив на тот свет ни в чём не повинных жителей пятиэтажки, упирающейся торцом в театр военных действий.

Мой адъютант предал меня. Между скамьёй и облупленной стеной грязного василькового цвета, он поведал о тайнах деторождения. Сжимая мои плечи и выдыхая в лицо ужасное — напрасно смыкала я глаза, и затыкала уши, и обращалась в соляной столп, и просила пощады. В голосе его звенели победные нотки, превосходство силы. В тот день мы поймали двух синекрылых стрекоз и одного майского жука, наши колени были сбиты и локти исцарапаны, — патроны закончились, — могильным голосом произнесла я, — о, как же я презирала его, предавшего меня, о, как же я презирала и как была унижена, — медленно, будто в кино, вынимала я крашенные перья из всклоченной головы и подвывала без слёз, со сжатыми губами, — меня больше не звали Индеец Джо, я была девчонкой в брезентовых шортах, я была просто девочкой-вруней — я была развенчана, деморализована, убита. Униженный король Матиуш, оставшийся один на один с безжалостным миром, я медленно поднима-

лась по ступенькам, волоча за собой обрывки красной мантии, грохоча маузером, растирая разбитое колено.

Мек, ерку, ерек — царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной — кто ты будешь такой? В то далёкое лето я не задавалась этим вопросом. У меня было армянское имя, весёлая еврейская бабушка Роза, которая шлёпала по рукам и рассказывала забавные истории про погром и эвакуацию, армянская бабушка Тамара, которой тоже, несомненно, было что рассказать, а ещё грозная старуха Ивановна с первого этажа. Через какой-нибудь месяц я сломаю руку и впервые переступлю порог школы, и вот тут-то узнаю о себе всё. Всю мою ужасную подноготную про маму, папу, дедушку и бабушку.

Мек, ерку, ерек — армянский букварь останется раскрытым на злополучной странице, а история о правильном мальчике Онике войдёт в золотой фонд прописных глупостей.

\* \* \*

Лето, похожее на сон. Самолёт, набирающий высоту. А там — Москва, сутолока, жара, дожди.

Мои внезапные слёзы в толчее метро, вызванные то ли удущьем, то ли внезапным осознанием того, что впереди осень.

## КНЯЖНА ТАМАРА

**М**оя армянская бабушка была стройной и сухощавой, ставила ноги по-балетному и любила яичницу с помидорами из шести яиц.

Её звали Тамара. Глаза у неё были скорбно-гневные. Будто припорошенные пепельной крошкой. Сквозь которую едва пробивались жаркие золотистые сполохи.

Со скорбью понятно. Скорбь армянских глаз объяснять излишне.

Я побаивалась её. Нам не о чем было смеяться. Несколько раз она попыталась заплести мне косички. Я стояла, опустив шальную голову, не смела встретиться взглядом.

Между нами пролежала пропасть. Я была вертлявой и смешливой, она — степенной и грустной. Всё ей было не так. Не то.

Вместе с бабушкой Тamarой в дом въезжал солидный чемодан. Я восхищённо наблюдала за струящимся из него прохладным шёлком, крепдешином, ситцем и плавно стекающим бархатом. Иногда она раскрывала его и задумчиво перебирала аккуратно сложенные стопки. Там было и «на выход», и на «каждый день», ночное, дневное, демисезонное...

Но помню я её в одном, всегда в одном и том же лёгком халате с кармашками, приталенном, доходящем до середины стройных икр.

Пахло от неё сушёной дыней и сухой жарой.

Её летние визиты, долгие, месяца на три, были испытанием.

Во-первых, я не любила долму. Тогда не любила. Любила простое — жареную картошку, кукурузные хлопья.

А любовно обёрнутую в виноградные листья долму не любила. И чхртму, и тан, и виртуозно приготовленный густой красный соус.

Во-вторых, напряжённые, о, более чем напряжённые отношения между двумя бабушками — армянской и еврейской...

Я не могла не заметить, что моя смешная бабушка Роза уже не ходит, а шмыгает, что довольно непросто при её уютной полноте, что она, о боже, почти заискивает, да, заискивает, соглашается, поддакивает, кивает головой и поджимает губы. А потом как уронит кастрюлю! Или, допустим, половник.

Бабушке Розе необходимо было продержаться любой ценой. Ведь та, вторая, уедет, а она таки останется. И снова можно будет болтать глупости, прыгать на одной ножке (не бабушке, а мне, разумеется) и рассказывать про непутёвую Ивановну.

И бабушка держалась. Она держалась за стены, стол, стулья — за сердце, наконец!

Сдержанности её вполне мог бы позавидовать Муций Сцевола. Чего стоила эта сдержанность, знала только она.

Помножим скорбь армянского народа на грусть еврейского и получим долгое, очень долгое молчание... Прерываемое разве что тягостными протяжными вздохами из одного угла комнаты и электрическими разрядами — из другого.

Сегодня-то я всё понимаю. Мне всё предельно ясно.

Тогда об этом говорили вполголоса, между прочим и чаще посмеиваясь. Ну как же, попробуйте поживите с княжной!

Да-да, вы не ослышались! Моя армянская бабушка была княжеского роду. Из князей, значит. И всю жизнь терзалась этим. Гордилась и терзалась. И, естественно, негодовала.

Попробуйте поселить княжну (пусть даже на месяц-другой) в крохотной комнатухе на Подоле или, допустим, на Воскресенке. В крохотной комнатухе с прелестным балконом, увитым виноградными листьями. С натянутыми бельевыми верёвками, огромным тазом для стирки, прислонённым к стене. В комнате со скачущей, растрёпанной, шумной девочкой, которая ни минуты не сидит на месте и совсем не делает попытки приблизиться, понять, заглянуть туда, где скорбь, гнев и обида.

Бабушка Тамара была княжной. В силу возраста мне не дано было оценить изящество рук и лодыжек, стройность шеи и хрупкость пальцев. Я видела другое.

И только позже, много позже что-то кольнуло меня, когда случайно, совсем случайно я подсмотрела голубей, клюющих с её раскрытой ладони, и её саму, машущую с балкона вслед удаляющемуся силуэту моего отца. И бормочущую слова, которые мне не дано было понять, увы, тоже.

## ДОМ НА ОКРАИНЕ

Первые мои шаги по Армении можно было сравнить с приземлением на другую планету. Другая цивилизация, иная материя — шершавая, прочная, лаконичная, — тут и там проступающие, вырастающие из земли символы её.



Вдруг всё во мне, вздрогнув, качнулось навстречу самой себе — будто в одночасье я обрела такое важное для меня знание — из какого, собственно, материала я скроена.

Дорога на рейсовом автобусе из аэропорта в центр. Держусь за поручень, разглядывая (впитывая) всё вокруг.

Так вот, оказывается, какие они (мы)... Сколько горящих глаз вокруг, сколько вздетых рук.

Со мной родители, младший брат. Шутка ли, разместить семью из четырёх человек в обычной квартире.

Дом на окраине Еревана. Время позднее. На веранде стол, давно, видимо, накрыт. Что бог послал. Задрапированные марлей плоские котлетки, начинённые острой зеленью, по всей видимости тархуном. Ломти пышного хлеба — пури. Пури — белый грузинский хлеб. По утрам его развозит грузовик, и весёлая разноцветная гурьба несётся вслед за ним с радостными возгласами: пури, пури, пури.

Пури тёплый, со вздымающейся румяной корочкой — воистину царский гость! А вот и лаваш, скромная пресная лепёшка, сотворённая из муки, воды и щепотки соли. Лаваша никогда не бывает много — и мало не бывает. Во всех видах — свежий, ещё дышащий, — подсушенный, хрустящий, — он всегда кстати — до и после любой трапезы. Много зелени, всякой, острой, нежной, в капельках влаги, пробуждающей аппетит в любое время суток.

— Совсем не кушаешь, да? — молодая женщина с ангелоподобным младенцем на руках, улыбаясь, придвигает тарелку, но мне не до еды и не до впечатлений, — поздний и долгий полёт (впервые в жизни), который завершается здесь, в небольшой боковой спальне, на пышной хозяйской кровати, которую уступили гостям. Где будут спать они сами, неясно, но сил на понимание этого важного момента нет, глаза сами собой закрываются. Переступаю через спящих вповалку, разметавшихся на полу детей. Они ничем не прикрыты, в комнате жарко, как будто натоплено, — из тьмы проступают раскинутые смуглые руки, ноги, белые трусики, всклокоченные головы, — кажется, их трое или даже четверо. Утром они окажутся девочками. Одна и правда смуглая, лет семи, с дерзкими из-под

небрежной мальчишеской чёлки глазищами, — ручки-палочки, исцарапанный нос, сбитые колени, — маленькая разбойница, да и только.

Следующая, младшая, отчаянно синеглазая, тоже стриженная под мальчика, но такая девочка, нежная девочка, вылепленная Творцом столь тщательно, столь вдохновенно, — вот нежная ложбинка на затылке, вот пшеничного цвета завиток на макушке, вот смущённая полуулыбка из-под золотых ресниц. Ещё одна, помладше, тоже девочка — она капризничает, кукуется со сна, требует внимания, но, видимо, с недавних пор его недостаёт — ведь есть ещё мальчик, Давидик, это его я видела вчера на руках молодой женщины, — вот он, венец творения, сын, с распахнутыми в мир глазами, отороченными мохнатыми, завитыми, точно у девочки, ресницами.

Там и сям разбросанные на полу тюфячки — виданное ли дело, дети спят на полу, и мне тут же становится жаль себя, не познавшей этой неслыханной свободы, не ограниченной рамками кровати или раскладушки. Маринэ, Наринэ, Лусинэ.

Вот и все за столом. Солнце, точно огненный шар, выкатывается из-за утренней дымки — оно неумолимо, с ним невозможно договориться, не потому ли так темны комнаты и плотно опущены шторы, плач и агуканье младшего доносится откуда-то из глубины, из дневных комнатных сумерек.

Разноцветные тюфячки, пёстрые стёганные одеяла, всё собирается, складывается, точно ещё один дом — ночной внутри дневного, — та скорость, с которой сотворяется ночной мир, ошеломляет и приоткрывает завесу, — эти дети, спящие вповалку на полу, эти руки в неустанной заботе, эти бережно прикрытые тряпицей ломти подсушенного хлеба, эта скатерть, готовая в любой момент развернуться навстречу ночному гостю — не случайны.

А вот уже другой дом — в проёме двери — седовласый богатырь, его зовут Саркис, — нет, говорит Саркис, — и даже не думайте куда-то ехать, что, у меня не найдётся тюфяка? Постели? Четыре? Да хоть десять! Посмеиваясь, выкатывает он свёрнутый тюфяк, ещё один. И скромная квартира обычного ереванского дома превращается в вигвам, бивуак, надёжное убежище. В любое время — зелень, хлеб, сыр, — мало ли чего

захочется гостю! В любое время хозяева, которые — само внимание и предупредительность, — вот и накрытый в глубине вигвама стол, вот и смеющиеся глаза Саркиса, его обращённый в тебя взгляд, в котором не накипь сиюминутного, а дымка далёкого и почему-то щемящего.

Если бы я знала тогда, если бы понимала (сквозь муки и терзания отрочества и мнимых несовершенств моих неполных четырнадцати), как важен был этот миг, к которому так стремился мой папа, тот самый час, в котором сморённые дневным жаром и беготнёй дети наравне со взрослыми сидят за накрытым (чем бог послал) столом, в то время как дом устилается (изнутри) и будто сам собой раскладывается (наученный долгим опытом изгнаний), и память моя, столь капризно избирательная, сохранит в самых сокровенных закоулках её — горячий ночной ветер, пресный вкус лаваша (прозрачный — воды), и безмятежный детский сон в глубинах старого ереванского дома, на раскинутых как попало тюфяках, и одновременное чувство обретения и потери, с которым столкнусь много позже, по возвращении домой.

## ПАТАРАГ

**Т**ам лаваш и тархун, здесь фаршированная рыба и маца. Там Ара-рат, здесь — Подол.

Армяне любят соль, — с гордостью говорил папа, и я, конечно, старалась. Ох, как же я старалась ради словечка отцовского одобрения. Все лизала и лизала горькую соль, пока язык не делался шершавым как наждак.

Армяне любят соль, — смеивался папа, и я с замиранием отслеживала движение, которым пучок зелени погружался в солонку, а затем плавно подносился ко рту.

Роняя слезы, жевала острый, очень острый сыр. Он крошился в пальцах и оставлял едкое послевкусие.

Я ела лимон без сахара и пылающую аджику. Стремительно заглатывала адскую корочку бастурмы.

Острое, горькое и солёное. Будто причащение, суровый обряд инициации.

Чай мы пили без сахара. Горький чёрный, с привкусом древесины, и отдающий рыбой зелёный. Из маленьких белых пиал, как это принято на востоке.

Зато в другом доме чай был сладким. Он был таким сладким, что в горле першило, и второй стакан казался лишним. Пили чай с сахаром из высоких стаканов, и ели сладости. Сладким было всё. Марципановые завитки, клубничный компот, густая наливка из маленьких чёрных вишен... Сладкая хала лежала на столе, пышная как купчиха, блистала жаркими боками. Всё здесь было мягким. Подушка думочка уютно подпирала спину, глаза смыкались сами собой. Не правда ли, от слова «мамтаким» становится сладко?

А слово «марор» — горькое, как правда, которой не избежать?

Глаза смыкались, и за столом оставались взрослые. Уж они знали толк в горьком. Хрен, горчица, селёдка...

Дети успеют, пусть им будет пока сладко. Ещё успеют, — вздыхали взрослые, и глаза их блестели как чёрные горькие маслины.

Горькое, сладкое, солёное. Говорящая голова фаршированного карпа всплывала в моих снах. Изо рта его торчала веточка розмарина, — ах, — выдыхал карп и со стоном переворачивался на блюде. И я в страхе просыпалась, и бежала туда, где стоял маленький заварник с надтреснутым носиком, и горек был чай из него.

В кабинете моего отца висела карта. Карта геноцида армян, с обозначенными на ней (карте) пылающими и обугленными городами Западной Армении. Когда-то там жили армяне. Больше не живут.

Книгу Франца Верфеля «40 дней Муса-дага», я прочла от корки до корки ещё в детстве, и перечитывала потом не раз. Но это было, в общем, довольно безобидное чтение. По сравнению с одной действительно страшной книгой, в которую папа не позволил мне заглядывать

(вполне обоснованно тревожась о последствиях для детской психики). Но я, конечно же, заглянула.

\* \* \*

В памяти картинка из далёких (отсюда они кажутся идиллией) лет. Петляющий по раскалённым улицам Еревана автобус. Нагретая консервная банка, полная уставших людей. Носы, глаза, проступающие на тёмных руках вены. Грузные женщины в затрапезных платьях. Небритые будто припорошенные пылью мужчины. Тяжёлый августовский зной всех прибил, обесцветил.

И вдруг чудо чудное. В распахнутые двери автобуса входит она. Ничего особенного. Опущенные ресницы, детские предплечья, обозначенные едва видимым пушком. Но, бог мой, как хороша. Как хороша несбывшимся ещё, но уже явленным. Тишиной этой, отдельностью, тайной, — её все понимают, все зрят. Не ведающая пока о великой силе красоты, о могуществе её, о чистом и нечистом, тайном и явном.

Не меркнет это воспоминание, этот кадр, исполненный света. Я видела его не единожды. В каждый свой приезд я видела её. Под разными именами. В разном обличье. Великую тайну, великую красоту. Проступающую в детских лицах, в стариковских морщинах, в лучащихся глазах.

Я вижу её, эту девочку четырнадцати лет, хранительницу генофонда и надежды на возрождение. Её рано поблэкшую мать, её отца, возможно, зеленщика из ближайшей овощной лавки, либо водителя того же автобуса, либо ...

Я вижу исполненных достоинства стариков, прижимающих к себе ангельских младенцев. Да, многое видели, многое пережили. Ничего не забыли. Но как заразителен смех ребёнка, как неизбежна весна, как закономерно чудо новой жизни. Оно над всем, вопреки всему, оно выше скорби, оно идёт вровень с памятью, заглушая остроту боли.

Если бы я играла на виолончели, что бы я сыграла? Возможно, тему молчания. Или изгнания. Или великого одиночества последнего армянина. Последнего, кто абсолютно точно знал, о чём он молчит.

## В ЛАДОНИ МОЕЙ АБРИКОС

Собственно, тогда оно и счастьем не считалось. Какое счастье, помилуйте! Мы с Ритой на балконе спали, хотя и это не спасало от жары. Ну как спали — трепались, конечно, всю ночь напролёт, — о чём? — о мальчиках, само собой, — о чём же ещё.

Волны жара накатывали и отступали, но и мы не сдавались, — на балкончике этом ветхом, заваленным всяческой утварью, растянуться в своё удовольствие было не так-то и просто, — вот и сидели мы, скорчившись, — Рита, крепенькая, ладная, круглоголовая, упрямо-курчавая, с роскошными газельими глазами, вытянутыми к вискам, — интересно, где она сейчас, эта чудесная девочка, бредившая непременно замужеством, — вай, джана, мне двадцать один, ещё год-два — и всё, старая дева, — поджав под себя толстенные ножки, она весело отправляла в рот какие-то засахаренные сладости, — ну и я не отставала, хотя в запасе у меня до обозначенных Ритой сроков имелись год-два.

Замужеством я ещё не бредила, но вынашивала бремя будущих терзаний, упивалась прошедшими, смаковала настоящие — в то ереванское лето любви было через край, и звалась она Лилит, — впрочем, я писала о ней неоднократно, и думала часто, вспоминая густую синеву дилижанских ночей, — в начале была Лилит, и в конце была она же, и потому в эту последнюю ереванскую ночь я не без снисходительности слушала степенные речи смешливой рассудительной Риты — полная противоположность того, о чём грезилось мне.

За стеной на низком топчане, застеленном жёстким паласом, ворочалась сухонькая Ритина бабушка, — время от времени она подавала голос — или же зевала — долгим таким старушечьим зевком, отчего мы с Ритой прыскали и зажимали рты ладонями, — там, в духоте старого ереванского дома, не было места нашим дерзким мечтам, — сверкнув в темноте смуглыми пятками, уносились Рита за порцией орешков, гяты, персиков, оставив меня наедине с душистым небом, — что вы знаете

о ереванской ночи, о бесконечности её, безразмерности, — не это ли признак очевидного счастья, — всё ещё было впереди, и суматошная беготня по раскалённым улицам, и такси, забуксовавшее в пробке, — собственно, весь центр города представлял собой одну сплошную пробку, — причина проста: «Арагат» — «Динамо» (Киев) — тут и там толпы жестикулирующих страстно мужчин — вздетые руки, локти, носы, небритые скулы, профили, повёрнутые друг к другу, — куда бы мы ни сворачивали, всюду упирались в жестикулирующий тупик, — помню отчётливо струйки пота, стекающие между лопатками, отчаянные глаза водителя в зеркальце, — ещё одна попытка прорваться сквозь гудки, междометия, зной, — всё это будет завтра, а пока — мелькающие Ритины пятки, топот крепеньких ног, гигантское блюдо с персиками, — что знаете вы о персиках, если вы не были в Ереване той самой ночью (уже щебечут птицы, брезжит полоска рассвета, но кто уснёт в такую жару, разве что забудется на пару минут над надкушенным персиком, потянется за абрикосом — с дерева, которое тут же протянет ветви, отягощённые плодами).

Что знаете вы о ереванской ночи, переходящей в следующий день, в котором маета, суета отъезда — и, собственно, перехода в иное измерение (морозящие осенними дождями чернозёмные широты, блёклость, чужое-родное, знакомое-привычное, чего не замечаешь и чем тяготишься) — но погодите, ведь было ещё и утро, — прохлады мы не дождалась, рухнули, сморённые усталостью, на расстоянии вытянутой руки, — Рита, подмяв под себя ворох расшитых подушечек, посапывает, ей вторит бабушка, сопровождая Ритину мелодию нежнейшим присвистом (ах, чего только нет в этой мелодии — я вижу полный дом детишек с газельими глазами, таких же крепеньких, ладных и курчавых), — что знаете вы о ереванской ночи, о последних её мгновениях перед восходом, — а вот и липкие потёки ночного пиршества — они похожи на сгустки, — пока пробуждается дом (аромат яичницы, журчание воды), я стою босиком на балконе старого ереванского дома, в ладони моей абрикос, мне девятнадцать, но кто думает о счастье, пока оно есть.

# САГМОСАВАНК<sup>1</sup>

**В** начале ты видишь ждущие собачьи глаза, а уж потом всё остальное. Линии, плоскости, углы, выступы, ступени, хачкары, купол — всё это основательно и на века. Прилажено, подогнано, устремлено, взвешено. На особых весах. Богочеловеческих.

Но вначале — собака. Как предвестник. Или проводник. Она провожает туда и оттуда. Встречает пришельцев из параллельных миров. Потому что и в самом деле мы параллельны. Со всем нашим багажом, со всей, так сказать, информацией.

На краю пропасти. Стоим. Параллельные всему. Даже самим себе параллельные. Суетные. Временные. Касаемся стен, шершавых булыжников. Слепнем от избытка и остроты. Света и воздуха.

Уходим, так и не поняв главного. Подальше от края пропасти, от высоты и глубины.

В тесное привычное тепло домов, близких, друзей, забот, воспоминаний, планов, снов.

А собака всё там же. Лежит. Предваряет, предостерегает, стережёт. Храм. Людей, идущих по направлению к храму. Людей, покидающих его.

\* \* \*

Первые армянские снимки были чёрно-белыми. Вообще первые снимки были чёрно-белыми. Никаких там сепий, всех оттенков охры, никакой пастели и акварельных брызг. Только грифель, уголь, только свет и тень. Отсутствие в изображении его величества Цвета делало картинку документальной, многозначительной. Щемяще-неповторимой.

---

<sup>1</sup> Монастырь Сагмосаванк находится на восточной окраине села Сагмосаван Арагацотнского района в гаваре Арагацотн исторической области Айрарат. Как и близлежащий Ованаванкский монастырь, Сагмосаванк расположен над высоким ущельем у реки Касах. Церковь Сион в этом монастыре (1215) и церковь Святого Карапета в Ованаванке (1216—1235) были основаны князем Айрарата Ваче Вачутяном.



Рулоны плёнки, проступающие на ней, плёнке, а затем на бумаге — грани. Щипчиками выловленный лист, на котором — застывший вчерашний день. Непостижимо. На тех, доцветовых, снимках мы проживаем ещё одну жизнь. Всё честно. Ни убавить, ни прибавить. Ни ретуши, ни фильтра, ни фотошопа.

На тех, доцветовых, снимках четырнадцатилетняя я, склонившись и придерживая ладонями подол короткого платья, пью воду из пулпулака<sup>1</sup>. Морщусь от августовского солнца, страдаю от жары.

На этих, цветных... Декабрь. У меня в сумке пластиковая бутылочка с водой. Я смотрю на пулпулак и иду дальше.

## УЛИЦА СУНДУКЯНА И ОКРЕСТНОСТИ

— *Вонцес*<sup>2</sup>, — раздаётся откуда-то из глубины, и я делаю шаг вперёд, соблазнившись густым обволакивающим дыханием, — здесь зрение не уступает нюху, и я уже не вспомню, что было раньше, — витрина с выложенными на противне плоскими румяными лепёшками, — сражённая стройностью и совершенством ряда, растерянно перевожу взгляд, не в силах отдать предпочтение единственной, — распластанные, они выдыхают сквозь едва видимые глазу поры, — продолговатые хлебцы, прозрачные листы лаваша, уютные слойки и сонные булочки, сдобренные маком и кунжутом, томно раскинувшаяся гата, пышнотелая гурия, сладостному аромату которой противостоять нелепо и бессмысленно, — возьми меня, — шепчет она, обжигая, маня, не отставляя возможности выбора и отступления, — *вонцес*, — стоящая в глубине пекарни женщина улыбается и делает приглашающий жест, — внутри помещения нет спасительной прохлады, и я медлю, — медлит и она,

---

<sup>1</sup> Пулпулак — фонтанчик с питьевой водой (арм.).

<sup>2</sup> Как дела? (арм.).

и многократно повторяемое *вонцес* сопровождает раздирающие меня противоречия, — откуда ей знать, что перед ней не рядовой потребитель матнакаша<sup>1</sup>, не примитивный пожиратель горячего теста, а утончённый ценитель прекрасного, плотоядный и неутомимый гурман, — откуда ей знать, что объектом пристального внимания и вожделения становится всё без исключения, доступное взгляду и обонянию, в том числе и она сама, крепко сбитая, с мокрыми колечками медных волос над смуглым лбом, — немолодая, но бог ты мой, сколько живости в этом *вонцес*, во влажном блеске глаз, — делая ещё одну попытку разговориться с посетителями, она не прекращает беличьих телодвижений, и, право же, пальцы её усердно плетут золотое руно тончайшего теста, просеивают благородный песок рассыпчатой муки, продолжая раскатывать, взбивать, взбалтывать, лепить, ваять, вить, — люблюсь древней пантомимой, позабыв о жаре раскалённой печи, о жаре снаружи, и только очередное *вонцес* выдёргивает из забвения, — я принимаю хлеб, точно спелёного младенца, и прижимаю к себе, и слышу, как вздыхает он там, как рвётся наружу, — утратив всяческую надежду на продолжение столь удачно начатой беседы, богиня матнакаша отвечает сама себе: *камац-камац*<sup>2</sup>, — каждый божий день, воссоздавая картину мироздания таким вот нехитрым и надёжным способом — кирпичик по кирпичику, без суеты и многословия, — пока ароматы сдобы витают по этой улице, она существует, и каждое следующее утро не даёт мне усомниться в этом, — вместе с певучим *вонцес* из глубины веков и горячим выдохом: *шат лава*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> *Матнакаш* — армянская лепёшка.

<sup>2</sup> Потихоньку (*арм.*).

<sup>3</sup> Хорошо (*арм.*).

## КОНД

В Сурб Ованес готовились к отпеванию. Все сопутствующие этому печальному и торжественному событию реквизиты не оставляли сомнений, и мы поспешили к выходу и вскоре обнаружили себя уже не в храме, а на пыльных и заброшенных улочках, — постой, да ведь это же и есть тот самый Конд, старый Конд, — вернее, всё, что осталось от старого Конда, — прилепившиеся один к другому неказистые домишки — типичный самострой, вокруг которого развёрнута воистину стройка века, — воочию можно наблюдать торжество нового над старым, — вся эта вывороченная бесстыдно изнанка бытия, смирившегося с недолговечностью пребывания в этом мире, хотя что считать недолговечным, вопрос из вопросов, — сбитые ступени, несущие балки, швы, арматура, зияющие пустоты, пыль, пыль, вездесущая пыль, с которой бесполезно бороться, настолько она во всём, над всем, прежде и после всего, — как же созвучна увиденная картина той самой тишине в прохладе мощных стен собора, особой тишине, предшествующей отпеванию, прощанию, стало быть, — ты же хотела попасть в Конд, так что же ты бежишь, стремясь как можно скорее очутиться там, где запах не тлена, а жизни, не пустоты, а наполненности, — хотя, возможно, некие предубеждения — нежелание соприкоснуться с печальной и очевидной изнанкой парадных улочек, — то ли дело ночной моцион по Сарьяна — лица, огни, звон бокалов, звуки, — джаз, смех, шёпот, идущие в обнимку влюблённые, плачущие дети, терпеливо увещевающие родители, — в общем, обилие мягкого света и жизни, от которой делается беззаботно и счастливо, — то ли дело теперь, когда безжалостный солнечный луч слепит и подчёркивает всю неприглядность того, что за, — спешим покинуть пустынные эти места, в которых всё ж таки ещё теплится, но без всяческого воодушевления, доживает свой срок прошлое.

Спешим покинуть то, что впоследствии заблещет и поразит новизной, гладкостью, неодушевлённостью, отсутствием запахов, черт, хотя

бы элементарной узнаваемостью, — ещё несколько небоскрёбов скроют, затмят, заслонят храм, и дорогу к храму, и то, что было вокруг.

Всегда недостаёт дня, часа, мгновения. Ты только начинаешь учиться дышать и ходить, ты только начинаешь быть. Возможно, тебя никогда и не было. А всё, что было, — это всего лишь тысячная вариация из всех возможных вариантов. Оказаться в старом саду, трепать за ухом огромную добрую собаку с такими совершенно армянскими глазами...

Да что говорить! Где ещё угостят вас севанской форелью горячего копчения, которую собственноручно коптит хозяйка, или правильно приготовленным спасом — что может быть лучше спаса в летнюю жару?

А вино? Хорошо, допустим, вы не пьёте вина. Но кто говорит пить? Не пить — так, смахнуть пыль...

А хумус из недавно открывшейся сирийской лавки на углу? который прекрасно сочетается с тонким горячим лавашем, свежими перьями молодого лучка, с карликовыми зелёными помидорами, маленькими пупырчатыми огурчиками, на упругих боках которых ещё не обсохли капли родниковой воды.

С тархуном, с огненными перчиками, живописно разложенными на блюде. А только что сорванный с грядки пучок рейхана или мяты? Глоток густого, точно кровь, вина, вполне достаточно одного, чтобы на щеках вновь заиграл румянец, а двух — чтобы наконец ощутить себя счастливым, достигшим волшебного мига просветления, созерцающим обтекающие тебя жизненные потоки. Острый сыр и глоток вина — вот оно, счастье, — ещё один? пожалуй, третий станет той самой осью в новой системе координат, той самой вертикалью, возносящей в невидимые и неведомые миры... Но, чёрт возьми, как быть с горизонталью, к которой упорно стремится ваше непослушное тело, как быть с вялым языком, — но блеск глаз, мерцание их, игривость улыбки затмевают неровность и бессвязность речи, всякое отсутствие цели — не это ли истинное счастье, мой милый друг?

И счастье — надёжный друг, который (после выпитого) всё ещё сохраняет трезвость и рассудительность, способность к ориентации, — что бы стало со мной, если бы не он, этот друг, — его улыбка, его готовность

перевести назревающую неловкость в шутку, браваду, его невероятная способность быть (и казаться) счастливым, наполненным, готовым к любому повороту в судьбе? Принимай любое событие как подарок — эти слова наполняют блаженной уверенностью в том, что заплетающиеся ноги и языки доведут нас до временного пристанища, которое внезапно стало родным, вожделенным, — полюби всё, что неизбежно, прими всё, что даёт жизнь, чем она насыщает тебя, питает, ошеломляет, ранит и фраппирует — в том числе и самоё себя, — на голове кувшин, глаза опущены, спина точно тростник, — вот, собственно, и весь секрет обрётённого счастья. Ибо, как сказано в Писании, «со всех деревьев ешьте и пейте, кроме этих двух». О запретах мы поговорим в следующий раз.

## ЛИЛИТ

Итак, она звалась Лилит. Та самая Лилит, дом которой (на пересечении улиц Пушкина и Парпеци) примыкает буквально к подножию собора Сурб Зоравор, — та, с которой знакомы с моих и её девятнадцати, — знакомство случилось в тот краткий и счастливый миг дилижанского лета, которое казалось бесконечным.

Очарованные друг другом, мы расстались. Думая, что ненадолго, — вслед уверениям — до скорого! — расстались на долгие годы, вспоминая друг о друге вначале часто (писались письма, настоящие, бумажные), потом всё реже и реже, потом — почти никогда.

Такова жизнь. Некоторых теряешь не только из виду, но из памяти тоже. Но здесь иное. Случается, ты и словом не обмолвишься о человеке, а образ его брезжит в сознании, где-то на периферии его (тебе кажется, что это периферия), освещающая некую часть тебя, ещё не окончательно забытую, а значит, живую.

Образ высокой смуглой девочки, нараспев читающей стихи, — её высвеченный скудным вечерним освещением профиль — о, этот профиль

не спутаешь ни с каким иным, — остался во мне надолго, и, ужаленная незнакомым мне прежде чувством, я изливала его на вырванных из тетради листочках в линейку.

Нет, ничего «такого» за этим не стояло — разве что воспоминание о густой дилижанской ночи, о долгих беседах «ни о чём и обо всём на свете» и ощущение удивительной близости — не девчоночьей, детской, и не взрослой, осознанной. Точно всплеск по воде или чистый звук речи, пробуждающий некие первозданные миры, сокрытые от меня, — язык будничной твоей жизни ничего общего не имеет с сакральным языком, который вдруг — слышишь — не понимая, но уже любя, как можно слепо любить то, что так желанно, но никогда не станет частью тебя.

Итак, она звалась Лилит.

Нет, никакой истории не случилось. И даже (хотелось бы написать о чём-то таком, что буквально просится, но, увы, увы) не было сплетённых девичьих пальцев, жаркого шёпота — ничего этого не было, кроме — вот этой ворожбы — нараспев — вначале на будничном языке твоей жизни — а после — на том первозданном, божественном, в котором смыслы на ощупь, на взвесь, на обращение самой себя в слух, вырастают — будто сосуды в чутких пальцах гончара.

Итак, она звалась Лилит. В то долгое дилижанское лето, насыщенное новыми смыслами, звуками, красками, — логосом — не из потрёпанного армянского букваря, косноязычием своим внушающего лишь скуку, а живым, округлым, строгим, архаичным и юным — словом, — не потому ли, что исходило оно от юного существа одной со мной породы?

Она звалась Лилит, и следующая наша встреча произошла два года тому назад, в том самом дворике Сурб Зоравор — не правда ли, как символично, — в щадящем вечернем уже освещении, в волнении прогуливаясь вдоль и поперёк, я вдруг увидела идущую — её. Приближающийся силуэт обретал знакомые и неизменные черты по мере приближения, и по мере же приближения — вмиг испарялось всё то, что могло бы разочаровать, опечалить или спугнуть. О боги, человек видит и любит не столько глазами (хотя и ими тоже), но сердцем. Потому лишь только оно обладает стопроцентным зрением.

Она была так хороша. Всё с тем же своим певучим, густым, обволакивающим, обхватывающим голосом, живым, ярким и смеющимся (даже в момент грусти) взглядом, — она была та же стремительно сбегаящая по дорожке девочка, и даже смуглые пальцы её (с колечком на одном из них) остались теми же, знающими что-то неведомое другим — из мира шорохов, теней и звуков.

Итак, звалась она Лилит. И первая наша прогулка — по вечернему Еревану — в тот позднеосенний день — собственно, предзимний, — была данью нашей юношеской восторженности и неизменной вере в чудеса, которые, впрочем, неизбежны для тех, у кого, помимо будничных слов, существуют другие, и если приходят тёмные времена, то спасают те, вторые, и, пожалуй, главные — из светящихся сумерек, из густых дилижанских ночей, юные и древние, точно всплеск по воде или крик далёкой птицы.

## АВЛАБАР<sup>1</sup>

**А** потом, знаешь ли, слёзы в Тифлисе обычное дело.

Не стоит их смущаться или прятать — напротив, их можно и нужно выплакать, воспользовавшись порывами шквального ветра, того самого, который перепутал все вывески в Авлабаре, — настоящий Тифлис встречает по-настоящему, оставив идиллию вьющейся виноградной лозы на потом, всё на потом, — и шершавые на ощупь разноцветные связки чурчхелы, и тяжёлые влажные круги сулугуни, который так мо-

---

<sup>1</sup> *Авлабар* — это большое ровное плато, которое заканчивается громадным скальным обрывом. Это единственное место с таким ландшафтом на всей Куре. Нигде больше нет таких скал, при том что сейчас они меньше, чем были в прошлом. В бронзовом веке любили такие места, поэтому наверняка здесь кто-то жил. Так что когда царь Вахтанг Горгасал в 458 году начал строить город у серных бань, авлабарцы наверняка наблюдали за ним с противоположного берега.

лод, что сыром пока не считается, — разве можно назвать тривиальным словом «сыр» эту истаивающую на языке субстанцию, — и запотевшие кувшины саперави (так вот он, настоящий рубиновый оттенок, вот она, глубина смысла и вкуса, воспеваемая винопоклонниками всех эпох и времён), и голубые долины с пасущимися в них сонными кобылицами, — вначале был ветер, и ветер был в Тифлисе, — нет, вру, — вначале были облака, плотные, сбитые, точно сцеженный мацони из молока белой буйволицы с коричневым пятном во лбу, — мы вышли из них, сотворённые волей невидимых богов, — возрадовавшись обрётённому дыханию, вышли на подгибающихся ногах, ещё не наделённые сознанием, — да и что может осознать рождённый минуту назад, — да, той ночью (или это было утро) небывалый ветер перепутал все вывески не только в Авлабаре, но и во всём городе, и потому, сбившись с ног, отягощённые грузом прошлой (а всё, что было до, считается прошлым) жизни, метались по негостеприимному, холодному, неуютному, столь непохожему на восторженные живописания, блистающие эпитетами, — отягощённые бессонной ночью, ознобом (то был озноб небытия), головокружением (обычное дело для спустившихся с небес), искали мы временное своё пристанище, сверяясь с адресом на трепещущем листке, — но повторяю, — кто мог предположить смещение оси, крушение координат в то странное зыбкое утро — наше первое утро в Тифлисе.

Париж стоит мессы, а Тифлис, соответственно, — жизни, — и сумрачная станция метро со спящей у входа женщиной в телефонной будке (как содрогнулась я от этого знака), и аккуратно упакованные ноздреватые листы лаваша с проступающими на них таинственными письменами, — здесь же, у входа в метро, — это потом, много позже я загляну в неистойой голубизны глаза торгующего священным для меня свитком, сотканным из соли, воды и муки, из опресноков, собственно, в которых ни грамма, ни молекулы дрожжей — этого смертоносного грибка, ведущего к обжорству, распутству, пресыщению, — ворота в Эдем устланы свитками лаваша с отпечатками сотен пальцев рук, ног, губ, волнующих выпуклостей и впадин, — в только что испечённый лист лаваша не грех завернуть младенца, так он научится обонянию, осязанию, так



он научится дышать и видеть, так запомнит он тепло женского лона и дыхания, — не оттого ли так жадно ухватилась я за эти листы, подобная осиротевшему в поисках крова, — Тифлис стоит жизни, поверь, а Авлабари — трёх жизней, — к нему ведёт неказистая пыльная улочка, наша воображаемая Голгофа, — по ней бредём мы, навьюченные, отплёвываясь от пыли и песка, — стоп, — возьмите такси, — смеётся женщина-полицейский, и дальнейшее мы наблюдаем сквозь полусон, доверившись опытному таксисту, — мы экономим силы, мы движемся, точно куклы-марионетки (ну как тут не вспомнить кукол Габриадзе), мы погружаемся в долгий исцеляющий сон, чтобы проснуться...

Чтобы очнуться на крыше, залитой солнцем, в самом сердце Тифлиса, и как сказано в «Евангелии от Авлабара»<sup>1</sup> (а лучше и не скажешь, поверь): «С Авлабара видно всё. Весь Тифлис с его закоулками: Шайтан-базар, Эриванская площадь, Мыльная улица, Нарикала, церковь святого Саркиса, Сион, греческая церковь... С Авлабара видны дома господ Хатисова, Мелик-Казарова, караван-сарай Тамамшева, театры Тер-Осипова и Зубалова, гогиловские бани... Да что там — с Авлабара видны Коджор, Борчалу, Шавнабади и... Париж! С Авлабара видны тифлиссские свадьбы и похороны, болезни и сны...»

С Авлабара, как сказано в Евангелии от великого Агаси, видны «тифлиссские сны и тифлиссские беды», — и покосившиеся фасады домов тому доказательство: слепые окна, затянутые паутиной, осторожно открытые ржавеющие ворота, подвальный душок, символ остывшего очага, и даже этот дом, возведённый для жизни многих поколений одной семьи, обращён во временное пристанище спустившихся с небес пиитов, и чувство благодарности к безымянному Создателю обрётённого рая переполняет сердце, — приметы чьей-то жизни останавливают взгляд и дыхание, — увитая канонической лозой винтовая лесенка ведёт на крышу, под ней — буйное цветение алых (юных, с мерцающими капельками росы на тяжёлых от влаги лепестках) роз, потрёпанный пыльный коврик в углу двора, старое кресло-качалка, выдавшая виды

---

<sup>1</sup> Здесь и далее цитируется рассказ Агаси Айвазяна «Евангелие от Авлабара».

кухонная утварь, изогнутая кофейная ложечка, скрипучие дверцы комода, — здесь были люди, здесь только что были они, варили утренний свой кофе (три мерные ложки на джезве), наблюдая (куда, собственно, спешить, если весь мир на ладони) за вздымающейся коричневой лавой, распространяющей дерзкий, пьянящий, густой аромат, — медленно, стараясь не расплескать, взбирались на крышу, о ней отдельная песнь, — особенно хороша утренняя — пока несмелым светом заливаемая, и что говорить о вечерней, исторгающей слёзы восторга, благоговения, осознания быстротечности жизни, — хватит ли её, чтобы пресытиться, насытиться, проникнуться, воспарить — там, вдали, светящийся купол Троицы, плывущие над и под облака — совсем не страшные, напротив, — безмятежные, умиротворённые, впрочем, как и мы.

Умиротворённые, оглушённые открытием, обретением, внезапным ощущением новизны себя, этого вечера, дня, утра.

Стоит переступить порог, и фильм начинается. И можно тысячу раз пожалеть о том, что камера осталась дома, и мысленно возвращаться к тому самому сюжету или персонажу...

Хозяйка авлабарской едальни, выпуская струйку дыма из добрых многоопытных губ, прикрывает томный карий глаз, — детка, — вкрадчиво поёт она, — детка (неужели это мне?), — есть партия восхитительно-го французского белья прямо из Парижа — не хочешь взглянуть? — её низкий, с хрипотцой голос способен убедить и обаять кого угодно, — в другой раз, — заискивающе булькаю я, рискуя показаться либо недостаточно вежливой либо не вполне женственной, ибо какая женщина не будет охвачена немедленным желанием при виде парижской контрабанды, сшитой авлабарскими умельцами.

Авлабари — ажурные кружева из света и тени.

— Если вам в церковь, идите через двор, — стоящая на пороге хрупкая женщина в чёрном одеянии обстоятельно объясняет дорогу. Киваем, благодарим, понимая — здесь каждая улица и каждый дом, здесь каждая трещина и каждая морщина... ведут к храму. В него можно войти через парадный вход, по лестнице сквозь арку, а можно, петляя дворами, прийти туда же.

Смех и слёзы душат без предупреждения, наваливаются внезапно, не оставляя шанса и времени.

Весь Авлабар как на ладони — а вот и будка сапожника Серёжи Абрамяна, — присев на истрёпанный топчан в тени старого дерева, рискуешь провести здесь день, и вечер, и следующий день, повинувшись естественному ходу событий, но мы идём к храму, и старый сапожник машет рукой, его согбенные плечи, его прозрачные глаза, и тут я вновь (в который раз) даю волю накопившимся слезам, но смеющаяся стайка девчонок на крыльце соседнего дома осушает их вмиг.

Здесь очерченные резко тени проводят грань между уходящим и будущим. Витые решётки подчёркивают хрупкое изящество балконов. Кренящихся, клонящихся, но всё ещё полных жизни — и подсыхающего на полуденном солнцепёке белья, как это водится, цветного — начиная с младенческих пелёнок, заканчивая подсинённым постельным и распятыми доверчиво байковыми шароварами и халатами.

Да здравствует жизнь! Сиюминутные и затрапезные моменты её ничуть не менее важны, нежели божественные и вечные.

Сидящие у ворот небритые мужчины провожают взглядом, но свет, вездесущий, всепроникающий свет смягчает углы и шероховатости, и вот уже подробный стук костяшек предваряет следующий кадр. Играющих в нарды. В тени старых деревьев лица старых людей. Женщина, качивающая ребёнка. Поющая девочка на велосипеде. Запах выпечки пробуждает даже мертвецки сытого. У идущих мимо женщин в чёрном нет и не может быть возраста. Я быстро произвожу подсчёт. В какой момент она пришла к этому чёрному, без поблажек, цвету — в какой момент могучие законы рода, раз и навсегда установленного порядка вещей сковали тело, окутали его смирением. В какой момент, когда дорожки из слёз сделали своё дело — провели глубокие борозды на щеках, высветлили глаза, укротили неистовство желаний и чувств, оставив, пожалуй, одно. Доброту.

Тот самый случай, когда каждую минуту провожаешь полным неги и сожаления взглядом. Минут всё меньше и меньше, но тем ценнее эти оставшиеся до отъезда мгновения.

Никуда не спешить, ни за чем не гнаться — ни за впечатлениями, ни за сувенирами.

Лучше пройтись по тенистому парку, замереть в тени огромного дерева, родословная которого не уступает любому знатному роду.

«И если кого-то уж очень сильно охватит тоска, то с Авлабара ему станет виден винный погреб Саркисова, где “опьянеть стоит один абаз”. Это значит: не вино стоит один абаз, а один абаз стоит потопить своё горе в вине. Пей сколько можешь — плати всего абаз. Знают там, что много невзгод и в Тифлисе, и вокруг Авлабара, и на Авлабаре... На Авлабаре люди строго придерживаются законов чести, ничего друг другу не прощают в вопросах чести, из-за чести готовы убить и себя, и друг друга. И любят здесь так же неистово, как ненавидят, как убивают. А если любовь несчастливая, то доставай абаз и иди в винный подвальчик Саркисова» («Евангелие от Авлабара»).

Ещё немного — и всё это останется достоянием изменчивой памяти, распадётся на причудливую мозаику — цвета, тени, лица, голоса.

Но фильм идёт. Он идёт давно и не думает заканчиваться. Пока существуют дети, старики, улицы, подъезды. Пока существует этот город, вечно юный, древний и живой, опоясанный виноградной лозой, залитый солнцем и омытый дождями.





Когда не сможешь сознаться в том, что города — того, в котором жил когда-то, — уже не существует, как не существует и тебя самого, и эта твоя прогулка не более чем фикция, мираж, сюрреалистическая картина, на которой голубым раскрашено небо, а грязно-белым — дома, и радость твоя от того, что день этот непредвиденно хорош, — радость эта тоже не вполне настоящая — она вне рамок того, что называлось твоей жизнью, она за гранью, за пределами.

Города нет, как нет дороги, ведущей к дому, который никуда не сдвинулся со своего места, не сдвинулся, не сгинул, не обвалился, оседая этажами, перегруженными случайной, большей частью устаревшей мебелью, собранной в году этак семьдесят девятом в братской социалистической республике — ГДР или Чехословакии, как нет, впрочем, и самой республики, а мебель наперекор всему похрустывает изношенными суставами.

Так и стоит, кренясь балконами, забитыми всякой всячиной, допустим подборкой журнала «Юность» начиная с шестьдесят пятого или пыльными новомирскими изданиями, а ещё истончившейся газетной трухой, в которой свинец, продолжая испаряться, травит чахлые растения в неуклюжих горшках.

Велосипедный насос, растрёпанный скрипичный смычок, чехлы неизвестного предназначения, ракетки для тенниса, бельевая верёвка с многократно высушенным и трижды отсыревшим в полоску и блёклый горошек, горсть деревянных прищепок, справочник по машиностроению, конспекты, исписанные ученическим, со старательным нажимом в начале и легкомысленно-расплывающимся к концу.

Связки писем «от него к ней», «от неё к нему» — перетянутые резинкой, — их никто не читает и, страшно подумать, почти не пишет. Затя-

нутая в полиэтилен вечнозелёная ёлка. Переложенные клочьями ваты, ещё почти совсем целые игрушки. Избушка на курьих лапах. Космонавт с поднятой левой рукой. Шестипалая снежинка на длинной ноге.

Города нет, как нет и того, кто одним махом взлетал на пятый, кажется, — пятый или всё-таки четвёртый? — сначала одним махом, потом с небольшими остановками между этажами, потом — медленно заносит левую ногу над ступенькой, мужественно преодолевая третий пролёт, — кошачий закуток останется таким же живописным и сегодня — с картонкой, в которой живое и беззащитное требует тепла и молока и продолжения жизни — тянется к свету, к слабой полоске, падающей из правого верхнего угла, где железная скоба, выкрашенная в неопределённо-тусклый цвет, так и не закрывается и не закроется никогда, и потому от холода сводит пальцы, — в уже неважно каком году, потому что года этого уже нет, как нет меня, его, её, — нет причин и обстоятельств и повода стоять в глубоком колодце двора, запрокинув голову, считать окна, в которых, возможно, ещё теплится, горит, любит.

Бродить в темноте, разбрасывая спички, много спичек, мусоля пустой коробок, — пока где-то не залает собака или не забрезжит первая звезда, — как сладко прощаться навсегда, дышать в спину прозрением, безразличием — выдыхая, отсекая, вырывая — изношенную, ненужную, устаревшую — случайную конечно же, случайную, благополучно погребённую под завалами.

Её никто не искал. Никто не искал, не допытывался, — вот город, шумит, сверкает огнями, витринами, штукатуркой, фасадом, — а в глубине двора качели поскрипывают жалобно и дерево под окном.



## ИСКУССТВО МОНТАЖА

Для них всё это вчерашнее — вчерашний день, вчерашний суп, вчерашние истории. Это как рыться в старых вещах. Их ясный взгляд устремлён в будущее. Там, в будущем, не будет места (по их мнению) вчерашнему.

Он бьют копытами, ноздрями ощупывая воздух. Вот уже и лето почти вчера, и солнце устало опускается (за крыши домов, за деревья), и завтра всё отчётливей предъясняет права, обесценивая значимость сиюминутного.

Что говорить о событиях двадцати- и тридцатилетней давности, их ценность подвергается сухому анализу, бесстрастному взгляду, — о чём это вы, господа, о каком подтексте идёт речь в мире обезоруживающей конкретики, непреложных фактов, развёрнутых комментариев и комментариев комментариев?

Он усмехается, и жирное слово «франшиза» ползёт по экрану, мохнатыми лапками цепляясь за периферию взгляда, — у нас договор, сроки, почасовая оплата, удалённая работа, а вы мне о паузе, о кадре, который вбирает в себя неспешность приближающихся сумерек, силуэт сидящей на скамье, её профиль, сложенные на коленях безвольные руки, голубоватые запястья, пальцы в нетерпении мнут и разглаживают тончайший (с вышитыми в уголке инициалами) платок, — смятение невозможно проскочить, проглотить, — смятение — это безотчётное чувство, овладевающее героиней неторопливо — такт в такт, — слушайте дыхание, если убрать все звуки, то вы услышите, как она дышит — вздымается грудь, — отставить крупный план, пусть только намёк, камера не спеша подбирается к опущенным векам, к трепещущим крыльям носа, по-прежнему сохраняя дистанцию, позволяющую прожить, пережить, растянуть это ожидание, — вот так, с каждым последующим вдохом и выдохом мы расстаёмся с надеждой на и вновь обретаем её вопреки здравому смыслу — здравый смысл оставьте потомкам, нам же необхо-

дима чистота эксперимента, пауза, расстояние, предшествующее всякому сближению, — должна сказать, что сближения как такового вы не увидите, апофеозом будет неопределённость и даже некая дымка разочарования, на дне которого расходящиеся спасательные круги пресловутой надежды, — о какой франшизе речь, — нам нужен запах, ритм, — кадр — это музыка, без ритма он скорее мёртв, нежели жив, и даже качественное изображение не заменит треска и шипения патефонной иглы, безыскусности старых снимков — из той, плёночной ещё эпохи, не подозревающей об устрашающей бесконечности повторяющего себя изображения, о безусловном торжестве фильтра и фотошопа, — оно не заменит подробности (и благословенной небрежности) складок, игры теней и полутеней, в сквозящем (вполоборота повёрнутом профиле) нетерпении, муке, итак — запах, звук, ритм, нечёткость и в то же время достоверность, подробность деталей, — старая плёнка раздвигает границы памяти, — так о чём же фильм, — в двух словах — на три у нас нет времени, и средств тоже нет, пауза — слишком дорогое удовольствие, смятение мы убираем, — к чему этот зыбкий свет, все эти иносказания, недоговорённости, — он упорно пускается в воспоминания, точно в глубокие воды, — волна несёт туда, в кадры отснятой хроники, мелькают лица, обрывки разговоров, снятая телефонная трубка, металлический диск, пробивающиеся в паузах радиоволны («Проминь», «Маяк», вездесущие румыны со скрипками, все эти бесконечные дойны, их сложно заглушить и перепеть, румыны — это предел, за которым скрываются сокровища свободного во всех смыслах мира), — наконец лицо его разглаживается, светлеет, но кто-то решительно берёт микрофон, и жирное слово «франшиза», чёткий, не допускающий полутонов и оттенков звук... тот самый момент, когда зажигается свет в кинозале и скучное слово «конец» проступает на блёкнущем экране, лишая последней иллюзии и обманчивой перспективы взгляда, обращённого вглубь.

\* \* \*

Как мы жили в такой крошечной темноте? Без единой вспышки? Как? Как будто всё, что происходило тогда, должно было быть погребено под

завалами памяти, которая тасует колоду как придётся, выуживая то одно, то другое.

Самое удивительное, что эти годы так и остались провалом — я ровным счётом ничего не вспоминаю, хотя всё помню. «Помнить» и «вспоминать» — это такие разные категории. Как будто *та* часть жизни проходила в глубоком сне, в котором не было ни единой зацепки. Точно так же я не вспоминаю школьные годы, о которых принято с умилением.

Воистину, душа долго блуждает в потёмках, пока не обретает самоё себя. У каждого свои сроки.

Нет, порой, конечно, мелькают некие обрывки (как будто не моей) жизни, на которые я смотрю с осторожным отстранением — всё ещё ранит? Накрывает мутной волной? Сколько же щепок, пустот, воронок, сколько невостребованной энергии в этом странном облаке, именуемом жизнью! Как много заколоченных наглухо дверей, которые не то что отпирать, к которым подходить боязно — а ну как попрут, польются все эти слёзы, страхи, муки подсознания, и я вновь исчезну, пропаду, иссякну.

Воистину, лучший из всех видов мести (как справедливо отметил Борхес в своём апокрифическом евангелии) — забвение. Тотальное, полное, безоговорочное. Даже если на кону твоя собственная жизнь.

\* \* \*

В детстве (а оно не всегда было солнечным, бывали и пасмурные, как, допустим, сегодня, дни и даже годы) я любила стоять у окна под вкрадчивый говорок радиопередач. Конечно, не «В рабочий полдень» и не жизнерадостные передовицы о надоях и трактористах. Я слушала радиоспектакли. От одного только сочетания звуков: «МХАТ» или «На сцене Малого театра» — сердце моё наконец начинало биться в унисон с реальностью, — не то чтобы я её абсолютно отвергала, но зачастую отторгала, — многое в этом новом (в тот момент) районе и времени жизни было немило и чуждо мне, стоящей у окна, — долгие зимы, вороны, соседи, одноклассники и этюды Черни, стопкой сложенные на фортепиано.

А театр у микрофона я любила — мне нравились голоса, интонации, истории, — как будто свиток живой и яркой жизни разворачивался

внутри скучной и обыденной моей, — подперев ладонью щёку либо же скрестив ноги по-турецки, уносила я в иные миры, — кое-что меня всё-таки смущало, и уж будьте покойны, я умела отличить фальшивый пафос «Сталеваров» от «Странной миссис Сэвидж» и голос Плятта или Яншина распознавала с первых слов. И прежде всего Розов (пьесы которого были подарены тётей в очередной день рождения), их я глотала и перечитывала и сама ставила домашние бумажные спектакли из нарисованных фигурок, о, благодарю провидение за этот восхитительный досуг, немало сладостных часов и минут было потрачено на исполнение режиссёрского замысла и удовлетворение едва ли не главной страсти).

Арбузов. Сколько невидимых слёз пролила я, вслушиваясь в голос великой Марии Бабановой. Сострадая неприспособленности, кротости и детской хрупкости, восхищаясь мужеством и стойкостью и этой глубинной красотой отвергнутого, но любящего глубоко (хоть и безответно).

«У меня есть сын» — вот этот нежный детский голосок (о, сколько боли в нём и невысказанного потаённого счастья). — «У меня есть сын...» — повторяла я вновь и вновь, стоя уже перед зеркалом, пытаюсь разглядеть в себе крупницу этого достоинства и красоты. Наверное, ещё до конца не понимая, что фраза эта — простая, на первый взгляд, окупает всё и вся — она, именно она — венец, и гордость, и смысл всей твоей, в общем-то, обыкновенной жизни, в которой ты, как все, родившись, вырос, пошёл в школу, прятал дневник, влюблялся, грыз ногти, плакал от неразделённой любви, ходил в походы, сдавал экзамены и нормы ГТО...

И вдруг это, библейское совершенно. Из других, знаете ли, миров. Сводящее на нет все прочие достижения. Альфа и омега. Как «в начале было слово». Так в начале был спектакль и чудный дрожащий голос из динамика возвестил миру о главном.

## КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ

Куда все подевались, однако? Сегодня абсолютно не с кем сыграть в этого самого выбивного. А знаете, что важно в этой игре? Нипочём не догадаетесь. Важно вот что.

Во-первых, напротив вас — в шеренге должен быть Тот самый мальчик. Ну, вы понимаете. Он должен сверкать глазами и ждать именно вашего удара.

А вы, повизгивая и придерживая руками ужасно короткое (и о чём только родители думают — партия соседки) платье, должны пристально смотреть на него. Тогда всё получится.

Иногда, сознаюсь, платье моё казалось мне недостаточно коротким. И тогда я стремительно неслась в подъезд и там уже придавала своему туалету законченный вид. Чтоб безошибочно, наповал.

Для этого существовали специальные приспособления. Собственно, их было два: первое — резиночка, ею я фиксировала платье до необходимого мне предела. Второе — плотная ткань, похожая на бинт (и где я её раздобыла?), — служила фиксатором того, чего ещё не было практически, но теоретически — я знала, что оно уже есть и время от времени с волнением наблюдала в зеркале... В общем, то, чем гордятся девушки и взрослые женщины, казалось мне стыдным, безобразным, уродующим. Оно смущало меня и тревожило. И потом, если мяч всё-таки попадал в грудь... то она, эта самая гипотетическая грудь, была надёжно защищена двойным слоем плотной ткани.

Так что игры нашего детства были волнующими, прекрасными — до самых сумерек длились они, и даже после того, как солнце опускалось за крыши стоящих плотно друг к другу домов, мы не прекращали.

Да, того самого мальчика из шеренги напротив звали Илья. У него была непереносимой красоты мама — настоящая Анна Каренина (куда там всем актрисам) — с такими тёмными, горячими глазами-маслинами, — точно такие были у сына и у её мамы, вечно тревожной дамы с

манерами (помнится, она носила шляпу-пирожок и митенки). Бабушка Ильи немножко картавила, картавила мама (ах, каким глубоким, волнующим, низким был её голос) — картавил и сам Илюша. И картавость эта лёгкая казалась мне бесконечно обаятельной. Я влюблялась безудержно — то в маму, то в сына, — в бабушку мне было влюбиться несколько сложнее.

Когда игра заканчивалась, все разбегались по домам, мы с Илюшей ещё долго висели на заборе (короткое платьё здесь было весьма кстати) или, водя пальцами по мутному толстому стеклу, сидели на подоконнике в подъезде (особенно способствовали этому бурные майские и июньские ливни) и говорили о...

О книжках говорили мы, о чём же ещё.

## ПОЕДИНОК

**Я** помню ощущение бесконечного счастья — в старом подольском доме, — когда выуженные из пристенного закутка несколько тяжёлых тускло-зелёных томов Куприна ещё сушили блаженство откровения, — и шелест переворачиваемых (с задержкой дыхания) желтоватых листов, и рельефно проступающие тиснёные буквы, и запахи — клея, бумаги, выстроенных рядами книжных полок (всё это приметы времени, уходящие вместе с последними читателями подписных библиотек), — уже пролились слёзы над белым пуделем, уже прочитаны «Сапсан», «Барбос и Жулька», но впереди «Гамбринус», «Яма», «Поединок», «Суламифь», «Талёр», «Сентиментальный роман», «Кадеты», «Гранатовый браслет», «Жидовка», «Штабс-капитан Рыбников».

Впереди весь Чехов, его я ещё по-настоящему полюблю, и отнюдь не только за «Каштанку», но и за полные иронии, беспомощной грусти и любви письма.

И Короленко, и Гарин-Михайловский, и Гаршин, и бунинские тёмные аллеи, и кисло-вяжущий вкус антоновских яблок, этот смачный хруст, смятение, боль, очарованность — всё это будет позже...

Пока же — Куприн. Полузапретный, ни с чем не сравнимый. Это потом ты усвоишь, что «Цветы осенние» — это Куприн, а «Цветы запоздалые» — Чехов, и влюбишься намертво и в то и в другое. Попробуйте прочесть, просто произнесите это медленно, вслух, окунитесь в неспешное, подробное, не пренебрегающее деталями строение слов.

Мы утратили (утрачиваем) подробность существования и повествования (одну за другой) при возрастающей скорости перерабатывания информации — мы стали небрежны, поверхностно чувствительны, поспешны.

«Но иногда нами овладевала потребность в городском шуме, в суете, в чужих людях. Затерявшись в незнакомой толпе, мы бродили, прижавшись друг к другу, и ещё теснее, ещё глубже сознавали нашу взаимную близость. Помните ли вы это, дорогой мой? Что касается меня, я помню каждую мелочь и болею этим. Ведь это всё моё, оно живёт во мне и будет жить всегда, до самой смерти. Я никогда, если бы даже хотела, не в силах отделаться от него... Понимаете ли — никогда; а между тем его на самом деле нет, и я терзаюсь сознанием, что не могу ещё раз по-настоящему пережить и перечувствовать его. Бог или природа, — я уж не знаю кто, — дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего» (Куприн).

«Выпал первый снег, за ним второй, третий, и затянулась надолго зима со своими трескучими морозами, сугробами и сосульками. Не люблю я зимы и не верю тому, кто говорит, что любит её. Холодно на улице, дымно в комнатах, мокро в калошах. То суровая, как свекровь, то плаксивая, как старая дева, со своими волшебными лунными ночами, тройками, охотой, концертами и балами, зима надоедает очень быстро и слишком долго тянется, для того чтобы отравить не одну бесприютную, чахоточную жизнь» (Чехов).

В незапамятные времена почтовый ящик, мимо которого сегодня прохожу не оборачиваясь, трещал по швам. «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Пионер», «Юный натуралист», «Литературка», «Наука и жизнь», «Огонёк» — в детстве мне часто снились пахнущие типографской краской склеенные листы. Как весело было тащить разноцветную охапку, предвкушая новизну ощущений.

Полноводный ручей иссяк внезапно. Жёлтая пресса, приклатнённый говорок, уголовный оскал вытеснили строгость, стройность, занимательность, значительность печатного слова. В лучшем случае в почтовом ящике оказывался одинокий бланк-уведомление о внезапной бандероли. Либо же ворох коммунальных счетов.

Журнальные стопки редели постепенно, а потом и вовсе исчезли. Дольше всех продержалась, кажется, «Литературная Армения». Именно с неё начался мой первый Мандельштам. Моя первая Цветаева. Мой первый Матевосян. Кочар, Аветисян, Жансем. Я читала и впитывала жадно, взахлёб. Пожалуй, и чтением назвать это было сложно. Так голодные набрасываются на еду. А голодна я была всегда.

Я набивала себя всем подряд. Неважно. Продиралась сквозь второстепенное, незначительное, с одержимостью выискивая золотые крупички смыслов.

Сегодня всё иначе. Текст расцветает под пальцами либо же меркнет — балансируя между изысканным наслаждением и непостижимой скукой. Собственно, настоящие тексты не нуждаются в чтении. Они читают себя сами, живут вполне самостоятельной жизнью.

Иногда мне хочется оказаться там, в тени тутового дерева. У него нет точного места на карте, места постоянной прописки. Оно, это дерево, растёт, где ему заблагорассудится. Но всегда найдётся тот, кто укажет дорогу к нему.



## НАУКА И ЖИЗНЬ

Был такой персонаж у чудесного польского карикатуриста Збигнева Ленгрена. Профессор Филютек. Возможно, кто-то ещё помнит номера польского журнала «Пшекруй» и советского «Наука и жизнь» — последний, кстати, прочитывался от корки до корки, и чем непонятней, тем слаще, как вы понимаете, — понятие божественного успешно заменяла эта самая наука, ну а сам бог существовал в виде комичного-гневногo старца в ночной сорочке — из толстенного тома Жана Эффеля, и потому к богу отношение было не вполне серьёзное. Вот наука — это совсем другое. Наука объясняла многие непонятные вещи, и хотя по мере нарастающего напряжения в голове (после пролистывания журнала) эти самые непонятные вещи так и оставались непонятыми или понятыми не окончательно, но это сладкое чувство... посвящённости в тайны мироздания, в святая святых и, как итог, сюрприз в виде незадачливого, наивного и доброго профессора Филютека на последней странице...

Я до сих пор не понимаю, что такое электричество, как взаимодействуют атомы и нейроны, и я не очень хорошо представляю, как на самом деле выглядит Господь Бог. Многолетняя подписка на «Науку и жизнь» (а также «Юного натуралиста», «Химию и жизнь», «Науку и религию» и прочая) не сделала меня отличницей или медалисткой. Даже хорошисткой я могла бы назвать себя с некоторой натяжкой. Наверное, из-за глупой привычки поспешно пролистывать серьёзные книги — с тайной надеждой: а вдруг?

Я скачу по Филютеку. Тоскую по толстым пыльным стопкам «Науки и жизни», по гневному старику в белой сорочке, по сладкому яблоку познания, — порой кажется, стоит заглянуть под нижнюю полку — и под толстым слоем пыли обнаружатся следы рассеянного профессора и ещё много всякой всячины — недоперечитанного, недопросмотренного, недоигранного, недопережитого.

## РЕЧЬ ПОЙДЁТ О ЛЮБВИ

У неё чёрный ребёнок! Посмотрите, у неё чёрный ребёнок!

*Из фильма «Цирк»*

**В** темнокжего малыша, как вы понимаете, я не могла не влюбиться. Причём молниеносно, с ходу.

К счастью, телевизионные программы не могли похвастать разнообразием, и потому долгими зимними вечерами я вновь и вновь припадала к маленькому чёрно-белому экрану «Волхова» — да и нужен ли был цветной, когда вот он, чёрный прекрасный ребёнок и ослепительно белая мать, — а что ещё, спрашивается, что ещё необходимо для полного счастья?

Полное счастье представлялось мне дюжиной курчавых мальчишек, совсем как в мультике «Лев Бонифаций», который тоже, представьте, просмотрен был бессчётное количество раз, но от этого абсолютно не утрачивал своего очарования и какой-то угловатой, смешной и трогательной наивности.

Счастье было неразбавленным, ярким, цельным. Мультфильм был только раз в сутки, вечером, перед сном, и это в лучшем, учтите, случае...

А в худшем приходилось терпеть всяких тётенок-чревоушечниц, разговаривающих поросычьими и заячьими голосами, а ещё деда Пана-са с неизменным «Любы хлопчики та и дивчата». И так, был мультфильм, причём любой, я рада была любому! А ещё, конечно, Майя Плисецкая, любоваться которой я могла сутки напролёт.

Любоваться и замирать, а потом часами носиться по нашей комнатке, заваленной книгами, — воздевать руки, вообразать себя белым или чёрным лебедем...

Да, чаще всё-таки чёрным.

Чёрный — это характер, экспрессия, темперамент, мощь, это туго сплетённые мышцы, пропускающие заряд такой невероятной силы, — сострадая белому, я втайне симпатизировала тому, другому...

Итак, темнокожий ребёнок, чёрный лебедь, а ещё моя тайная любовь Максимка. Спасённый матросом мальчишка с огромными бархатными глазищами и ручками-палочками. Абсолютно чёрный — во всяком случае, в нашем чёрно-белом телевизоре он иным и быть не мог. Не лиловым, не шоколадным, не кофейным.

У неё чёрный ребёнок! Вы только посмотрите... Итак, всё было предопределено. В мечтах своих я шла по городу — высокая, с платиновой причёской и лебединой шеей, а на руках моих покоилось крохотное и беззащитное... Мой Максимка. Только мой и ничей больше. Один на руках и ещё двое рядом. Двое, трое, пятеро...

А главное, чтобы все были против. Весь мир.

Ах, как смаковала я эту отдельность, эту избранность, эту непохожесть. Мне нравилось быть другой.

Кто, если не я, сочинял безумные истории о собственной родословной, которая на фоне кинематографических страстей казалась какой-то пресной, что ли... Какие-то армяне, какие-то евреи. А апачи, а цыгане, а викинги? Какие легенды слагала я о самой себе!

Я была чернокожей девочкой (а лучше мальчиком), украденной моими родителями из самого что ни на есть цыганского табора. Во дворе меня окружали соседские дети. Самым удивительным было то, что мне верили!

Пропуская мимо ушей повторы, неточности, они шли вслед за мной, заглядывали мои бесконечные «рассказки» и требовали ещё.

И я не могла их разочаровать. Как не могла подвести десяток воображаемых темнокожих мальчишек, цепляющихся за подол моего платья.

Сверкая белками глаз, они шли за мной и требовали продолжения. И я не могла остановиться. Чтобы не предать, понимаете?

Тот самый мир, маленький, смешной, огромный, из тех странных времён, из того самого чёрно-белого кадра, в котором невообразимой красоты женщина идёт сквозь толпу, а на руках её — невообразимой красоты чёрный ребёнок.

Я натура страстная, увлекающаяся.

Ещё в детстве подвержена была приступам неудержимых страстей. Допустим, к различным предметам и явлениям.

Пуговицам (их была коллекция — маленьких, жёлто-костяных, огромных, перламутровых, круглых, ромбовидных и прочих), камням, стёклам, лоскутам, кукольным головам, а также к воображаемым друзьям и возлюбленным, с которыми вела полные иносказаний и скрытого смысла беседы.

Например, была у меня любимая пуговица Мотя, голая кукла Володя — предмет активного сострадания и почти религиозного экстаза.

Жизнерадостный Зайчик, основным призванием которого была игра на барабане, но, даже лишённый барабана, Зайчик продолжал конвульсивные движения, пока окончательно не замер. Тем самым спровоцировав меня на долгие и упорные лабораторные исследования.

В любви я была собственник. Тиран. Мне всегда казалось, что объект моей страсти по определению становится исключительно моим. То есть момент абсолютного обладания был чрезвычайно важен.

Например, я долго и нудно отчитывала мою единственную Лучшую Подругу за то, что она позволяет себе увлечения за пределами наших отношений. Дулась и переживала, воображая крушение всяческих идеалов.

А книги... Сколько терзаний, попыток определиться навсегда, застолбить навечно...

Пятикопеечные малютки с незамысловатыми картинками становились предметами культа.

Я начинала любить их уже у прилавка. Сжимая в кулаке те самые несчастные копейки, я не сводила глаз с вожаденного, предвкушая заранее пленительную шершавость листа и тот самый судорожный всхлип, который предшествует его развёртыванию.

Однажды я влюбилась, проходя мимо витрины. На ней, посреди скучно и пристойно изданных книг, красовалась она, живая, пухлая и несерьёзная, под названием «Сделай САМ».

О, сколько очарования таилось в этом многообещающем сочетании букв. Из книжки что-то торчало. О, это «что-то», неведомое что-то...

Объятая вожделением, я робко произнесла...

Казалось, книга таит в себе нечто, и от этого «нечто» жизнь моя наполнится новым смыслом. Я была близка к разгадке бытия как минимум. Сделай Сам.

Пять минут прошли в мучительном ожидании.

Весело улыбаясь, мама протянула пакет.

— Ты же хотела книжку — держи! Это очень хорошая книжка. По-настоящему хорошая.

Последняя фраза насторожила меня. Но я всё ещё надеялась. На что?

Серая пористая бумага развернулась сама. В руки мои упала небольшая зеленоватая книжца с портретом задумчивого дяденьки на обложке.

Это был Салтыков-Щедрин. Прекрасный русский писатель, которого я, начитанная и любознательная девочка, честно старалась полюбить.

\* \* \*

Когда-то я любила Фиделя Кастро. В числе моих влюблённостей он занимал достойное место.

Но обаяния Че ему было не переплюнуть.

Че был моей детской любовью, не исключаящей нежного томления по иным объектам — как то: по бледному мальчику в коричневых колготах под синими шортами, по не подозревающей ни о чём удивительной девочке из соседнего подъезда или по очаровательному денди, доктору (как оказалось, зубному протезисту) с пятого этажа.

Доктор ходил в кожаном пальто и каждый вечер поднимался на свой пятый с новой дамой. Даму он деликатно поддерживал под локоток, и пахло от него крепким мужским парфюмом (в смысле, от денди).

Мальчика я жалела, протезистом восхищалась, девочкой любовалась издалека.

Но всё это было... преходящее, что уже тогда, в нежном возрасте, я немного понимала.

Книжка из серии ЖЗЛ с портретом огненноглазого команданте на обложке была зачитана до дыр. Сердце моё катилось по скорбному маршруту боливийских джунглей...

Чуть позже я обзавелась огромным цветным портретом мудрого (тогда ещё относительно молодого Фиделя). Канцелярскими кнопками я прикрепила его к стене, сокрушаясь втайне от самой себя о двойственности человеческой природы — любовь к одному, а портрет — совсем другого. Лёгкая влюблённость оказалась легче и приятней любви и даже несколько её затмила.

Время шло.

Фидель мудрел, старел, бронзовел, ветшал. Из-за плеча его проступал лисий профиль партайгеноссе Рауля, родного брата.

Пыла его всё ещё хватало на многочасовые проповеди. Бесчисленные женщины его, жёны, подруги и любовницы, старели, сменяли одна другую, страны, паспорта и даже лица, но ускользнуть из-под пресса несокрушимого обаяния и кубинских спецслужб им не удавалось.

Что-то ушло. Плакат пылился на антресолях вместе с другими не востребованными реликвиями. Влюблённость моя улетучилась, осела, скукожилась, как многократно стираное бельё, как трубкой свёрнутый плакат с изображением прекрасного барбудо. Забылась напрочь, освободив место для других, не менее прекрасных увлечений.

## ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕСТА И ВРЕМЕНИ

**М**ы живём в параллельных мирах. Вайфай, чекин, смартфон, посадочный талон, онлайн-регистрация, слово «фуагра» щекочет язык обещанием изысканного, и тут же — чернеющие рытвины в асфальте, маршрутка, набитая пылью и мятыми пассажирами, едущими из пункта А в пункт Б, — под безудержный речитатив с пожеланиями любимой жене от любящего супруга, любимому племяннику от любящих дяди и тётки — в пионерский

лагерь, — панове, ведь пионеров нет, уж тридцать лет как нет, — а лагерь — есть! — счастливый хор дебелих пионервожатых в трепещущих на ветру кумачовых галстуках и минималистических юбочках развеивает сомнения, — времена, наползая друг на друга, образуют дополнительное пространство, подобное машине времени, которая, ускоряя свой бег, в мгновение ока доставляет в будущее и далёкое прошлое — там сонные электрички, зассанные тамбуры, там петушиные головы, накрытые холстиной, выкрикивают прощальное «кукареку», в корзинах — россыпи ягод, на незнакомой станции — одинокая фигура в плаще, — время, делая резкий скачок вперёд, оставляет следы, — тусклая лампочка в приёмном покое, свежая побелка, драпирующая «Света, я тебя лю...» и жирно прописанное (будто некий итог) слово из трёх букв — буковки, глумливо ухмыляясь, выскакивают из кармашков детской азбуки, — их можно переставлять так и этак, но итог от этого не становится иным, — а \*\*\* тебе, — в искреннюю заботу о ближнем сложно поверить в наших благословенных краях, везде ощутим подвох, двойные стандарты, — за-а-а-а-аходим, пассажиры, за-а-а-а-аходим, — у нашего водителя аккуратно выбритые седые височки, чистый воротничок, остановившийся взгляд военрука в завязке — слова он медленно процеживает сквозь ряд сцепленных зубов, не торопясь с результатом, — вопросы повисают в воздухе, ответы, провернутые в мясорубке рта, оказываются рублеными, нафаршированными порохом, свинцом, в них — ненависть плавает, перекачивается, подобная ртутным шарикам, — я вижу, как ходят желваки, натягивая кожу за ушами, — не будем же топиться с выводами, панове, — водитель тоже человек, впрочем, как и любой из нас, — выходим на заправке, разминая члены, выпиваем дрянной кофе из бумажного стаканчика, выкуриваем сигарету и тут же становимся значительно ближе друг к другу, понятней, — не ва-а-алнуйтесь, всех до-везём, — улыбается (то ли скрытая угроза, то ли обещание) он, зажав в ладони окурок, — глаза его, начинённые серой пылью, оттаивают, обнаруживая человеческое, — он треплет по головам чужих детей, которые тут же, провояя проплывающие за окнами реки, поля и леса, задумчиво изрекают: вот мост, вот река, вот корова, — мама, почему корова грустная, почему бабушка плачет, она просто старенькая, да? — пахнет беляшами, солнцем

и близким дождём, и серый человек, обернувшись, всё машет и машет рукой, то ли провожая, то ли встречая проходящих мимо.

В последние дни места и обстоятельства казались ему чем-то вроде многократно прожитого, пережитого, исследованного вдоль и поперёк. Лес, речка, просёлочная дорога, одни и те же лица, относительная предсказуемость и повторяемость событий. Теперь уже можно было представлять себе другие места — например, город, бегство из которого ещё каких-нибудь три недели тому назад было таким желанным. Да, там духота, жара, невыносимость, но многообразие лиц, сюжетов, происшествий. А тут — лес, река, коровы, близость кладбища — которое, к слову сказать, не производило гнетущего впечатления: размалёванные аляповато лавочки, пёстрые луговые цветы, которые в том же количестве произрастали и за оградой. Солнце уходило за горизонт, освещая кресты, ограды, могилы, — чуть поодаль, на развилке, шелковица роняла тёмные ягоды — они уходили в землю, окрашивая её в иссиня-чёрный цвет, и только случайные городские люди тянулись, нагибали гибкие ветви, ловили губами спелость и сладость, смеялись, точно от щекотки, вспоминая, должно быть, беспечные времена.

Сельский продмаг с джентльменским набором — каким-нибудь сухим алиготе, портвейном, чуть подсохшим бело-розовым зефиром, пряниками, только что завезённым мороженым. Пережидая полуденный зной, присесть под навесом — смотреть, как хмельная струя наполняет стакан, как лениво растекается время, как медленно бредёт чужая старуха, — острый запах немощи не отвращает, — здесь, под высокими небесами, ничто не кажется противоестественным — ни смерть, ни старость, — у них столько же прав, сколько у жизни. Голоногая девчонка на велосипеде: вы с дачи? с турбазы? — забытые слова из прошлых жизней, забытое чувство летнего безвременья — когда дождь выстукивает по крыше веранды, некто раскладывает пасьянс, сдвигая карты, а вместе с ними — планы, обязательства, подсчёты, — в права вступает иная реальность, — из мятой колоды карт — подробный перестук колёс, исцарапанные ноги, запястья, след от укуса комара, приبلудная собака, укладывающая голову на сложенные лапы, полудреmlет неподалё-



ку, вскидывается, отбиваясь от мух, помахивает хвостом, лениво приподнимается, под свалывшейся шерстью ходят рёбра, — она не просит, не скулит, просто смиренно ожидает — чего-нибудь, любого знака со стороны сидящего за пластиковым столом человека. Согбенная чужая старуха наконец преодолевает ступени — их ровно три, — смеётся, прикрывая ладонью пустой рот, — в ответ на чей-то вопрос тело её сотрясается от безудержного старушечьего смеха, — коричневолицый, сухой, точно кора старого дерева, человек сметает обёртки, бутылки, — зной оплавляет, размывает лица, силуэты, верхушки сосен, — пожалуй, одно оставляя неизменным — явность присутствия, делающего осмысленным и связанным всё — дорожку пепла на пластиковом столе, чужую старуху, шелковицу, звуки, которые не нарушают тишину, а дополняют её, — много позже, окружённый городским шумом, многообразием всего, обилием лиц, связей, возможностью выбора и невозможностью его, он вспомнит (между прочим) застывший кадр, в котором наполненность и бесконечность мгновения оставляют пространство как для сидящего под навесом, так для идущего по дороге — туда, мимо кладбища и леса.

Пусть это будет, допустим, жаркий либо пасмурный летний день, просёлочная дорога, виноградная лоза, опоясывающая плетень, солнце, проступающее сквозь травы, листья и цветы. Да, пусть это будут полевые цветы, растущие по обочине дороги. Повёрнутый к солнцу подсолнух, бесстыдно алеющий мак, невинная россыпь васильков, пустынная бескрайность поля, пьянящая тяжесть полдня. И всякий раз чувство быстротечности всего и бесконечности. Где-то посередине — точка, где они пересекаются.

## ЯВЛЕНИЕ ЦВЕТА

**Я** не люблю весну. Её рыхлый, немного душноватый ветер, её порывистость, изменчивость, склонность к капризам. Я не люблю шальной сквозняк из-за угла, невнятные ожидания, её насквозь женское и оттого тревожно-непредсказуемое начало.

Зима отсюда, из ранней весны, уютной кажется, размеренной, вечной. Нырнуть под одеяло, накрыться с головой, слушать, как гудит ветер, пролистывать сны неторопливо — зима всё спишет, зима всё перемелет, зима всё поймёт.

То ли дело весна. Её обидно проспаться, проесть, продремать, проворонить. Из пыльного гардероба вываливаются бесполезные зимние одежды, бессмысленные шарфы и свитера. Тяжёлые ботинки укоризненно морщат носы.

Вот и весна. Распахнуть окно (как туго поддаётся), впустить сноп света и тут же ослепнуть от его обилия, зернистости.

Пока только свет. Потому что цвета как такового пока не наблюдается. И нечем компенсировать недостаток его. Не укрыться за идеальной геометрией улиц, лиц, за чёткостью линий, устойчивостью фасадов, скрупулёзностью деталей мелких и крупных.

Торжество нашего времени — в пренебрежении деталями, — поспешность, сиюминутность не предполагают упоения формой, подробности осязания. Трёхчасовое перебирание гречневой крупы оставьте в прошлом, как и шелест рыхлых страниц, касание пера, его скрип, его стремительный росчерк. Оставьте в прошлом безудержное разрастание фикуса, удушливый аромат герани. Пыльную бахрому торшера. Подушечку для иголок. Важность напёрстка. Искусство штопки колгот под мерное говорение радио, детское слово «коржик» — оно кануло в вечность вместе с ирисками, леденцами «Спорт» и беспечно обглоданной четвертушкой украинского. Медленное кружение прошлогодней листвы не предполагает графического совершенства — красота в этих широтах скорее округла, нежели стройна, она созревает в недрах спальных микрорайонов, готовая прорваться, выплеснуться, затопить аллеи, парки, дворы.

Сохнут негативы, зажатые прищепками, предвосхищая явление цвета.

Увы, в широтах наших отсутствие цвета сродни катастрофе, — облупленные, подкопчённые фасады зданий идут на тебя, наступают, — в тоске по хлорофиллу завоет ветер из подворотни, в тоске по цвету

замычит обитатель городских трущоб — задёрнув шторы, погрузится в привычный глазу полумрак.

А где-то там готические, ажурные, остриём пера выписанные, отточенным грифелем заштрихованные, немного наивные в детском своём самолюбовании, в незыблемости, в высокомерии, в извечном стремлении сохранить веками выверенную меру красоты — её не коснулось варварское дыхание, не изувечила могучая длань пришельца, — высятся, пронзая разглаженную ткань небес, — там форма, соперничая с содержанием, не испытывает соблазна цветом, не стремится за лёгкостью обольщения, не приманивает цветистостью орнамента.

Цвета оставьте нам — прикрыть шрамы и струпья, задрапировать дурную бесконечность невнятных времён, придать смысл хаосу.

Вот-вот червонным расцветят маковки соборов, распишут попасхальному окну и ставни, загудят-затрезвонят колокола, рванёт, хлынет долгожданный цвет, затмив собой несовершенства этого мира.

## Я, ПАПА И БИ-БИ-СИ

«Нет справедливости в сердце человеческом, запомните это, молодые люди! Продали, ясноликую Тамар продали! За красные три червонца продали! Продали люди! Пресвятую Деву Марию продали!»<sup>1</sup>

На этом самом месте, как я ни крепилась, веки мои наливались слезами и, стуча ногами, я выбегала из комнаты, потому что опасалась встретиться взглядом с папой, который (сейчас я в этом не сомневаюсь) тоже плакал, только без слёз и судорожных вздохов — мужчина (восточный в особенности) не мог позволить себе разрыдаться (ох, это печальное заблуждение многих), не мог хлопнуть дверью и плюхнуться лицом в подушку, и оттого слёзы эти неявленные точили его сердце, но, клянусь, я слышала их всегда.

---

<sup>1</sup> Из фильма «Древо желаний», реж. Т. Абуладзе.

Как же сложно приблизиться к сдержанному мужскому горю, прорваться сквозь броню защиты и привычного «не шуми, папа работает».

Дочерей и отцов разделяет пропасть обожания, восхищения, опасения (однажды впасть в немилость), страха (потерять расположение или же потерять навсегда).

Я вижу юношу, независимого, одарённого, ироничного, наделённого энергией жизни, тактом и умом, но вынужденного существовать в заданной системе координат — семьи (не будучи ни в чём на неё похожим), общества (являясь слишком яркой индивидуальностью для того, чтобы шагать в ногу с ним). Только сейчас я понимаю, как непросто ему было, как душно было растрачивать силы, энергию, талант на искусственные препятствия, создаваемые системой.

Я видела их всех. Насквозь. Людей системы. Истоющих лесть, проявляющих фальшивое участие, якобы заботливых, называющих себя близкими друзьями (конечно же, он прекрасно знал цену этой близости).

В присутствии так называемых «друзей» мы не касались некоторых тем, причём это никогда не оговаривалось. Достаточно было взгляда. Это была такая игра. Для взрослых. В которую мы, дети, оказались невольно втянутыми. Искусство недомолвок, иносказаний, полутонов. Какой нелепостью казались школьные политинформации после вечерних и ночных посиделок под голос «Немецкой волны» или Би-Би-Си. Негромкий говорок, обаяние человеческой речи, позывные (я помню их и сейчас), возвещающие об иной системе координат.

Подполье папиного кабинета. Запах покрытого лаком паркета, книжной пыли (тогда её было не так много и на неё не было аллергии). Заветное место на низком, покрытом грубым паласом топчане.

— А не выпить ли нам чаю? — Этого сигнала я ждала и стремглав неслась на кухню. Хрупкие (и в то же время устойчивые) кремовые пиалы с тончайшим японским узором, резкий аромат чайных листьев, охваченных кипятком. Момент истинного дзена, спасение от внешнего хаоса. Привычная кухонная суэта, тонкий свист закипающего чайника, папины шаги в коридоре.

Наш мир, наша крепость, в которой не было места чужому. Чужой непременно бы нарушил геометрию интимного пространства, порядок действий, причинно-следственную связь слов и пауз между ними.

Только я, папа и Би-Би-Си. Пулемётная очередь и стрёкот пишущей машинки. Сложенные стопками «Наука и жизнь», «Литературка» (я ждала её каждую среду), «Литературная Армения». Иллюстрации, которые прилежно (и тем не менее криво) вырезала. Бежбеук-Меликян, Сарьян, Минас Аветисян, Жансем. Счастливое время! Сложности взросления ещё не отягощали меня. Долгота и широта зимних вечеров, в которых не было места бессмыслице плоского мира.

## ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО

Когда-то здесь стоял топчан. Застеленный стареньким, выгоревшим на солнце текинским ковром, который попал к нам из дальних жизней. Я помню его висящим на стене, лежащим на полу, на нём я училась ползать, играть, стоять, запускать юлу, листать толстую поваренную книгу с цветными вклейками.

Ковров было несколько.

В нашем доме это не было предметом мещанской привязанности к антиквариату или роскоши (если старинные ковры ручной работы считать таковыми).

Это были наши стены, наши шкуры, наша мебель и даже, если хотите, амулет. Надёжная защита от вторжения внешнего (чаще недружественного). Самый маленький из ковров по праву считался моим (как в сказке про Машу и медведя).

Прообраз далёких жизней, он был гораздо ближе реалий окружающего мира. Пылающие чернобривцы в палисаднике, выкрашенный зелёной краской забор, стены цвета синьки, цветные половички у соседской двери. «Валя, ты чуеш? Ты мэнэ чуеш, Валя?»

Густо налепленные, будто наскоро собранные из конструктора дома, пугающая множественность номеров, предполагающая унылое торжество бесконечности.

Трамвайная линия, петляющая между домами, упиралась в кинотеатр, помпезно инкрустированный разноцветной мозаикой. Всюду пугающе монументальные, не оставляющие пространства для воображения символы. Серп и молот, навеки спаянные между собой, точно пресловутый двадцать пятый кадр, тут и там — скромный бюстик великого кормчего и над всем этим — хулигански-яркая афиша только вышедшего на экраны «Лимонадного Джо». И мы с папой, идущие по скверу в предвкушении киносеанса, и птичья девчоночья болтовня, сопровождаемая снисходительным взрослым вниманием.

Как ярко помнится горячая моя ладонь в его руке, танцующие вприпуск ноги по бровке и блёкло-синий билетик, будто пропуск в счастливые полтора часа жизни.

И брызги света потом, уже после, — глаза, будто ослепшие на мгновение, свыкаются с обыденностью, совсем не ужасной, напротив, окутывающей уютом догорающего летнего дня, клонящимися верхушками тополей и чувством бесконечной свободы, какая только в детстве бывает, наверное. Пока идём вдоль киосков, гастронома, я делаю выпады, верещу не своим голосом, по сценарию я главный герой, я атакую, мне всё нипочём, я индеец, я вождь, я непобедима.

Папа, конечно, тихонько посмеивается, да нет, он откровенно смеётся. Неужели надо мной? А ведь я столь достоверна и убедительна.

Жизнь создаёт смыслы, воссоздаёт их с маниакальным упорством, начинается легендами.

Вот и зацвёл палисадник. Великая пустота обрела какой-никакой смысл. Торжество бесконечности больше не угнетает.

*Я видел блеск великих городов, я слышал шорох великих событий.*

Куда-то исчезли старые шкуры, оберегающие от вторжения чужих.

Нет ковра большого и ковра маленького, но след от узора помнит ладонь.

И завязь дикого винограда, и скромное обаяние чернобривцев, и выкрашенный дешёвой масляной краской забор... И чьи-то голоса из

таинства чужих жизней. Их явность, напевность, чуждость, интимность. «Валя, ты чуешь? Ты мэнэ чуешь, Валя?»

Всё это стало легендой, посланием из несуществующих, таких далёких и близких миров.

## В ТЕНИ СКЛОНЁННЫХ ИВ

Над городом взошло африканское солнце. Дух пустынь и саванн воцарился в наших краях, и похоже, чтобы увидеть голого человека, никому из нас не придётся прибегать к помощи, допустим, подзорной трубы.

Не то чтобы я настолько против голых, но всякому обществу я предпочту общество одетых, по крайней мере не только в нижнее бельё. Я так и вижу (в каждом окне) вяло передвигающиеся человеческие силуэты, и всё это, увы, ассоциируется даже не с борделем (бордель — это некоторая динамика, образы, судьбы, порок, в конце концов). Порок — не самое ужасное из того, что мы можем случайно увидеть. Гораздо печальней вид жующего котлеты голого мужчины в носках из вискозы. Вот он задумчиво стоит у плиты, вот открывает холодильник, а вот и она, таинственная незнакомка из окна напротив — привет житомирской текстильной фабрике, — нет, эросом здесь не дышит решительно ничего, — она, повернувшись спиной, помешивает что-то в кастрюле, он, точно пребывающая в беспамятстве сомнамбула, курсирует между кухней и комнатой.

Вы думаете, я всё же пользуюсь подзорной трубой? Признаюсь, имелась у меня такая слабость в далёком прошлом, ведь я была мечтательной отроковицей, и надеялась постичь тайны далёких галактик, и даже прочла от корки до корки толстенный том Воронцова-Вельяминова. Родители, воодушевлённые моими интеллектуальными запросами, поднатужившись, осчастливили меня подзорной трубой. Конечно, я мечтала о телескопе, но на телескоп, видимо, им всё же не хватило —

жили мы более чем скромно, и ещё эти уроки музыки стоили недёшево, и рассрочка за немецкий концертный инструмент, — в общем, пришлось довольствоваться подзорной трубой, которая увеличивала, если мне не изменяет память, всего в двенадцать раз, и потому свет далёких галактик оставался по-прежнему безнадёжно далёким, — нет, я с превеликой важностью (с нетерпением дождавшись темноты) наводила фокус на звёзды — о, в те времена ещё были звёзды, довольно крупные, яркие, мохнатые, — мне нравилось воображать себя первой женщиной-астрономом, в космонавты я явно не годилась с моим вестибулярным аппаратом (один вид трамвая, маятника и качелей вызывал неконтролируемые желудочные спазмы), — итак, я видела (или же думала, что вижу) Большую и Малую Медведицу, созвездие Ориона и Тельца, но вскоре мне это несколько наскучило, я не продвигалась в своих научных изысканиях ни на йоту, и ситуацию исправил гостивший у нас тем летом кузен — тощий носатый армянский мальчик лет тринадцати-четырнадцати. Павел был точной копией рыжего Варлаама из «Не горюй».

Балда, не туда смотришь, — приставив к глазу волшебную трубу, он замер, уставившись в одну точку. Всё самое интересное, оказывается, происходило на расстоянии вытянутой руки: мечтательные девушки в сиреневых лифчиках, распаренные зноем, похожие на медуз домохозяйки, сутулые мужчины в растянутых майках и бесформенных трусах — одним словом, перед глазами разворачивалась довольно обескураживающая картина бытия (Авраам родил Ицхака и далее), повергшая в печальные раздумья относительно некоторых перспектив. Бедное, бедное, обречённое на каторгу совместного проживания в недрах со вмещённых удобств человечество...

Несколько позже (десятилетия спустя) я окажусь в капелле Скровеньи, перед фресками Джотто, и ещё и ещё раз восславлю зоркий, но всё-таки бесконечно вдохновляющий взгляд художника, умеющего обращать обычную водопроводную воду в вино и другие напитки. Великая сила искусства и любви! (Для меня это равнозначные величины.)

Мой интерес к астрономии довольно быстро угас, и точно не скажу, что этому способствовало — волшебная труба, которую вскоре утащили



(безо всякой надежды на возврат) друзья моего кузена, такие же балбесы, жившие пятью этажами выше (потерю я, конечно, горестно оплакивала), — либо унылая панорама из дома напротив.

Звёзды всё ещё были огромными, но, похоже, никто из живущих вокруг давно на них не смотрел.

## КОРОТКИЕ ВОЛНЫ

Когда-то всё самое важное происходило на кухне с потрескивающим приёмником в углу.

Вот это потрескивание было приметой времени. Потрескивание и голоса, которые сквозь него пробивались. «Их» глушилки работали хорошо, но и мы обладали терпением и сноровкой.

Приёмник переносился из угла в угол — в поисках свободного от «их» влияния пространства. Кроме того, уследить за всеми «они» не успевали. Мы прыгали с волны на волну, мы путали следы, и если «Голос Америки» утонул в космическом скрежете и вое, то «Немецкая волна» звучала на удивление чисто.

Там, в приёмнике моего детства, происходила своя, не похожая ни на что жизнь.

Там были другие голоса, интонации — так непохожие на голоса, допустим, соседей или учителей школы.

Там был другой фон. Их паузы заполнены были... другим воздухом, что ли.

Мне повезло. Мне перепало этого воздуха. Я дышала им дома, на кухне или в кабинете — о, сколько нерешённых задач по геометрии или физике оставалось там, за стеной...

Главное было — голоса. Позывные из другого мира. Это было настоящее.

— Ты там лишнего не болтай, — уж будьте уверены: я точно знала — что, кому, когда...

О, как мы молчали! Как мы молчали когда-то — глядя в глаза чужим, мы овладели искусством виртуозного молчания.

Дети с лёгкостью усваивают правила игры. Можно сказать, они играют на равных со взрослыми. Как я молчала «через стол»! Моё молчание было красноречивей любых действий.

Если долго не отводить взгляд, враг потеряется, он просто провалится, не выдержав энергии неприятия.

Дай чужому выговориться — пусть, обманутый молчанием, он скажет всё и даже больше. Пускай, захваченный врасплох, он станет протодушно-болтлив. Нам и не нужно было говорить — достаточно было короткого взгляда, предупреждающего об опасности.

Наверное, оттуда, из сумрачных времён коротковолновых приёмников, осталось это дьявольское наитие. Я чётко знала, что из десятирých сидящих за столом один — непременно чужой.

Я знала их в лицо, да что там... После чужих мы долго проветривали квартиру. Казалось, их пребывание оставляло липкие следы. Да что же это, — стонала мама, распахивая балконную дверь. Гнусная субстанция цеплялась за выступы и углы. Она не желала покидать обжитое пространство.

\* \* \*

Сегодня правила игры изменились. Эзопов язык со всеми его фантастическими возможностями канул в Лету. В прошлом осталось виртуозное искусство недомолвок.

В доме моём не бывает чужих. Не нужно оттачивать клинок, «смотреть через стол», задерживая дыхание. Топчан, застеленный ковром, полки, книги, магнитофонные ленты — всё давно в прошлом.

Где-то там шипит и воет приёмник, стрекочет пишущая машинка. Кухня пахнет едой, кабинет — книжной пылью. Но где-то там, на волнах моего детства, ещё слышны голоса.

## ТЕЛЕФОН

**И** потом, знаешь ли, телефонов не было.

То есть они были, конечно же, — у других, на каких-то более благополучных этажах, — и бог ты мой, каким же чудом и благом казались повисшие в изнеможении трубки, — телефона ждали как Мессии. — «Вот проведут телефон», — мечтательно произносили они, воображая феечески доступную лёгкость соединения, контакта.

У них было всё, ну или почти всё. Допустим, начало жизни — по странному совпадению проистекающее вровень с чьим-то закатом.

Закат прекрасно просматривался с чужих балконов — с нашего наблюдалась весёлая и беспорядочная кутерьма, затрапезная изнанка улицы: бархатные чернобривцы вперемежку с полыхающими подсолнухами, сверкающие спицы новёхоньких велосипедов — ещё одна мечта, так и оставшаяся мечтой, впрочем, — вышагивающие вдоль клумб девицы в мини, на десятисантиметровой платформе (когда-нибудь, когда-нибудь), молчаливое пока ещё осуждение в подштопанных губах поколения уходящего. Уютное тепло — а там было действительно тепло, даже зимой, — старого двора.

Уход казался (тогда ещё казался) противоречием, ошибкой, недоумением, которое разрешается каким-нибудь необыкновенным, но быстродействующим способом.

Пока что у них было всё.

Например, возможность оставаться в неведении относительно того, что будет дальше. Ведь телефона не было. Но вести, однако же, просачивались в виде голосов — со свистящими, пугающими интонациями. Выражение непритворного ужаса и повисшая (в лестничном пролёте) пауза свидетельствовали о том, что новостям, особенно дурным, присуще безудержное распространение, — ведь люди, если верить последним исследованиям, и есть лучшие приёмники и передатчики.

И всё же телефона ждали.

Когда у нас будет телефон — и вновь пауза, подразумевающая торжественность события, которое вот-вот, уже почти, уже более чем, но всё ещё не свершится, — и множество иных событий, связанных с леденящей посреди ночи трелью, с колотящимся где-то у горла сердцем, — о господи, только не это, — и множество всего, что случится после, в другой, телефонной (а значит, более благополучной) жизни, остаётся за кадром.

С какой важностью снималась первая в жизни трубка (её тяжесть, блеск, цвет — всё казалось значительным), — и эта весомость всякого поступающего сквозь мембраны слова, и искажённый голос, к которому привыкаешь не сразу, и другие голоса — случайные и нет, которых ожидаешь с холодеющими ладонями, — а что вы скажете о длинных зимних вечерах с урчащей на коленях кошкой (собакой) подле молчащего агрегата, уже облежённому — вместо диска кнопки, — впоследствии обнаружится ненадёжность всего подозрительно лёгкого, нового, простого — электроника, что вы хотите, — разве можно сравнить чугунное прошлое с электронным, сиюминутным, — сиюминутное овладевает бытием и, что вполне естественно, сознанием, и вот слова, уже не подобранные, не вылепленные с божественным придыханием, сыплются как попало, вызывая приступ скуки, раздражения, гнева, — да возьмите же кто-нибудь трубку, — но домочадцы, погружённые в себя, отнюдь не торопятся вынырнуть оттуда, — звонок стал досадным недоразумением, и то, что раньше было и слыло чудом, внезапно перестало быть таковым.

Кто-нибудь помнит, чем пахло внутри телефонной будки зимой? Этот тяжеловатый, металлический оттиск сотен и тысяч рук, пальцев, губ, смешанный с непременным аммиачным духом и запахом перегара, подтаявшего снега, резины и чьих-то чересчур сладких духов.

Кто-нибудь помнит треск и гудки, звук брошенной трубки? Кто-нибудь помнит монетку? Как правило, последнюю, вот проскальзывает она, проваливается в жёлоб, скатывается и звякает там внутри, и это весьма драматичный момент, во всяком случае в этот вечер, ноябрьский или февральский, неважно, потому что за пределами разогретой отчаяньем будки тёмный, враждебный мир, и только лишняя двушка, — скажите, у вас найдётся лишняя двушка? — и только лишняя, закатившаяся под покладку или случайно обнаруженная на истоптанном полу, — ещё не веря собственным глазам, вы нагибаетесь, удерживая мокрую vareжку в зубах, и вновь вращаете диск, тот самый номер, который, конечно же, вряд ли когда-либо вспомните в веренице других, важных и не очень, — номеров, букв, паролей от ящиков и страниц...

Одно маленькое письмо, одна короткая телеграмма, пустой зал главпочтамта, массивная дверь, шершавая бумага, перо с ворсинками, чернильница, всего несколько слов, которые пишешь и пишешь, комкаешь, швыряешь в корзину и, расправив новенький бланк, выводешь то самое, помнишь? Одно.

\* \* \*

Нам провели телефон — и медленный вдох, и выдох предвкушения, подразумевающий ту самую благую весть, которая иным способом не доберётся, не достигнет, — изматывающие минуты и часы ожидания, нанизанные на тугой шнур, — вы помните первозданную тяжесть его, металлический блеск, космический холод? — он создан был для важного, а не того, что сплёвывается, точно семечковая шелуха.

Для важного, слышите вы? — держась за прутья, стоит она над лестничным пролётом — тем самым, что казался пугающе глубоким, бездонным тогда, в беспроводные, беспечные времена, — и вести, мыча и шелестя, наползая одна на другую, проникают в вентиляционные от-

верстия, в кое-как залатанные щели старого дома, — обваливаются с рассыпавшейся штукатуркой, — от них бегут стремглав, укрываются в дальней комнате без окон — там можно отсидеться, сцепив зубы, пережидая нестерпимый момент проникновения.

Но вот телефонная трель. Настойчивая, вползающая в любой угол, на любой этаж, — она длится и длится, пугая равномерностью сигнала, и что-то подсказывает ей, что это не соседский мальчишка с признанием в вечной любви, и не студенческие проделки школяров, и даже не предвыборная кампания...

На ощупь, в темноте — нашаривает провод — выдёргивает его решительно, чуть ли не с мясом, оглушённая в момент тишины — гораздо более опасной, тревожащей, нежели трели и гудки.

Нам проведут телефон, — скачет она, склонив голову набок, — оттуда, с балкона второго этажа, мир всё ещё кажется забавным, пока на нём, на этом самом этаже, нет телефона, нет ничего, посягающего на время, на блаженство неведения — ни долгих бесед, ни тягостного молчания, ни поздравлений, ни соболезнований, ни долгих, в десятилетия, пауз между тем и другим.

## ДОМ МОЕГО ОТЦА

**В** доме нашем всегда лежали ковры. Азиатчина — скажут одни, мещанство — подумают другие, ну а третьи, не сговариваясь, укажут на очевидный и нескончаемый источник пыли. Да, где ковры, там и пыль, где пыль, там пылесос — это с его гудения начинались приготовления к визиту гостей или к новогодним праздникам. Наш дом — пещера, увешанная шкурами, место, где тепло и безопасно и пахнет настоящей едой, то есть пловом — блюдом, отлично насыщающим и согревающим в зимние дни. Одним небольшим казаном можно было накормить целую дюжину!

Это в нашем доме можно было видеть, как в центре комнаты на полу (то есть на ковре) сидит, скрестив ноги, вполне цивилизованный туркмен

Батыр и ест плов, зачерпывая из блюда ладонью — раз, и пригоршня плова оказывается во рту, и всё это происходит отнюдь не неряшливо, а напротив, исключительно деликатно, артистично даже, — как зачарованные, следили мы за лаконичными движениями изящных рук.

Батыр был дьявольски, непередаваемо красив, и если бы речь шла о восточной сказке, то нашему гостю непременно досталась бы роль любимого сына падишаха; впрочем, почти так оно и было — если падишахом считать первого секретаря ЦК.

Любимые дети падишаха, балованные сыновья, особая каста, белая кость. Именно перед ними легко, без скрипа, открывались все двери. Они оказались совсем непохожими на собственных отцов — не только умело подносили горсточку плова ко рту, но танцевали твист, рок-н-ролл, буги-вуги, легко переходили на английский и обладали манерами по меньшей мере аристократическими.

Да, собственно, они и были аристократами, эти белозубые юноши из другой жизни моего отца — из жизни, отголоски которой доносились до меня с запахом специй, ароматом ашхабадских дынь, ядрышками расколотых орехов, вяжущей мякотью урюка, с полынной горечью чая, с особым движением, которым пиала ставилась на низкий столик у топчана, — я любила это движение и это время — время чая, плова, внезапных гостей, от которых пахло иначе — другой, инопланетной какой-то жизнью и неслыханной свободой пахло от них — от друзей моего папы.

Иногда приходил загадочный Чурюмов — он точно так же, скрестив ноги, садился на ковёр; клянусь, это было похоже на игру, и взрослые играли в неё с явным удовольствием. Одни садились на пол, другие — на топчан, сути это не меняло. Чурюмов был странен — его нельзя было назвать ни красивым, ни даже обаятельным, но что-то неизъяснимо притягательное проступало в худощавом неулыбчивом лице — здравствуйте, девица, как поживаете, девица? Девица смущалась, опускала голову, шаркала тапочком.

Чурюмов занимался... сложно сказать, чем именно он занимался, но, в общем, он был вне социума, вне системы. Он был йог, диссидент и философ.

Пока взрослые вели свои довольно продолжительные беседы под треск глушилок и «голоса» — на кухне восседала моя бабушка. И не просто восседала, а переживала. Она плохо понимала, о чём там вёл речь крамольный (ох, она видела, чуяла!) и странный Чурюмов. Но одно она знала точно — добром это не закончится! Она сидела за кухонным столом, подперев рукой подбородок, выставив в проход уставшие ноги в балетках (были такие балетки — среднее между туфельками и тапочками, очень удобные).

Она сидела за столом и переживала. По поводу обстановки (ни серванта, ни сервиза, только книги, ковры, полки). По поводу худобы и бледности (маминой), отсутствия приличного зимнего пальто (у меня). И ещё: это сколько же можно говорить непонятно о чём, когда дети давно носами клюют, это же надо совесть иметь, и, наконец, главное! — недельные запасы маленькой, но хлебосольной семьи, живущей на одну зарплату, таяли на бабушкиных глазах, и если сын падишаха ел артистично и, что называется, с огоньком, то крамольный йог Чурюмов жевал меланхолично, без особого воодушевления, но... Пережившему лишения всегда чудится угроза надвигающегося голода, однако мне, родившейся в светлое время оттепели, страхи эти казались стариковским чудачеством, и я, делая «страшные глаза», вбегала на кухню за новой порцией сыра или колбасы. «Сидят?» — тревожно интересовалась бабушка. «Сидят!» — беспечно отвечала я и тут же уносилась обратно. Откровения странного Чурюмова были гораздо интересней бабушкиных волнений. Сознаюсь, я немножко ревновала отца к этой другой жизни, в которой ещё не было меня, — я видела, как загораются его глаза и сколько они излучают — беззаботного смеха, иронии, лукавства, даже голос его становился иным, — всё это было оттуда, из того мира, в котором прошло его детство, юность — события, казалось бы, не имеющие никакого отношения ко мне, и тем не менее именно эта долгая и почти случайная последовательность привела к тому, что в этот мир пришла я. Ковры тоже были оттуда. Я засыпала, проводя ладонью по жёсткому ворсу, — самый маленький из ковров был моим, и я, надо сказать, весьма гордилась этим обстоятельством. Это был мой ковёр, мой орна-



мент, моя тысяча и одна ночь — это был волшебный лабиринт двойных узелков и петелек, мир глубоких, жарких оттенков и тонов, — пропуск в другую жизнь моего папы.

Там шуршали пески, небо выгорало до слепящей белизны, сладкие томаты взрывались, полные сока и жара, созревал твёрдый белый виноград, из которого получался самый сладкий в мире изюм, там девочки носили пёстрые атласные платья и длинные тонкие косички, не одну, не две, а гораздо больше.

Огромная круглая луна освещала дворы, в которых лаяли собаки.

Собаки. В ночь с 5 на 6 октября 1948 года одна из них вытащит из-под обломков разрушенного дома девятилетнего мальчика, и этим мальчиком окажется мой папа. Восемьдесят девять процентов населения города погибнет, если верить статистике, — следовательно, в оставшихся одиннадцати окажется семья моего отца. Никто из них серьёзно не пострадает, кроме спасённого собакой мальчика, и едва заметная хромота останется на всю жизнь.

Вы знаете, как пахнет настоящая ашхабадская дыня? Вы знаете, как пахнет настоящая ашхабадская дыня ещё до того, как внесут её в дом, смоят пыль, уложат на блюдо, сделают тонкий янтарный надрез вдоль продолговатого, испещрённого таинственными знаками брюшка?

Я знаю, как пахнет чемодан, в котором дыни перекатываются, шуршат — тяжёлые, шершавые, полные сока и скользких белых косточек. Я помню шум летнего двора, открытое окно, немного прихрамывающего (когда он уставал, это бросалось в глаза) мужчину в светлом плаще и берете, поворот ключа, щелчок замка, от звука которого вздрагиваю и сегодня.

Засыпая, я провожу ладонью по ворсу, угадываю рисунок, вырастающий под пальцами, — вижу, как туго сплетённые нити багровыми полосами проступают, пульсируют, вспыхивают, кровоточат.

Узел, ещё узел. Я помню истории, слышу их голоса. Я вижу дом, задернутые шторы. Кухню, чайник, гостей. Я слышу шорох песков и дыхание другого мира — того, из которого пришёл мой папа.

## КОГДА-НИБУДЬ

Любовь... Любовь. Она — смысл всего. Без неё плохо. С ней — прекрасно, мучительно.

Из-за неё не отходит от зеркала подслеповатая Фая из сорок первой — в сотый раз укладывая волосы корзинкой, домиком, улиткой, пирожком, взбивает пегие кудряшки и долго уютит единственную приличную юбку, поглядывая в окно с задумчивой полуулыбкой, весьма осторожной, впрочем, потому что с прошлой недели Фая «делает зубы».

— Вот сделаю зубы, — повторяет она мечтательно и прикрывает ладонью рот. На бельевой верёвке раскачиваются два бюстгальтера: один — на каждый день, другой, кружевной, немецкий, — «на выход». «Выхода» давно нет и не предвидится, но бюстгальтер висит и напоминает о том сладостном, от которого ёкает и замирает внутри.

— Ах, Селечка, вы же знаете, я умираю без любви, — плачет Фая, уронив голову на скрещённые руки, покрытые веснушками. По столу разбросаны карты — короли и дамы и одинокий валет с кокетливыми усиками.

— Ну-ка, ну-ка, раскинем ещё разочек, — Селя сосредоточенно тасует колоду и хищно заносит над картой ладонь. — Вы что-то скрываете, Фаечка, — восклицает она обрадованно. — Я всё вижу! — карты не врут...

Карты не врут, и сама возможность любви, маленькая призрачная надежда на эту самую возможность таится в захватанных желтоватых уголках, в лукавых бубновых семёрках и лаконичных пиковых тузах.

Любовь. Это ради неё бегают к инженеру Петровскому две немолдые и не очень красивые женщины. Бегают, никогда не пересекаясь, возможно даже не подозревая о существовании друг друга. Торопливо взбегают по ступенькам на пятый этаж, вторая дверь налево, и выходят через пару часов — почти не глядя под ноги, плывут по лестнице со светящимися лицами, будто окутанные едва заметным облачком...

Мужчины. Когда-нибудь один из них возьмёт меня за руку и скажет. Нет, возьмёт за руку и молча притянет... Каким он будет? Высоким? Худым? Похожим на женатого гитариста? Или на инженера Петровского? А может быть, на аспиранта-кубинца по имени Жан-Поль-Мария, который, сверкая белками глаз, пьёт чай за нашим столом? И произносит слова с таким мягким, тягучим акцентом. А пахнет от него чем-то непередаваемо вкусным и экзотическим...

Его африканская шевелюра и моё жгучее любопытство. Волшебные птицы щёлкают клювами, совсем как в одной сказке. В сказке живут дэвы, огромные, неповоротливые, прожорливые существа. Красный, белый и чёрный. Ломая ветви, продираются они сквозь непроходимые заросли на запах нежной пери. Похожие на глиняные горы с крошечными отверстиями незрячих глаз и бездонным кратером рта. Мне жаль их. Я догадываюсь о том, что юные пери не достанутся им, а отважные юноши будут стремительны и безжалостны. От дэвов пахнет пловом, жареным мясом и одиночеством. Объятые тоской, задыхаясь от обжорства, мечутся они по своим замкам, ударяясь о стены глиняными головами.

Когда любишь, совсем неважно, худой он или толстый, женатый или... Он может быть каким угодно. Даже чернокожим лысым инженером.

## ПОЧТИ КИНО

**В**оздух сегодня точь-в-точь как тогда. Молекула к молекуле.

Как будто и я та же. В пальто нараспашку, с наэлектризованными после мытья — чем тогда мыли? Яичным шампунем? Да ну! Неужели яйцом? (Осторожненько желтки отделяем от белков...) Да, со вздыбленной, всегда несносной жёсткой шевелюрой, — мне никогда не удавалось выглядеть хотя бы прилично, в распахнутом (как я уже сказала)

пальто, я жадно заглатывала сырой мартовский воздух, и, господи, главное было — никогда не догадаетесь что — успеть снять рейтузы (до начала дискотеки) и затолкать их куда подальше, а там уже и море по колено. Какие же мы были гадкие утята, ужасно одетые, нелепые, во всей этой убогости, но каким многообещающим был этот самый воздух, какими манящими огни!

Это время (самое загадочное) до начала всего, почти монохром, сплошная графика, ещё земля безвидна и пуста, а нестерпимая жажда (всего! скорее!) подталкивает в спину, придаёт ускорение.

Вы помните? Какие-то придуманные любви, страсти даже, вспыхивающие тут и там. Горькое отчаянье «невозвратности», взрослые беседы под окном.

Почти кино. Мужчина и женщина. Его руки под её пальто, её растрёпанные волосы, запрокинутое лицо, пульсирующая жилка на шее, смех, слёзы, смятение.

Не отрываясь, смотрю на них. Пустая улица. Никого. И этот шёпот, смех, это запретное «руки под». Как я горю. От невозможности, от беспробудности, от этой готовности — вот так же шептать, отталкивать, притягивать, не когда-нибудь (вот вырастешь), а сию минуту, сейчас.

Но увы. На мне прошлогоднее пальто (это заметно по рукавам) и дурацкие рейтузы. На дискотеку я не пойду и весь вечер буду истязать концертное пианино «Фингер».

## ЗАКОН КАРМЫ

Я сплю, а сердце моё бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который стучится: «отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росой, кудри мои — ночью влагою». <...> Заклинаю вас, дочери Иерусалимские: если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви.

*Песнь песней*

**К**арма — это такая дрянь, она находит тебя по месту прописки и вгрызается зубами.

Вы думаете, я уехала из каких-то особенных побуждений, из какого-то особенного чувства патриотизма — дудки, — я уехала, чтобы эта чёртова карма не настигла меня.

Он был на Маккартни похож, и чёлка, и бледность, — как он умудрился оказаться в моём сне, причём вначале это был вовсе не он, а другой, с которым у меня совсем иного рода отношения, такая скорее нежность, грустная, детская, терпкая нежность, это когда одиночество, весна, запахи всякие плавают в воздухе, а у тебя что-то где-то тянется, будто по инерции, но на самом деле вот в этот конкретный весенний день ты один, одна то есть, и тут происходит, ну, такое вот удивлённое узнавание — а, это ты? так вот ты каков, оказывается, и весна — это здорово, потому что впереди лето, его ощущаешь издалека, исподволь. В далёких южных широтах я отвыкла от летнего предвкушения, а тут — весна вламывается, бесцеремонная, наглая, безвитамина, причиняя массу неудобств, обещающая, маня, а впереди лето, искусы, пресловутое вино из одуванчиков.

Была такая уютная бубличная в центре — там продавали горячие хрустящие бублики и горячее же молоко — можно было пережить холо-

да, а потом вновь бегать по улицам и забираться в подъезды, просторные пустынные подъезды с широкими подоконниками.

Я полюбила его за предвкушение, полюбила его за предвкушение, за головокружение я полюбила его — ведь только сейчас я начинаю понимать, что лучшим в моей жизни было предвкушение, канун.

Это случилось, кажется, в июле. Лето выдалось жарким, и гроззовые разряды в воздухе, и птицы сохнут от жары, а у меня томление, как в семнадцать, душное такое томление — оно настагает, как и его рука, лежащая на моём колене.

Он был иной, другой человеческой породы. Такой немного заикающийся и робкий, он хватал меня за локоть и исследовал каждый сустав, запястье, ноготок. Вдохновенно повествуя о Малере, скажем, он хватал меня за лодыжку и, посмеиваясь, прохаживался ладонью по голени, круговыми движениями ласкал коленную чашечку. Это было похоже на аккорд, который тщится разродиться от бремени, но не тут-то было, — задыхаясь, я просила воды, но шлюзы были перекрыты, каналы обезвожены, провода перерезаны. У самого дома срывающимся голосом он требовал отсрочки. Он хватался за сердце, или за голову, или за то и другое, я же стремглав бежала, оставаясь наедине с моим предвкушением, с моей увертюрой, которой не суждено было разрешиться основательной терцией, фундаментом, основой всего сущего.

Это была большая серия. Я писала фемин, выплеснутых на берег бесконечным ожиданием, волной приливов. Я рисовала искушение, томление, иссушение, умерщвление плоти. Я пожирала холсты, картон, я изводила тонны краски и вновь бросалась на амбразуру.

Так родилась серия фрустрирующих женщин.

— Подожди, не сегодня, — он улыбался слабой, блуждающей улыбкой, и мы шли на концерт, ведь музыка — его стихия. Я любовалась бледным профилем и узкой кистью, будто выточенной из слоновьей кости, — она подрагивала в такт музыке, и колено моё подрагивало в сантиметре от его бедра, — взявшись за руки, мы бродили по улицам, и всё было как я люблю, как это происходит в фильмах, — вечерняя

прохлада, кофейные столики, цыганская девочка, протягивающая трогательный букетик фиалок через бордюр, и другие цыганские дети, ужасно назойливые, — одна схватила пирожное с его тарелки и съела, нагло шаря по столу блестящими глазами. Мы смеялись и касались друг друга лбами, носами, губами — предвкушение парило в воздухе, точно грозовой разряд. И вот этой ночью, в моём сне, мы оба оказались за моим домом — и, о боги, это почти произошло, но тут из подъезда кто-то вышел, всё будто в плохом водевиле, ну, не по-настоящему, а во сне, как я уже сказала, я схватила его за руку и шепнула: бежим туда, за гаражи, — и во сне гаражи оказались совсем не такими ужасными и не пахло окаменевшей мочой. Мы бежали, взявшись за руки, и тут я поняла, не помню, в какой именно момент, но я поняла, что крепко держу за руку уже не его, а того, первого, и ещё — что своим упрямством они ужасно похожи, и я прижимаюсь к нему и смотрю снизу вверх — он был высоким, мой первый, и похож на Маккартни, — а ведь ты узнал меня, — конечно, — улыбается он, и мы бежим дальше. Я лечу, юная и счастливая, как щенок, пока толпа не разъединяет нас, и я выпускаю его руку и оказываюсь на незнакомой улице, окружённая красными лицами и пивными ларьками. Идёт конкретное народное гулянье, типичный праздник жизни, на котором я, как водится, чужая. И то, что я ощущаю, это счастье, оно искрится, разноцветной мозаикой, переливается через край, и я бегу по следу, почти по запаху. Я очень остро ощущаю запахи. И запах его одеколона, которым он прочищал головку магнитофона много лет назад, на одной из этих улиц, в одном из этих домов, а потом мы целовались, это длилось почти год, это томление, это свечение, и долго ещё в метро я вытягивала шею, пытаюсь уловить в сложном венке запахов аромат одеколона «Весна».

А потом всё кончилось, и одеколон «Весна» исчез. Совсем. Появились другие запахи, более сложные, насыщенные, искусные, утончённые. В них было больше оттенков, тонов, и счастье тоже было — томная терпкость корицы, сияние цитруса, горечь хвои и вязкость древесной коры. Я кружила по городу, а она кружила за мной. Эта самая карма. Она настигала, я ускользала.

В моей новой жизни это была первая ощутимая потеря. По-другому пахла пища, земля, пот, другим был запах желания. Там торжествовали совсем иные законы.

И всё, что касалось предвкушения, носило совсем иной оттенок и вкус. Несколько раз оно настигало меня, и я послушно шла. Наверное, это и было смыслом моей жизни. Стоило уехать, прожить целую жизнь, чтобы в один прекрасный день вновь очутиться неподалёку от своего дома, почти у самого подъезда, и, поглядывая на светящиеся окна, задышаться в объятиях, чуткими ноздрями втягивая запах табака, кожи, чужого дыхания, а после, выдыхая морозный воздух, мчаться по лестнице сломя голову, будто и не было этих пятнадцати лет, мучительно вспоминать запах одеколна, выпуск которого прекратился в последней декаде прошлого века.

## ЗА ДВА ЧАСА ДО НОВОГО ГОДА

Явственно пахнет снегом, первым снежком. Мандарины продают, ёлочные игрушки. Ощущение грядущего праздника в воздухе. Всюду снуют молодые люди с пивом — явно возбуждённые, будто предчувствуя вихрь перемен. Превозмогая холод, прошлась по мосту, издали полюбовалась светящимися огнями метрополитена, вспомнила, как бежала по этому же самому мосту в канун Нового года — бежала, хватая ртом морозный воздух, торопилась и волновалась, поглядывая на будильник (часов не было, я их потеряла, зато в последний момент успела сунуть в карман будильник, и он предательски тикал в метро).

Я летела как на пожар, уворачиваясь от машин, шарахаясь от слепящих фар, а в воздухе пахло шампанским, мандаринами и ещё чем-то, чему названия нет, и дико волновалась, потому как впервые решила отметить этот праздник не за домашним столом, в окружении любящих родителей, — правда, они об этом ещё не знали, а узнают только утром следующего дня, утром или даже днём, — ведь мобильных телефонов в



ту пору не было — да что там мобильных, у меня и домашнего не было. Новогодняя ночь со всем её волшебством осталась позади, и наступило январское отрезвление. Я подталкивала в спину мальчика, справедливо полагая, что первая затрещина достанется ему, а не мне, бессердечной, чёрствой девице.

Обошлось без затрещин, — я всё-таки гениальный стратег, — дома были гости и всё сошло под шумок всеобщего воодушевления напополам с волнением, — помню, как таял снег на лице и как сушились варежки на батарее, — помните запахи мокрой шерсти, снега, влюблённости, праздника, чувства вины и одновременно счастья, — в ту ночь мы пили шампанское, глядя друг другу в глаза, и бог свидетель — ничего больше не было и быть не могло, — разве что когда его мама внесла раскладушку, а сама закрыла дверь с другой стороны, а друзья, понимающе улыбаясь, заторопились куда-то и мы остались одни — но и тогда ничего не было, — ничего такого, о чём я могла бы рассказать маме или ещё кому-нибудь, — я шла по мосту в лёгкой шубке, из которой уже несколько выросла, — лёгкая импортная шубка на искусственном меху — моя гордость с девятого класса, — я отчаянно мёрзла в ней, но ни за что не соглашалась променять на добротное пальто — о чём сокрушалась бабушка: у ребёнка нет пальто, — качала головой она, сидя на кухне, — у ребёнка нет пальто, — повторяла она, как мантру, как заклинание, и добавляла ещё что-то, несколько слов на другом языке — и вот в них-то и была вся соль, всё её босоное детство, и юность, и эвакуация, и всё, что было потом, и тут на тебе — ребёнок вырос, — не сглазить бы, — у ребёнка есть мальчик, а пальто, приличного тёплого пальто с каким-нибудь бровевым воротником — так-таки нет.

Так причитала моя бабушка, восседая на трёхногой табуретке на кухне, — кухня, если хотите знать, это вообще главное место в доме — все основные вопросы испокон века решались за прокручиванием фарша для налистников, или за шинкованием кислой капусты, или за поеданием либо приготовлением плова: за нарезанием моркови соломкой, промыванием риса — в лучшие времена — ханского, удлинённого, полупрозрачного, а иногда — круглого, попроще.

Так вот, она уже молчала, боясь моего гнева, но глаза её были выразительней любых слов и междометий, которые когда-никогда, а всё ж вырывались из её волнующейся груди.

Я очень любила бабушку, но и шубку я любила — потому как шубка моя была абсолютно антисоветским явлением: это была заграничная шубка — правда, из дружественной нам социалистической республики, но всё-таки не советской, и покрой у неё был не наш, не кондовый и не посконный, а очень кокетливый, весёлый, с такими шершавыми замшевыми вставочками по бокам и плюшевым уютным воротником, — посмотри на себя, на кого ты похожа с сизым носом и без шапки (это уже мамина партия), — а похожа я была на человека, который способен умереть, но не оказаться посмешищем — а стало быть, готовым отстоять свои пусть грошовые, примитивные, но интересы — под угрозой менингита, — да-да, — посмотрела бы я на вас после стольких историй о людях, которые не носили головной убор, — истории были мамыны, а бабушка только вздыхала и провожала меня взглядом — наверняка вспоминая собственную бесшабашную юность, — а бабушка моя была, как говорится, отчаянная, без царя в голове, — так вот, она вздыхала, провожая подол моей куцей шубейки выразительным взглядом, — о, вы не знаете взгляда моей бабушки! — немое кино, Вера Холодная, — а я летела вперёд, на свой праздник, снежинки таяли на губах, до того они горячи были, — снежинки таяли на губах, пахло мандаринами, шампанским, а в кармане тикал будильник, я вынимала его время от времени из кармана и протирала мокрой варежкой, — это было то самое время, тот самый час, исполненный неизвестности и предвкушения, — самые короткие и упоительные минуты, — вот на этом самом мосту, за два часа до нового года.

## ПАТРИА ЛИБРЕ

**М**ы проиграли, ребята!

Мы проиграли. Революция свершилась! Всё смешалось — усталые барбудос, казнённый Че, отрубленные руки Виктора Хара, переполненный стадион в Сантьяго — свободу Корвалану! — мы не знаем, кто он, но это, безусловно, хороший, достойный человек, а тут и никарагуанские повстанцы подоспели, сверкая глазищами из-под повязок,— вот она, красная, краснее не бывает, кровь, вот пламенное сердце революции, эль пуэбло унидо, смуглые девушки в мини-юбках, маленький чилиец-марксист, впрочем, других мы и не видели, — дети Фиделя, внуки Фиделя, братья Фиделя, а вот и сам Фидель машет с плаката, неистовый Фидель, добрый Фидель, мудрый Фидель, — полковнику никто не пишет, полковнику никто не пишет, потому что любовь во время чумы продолжается, и пролетарии всех стран объединяются в мыслимых и немислимых позах, порождая новую общность, новую расу, первых свободных людей Вселенной.

В советских роддомах, где же ещё взяться им, краснокожим, курчавым, негроидным, всяким, — в советских роддомах с убогими зелёными стенами, старыми гинекологическими креслами с разодранной обшивкой, — упираясь ступнями в железные распорки, подобные причудливому пыточному механизму, выталкивают из себя цепкое семя бледнокожие дочери чужого рода, далёкого племени, — выталкивают из недр своих почти инопланетян с нездешними глазами, с синеватой бархатной кожей, с махровыми обезьяньими пяточками, такими нежными на ощупь, будто влажные лепестки роз.

Хорхе, Чучо, Хавьер, Мигель, дружище, амиго, венсеремос, патриа либре, — помнишь ли ты общежития КПИ или дискотеку «У Пепе»?

Помнишь ли ты отважную русскую девушку (Катю, Наташу, Люсю), коварными манёврами отвлекающую недремлющую и неподкупную вахтёршу, и другую, не менее отважную девушку, свернувшуюся калачи-

ком в огромном чемодане Вальдеса, — любовь в чужом городе требует жертв, — любовь, о любовь, истинная любовь требует риска, — честь и слава гуттаперчевым русским девушкам, которые, подобно цирковым артисткам, эквилибристкам и акробаткам, выпархивают из внутренностей сакvojа на девятом, десятом и двенадцатом этажах — оле хоп! — прямо в объятия, в жаркие, заметьте, объятия горячих латинских парней.

Помнишь ли ты зиму, Воздухофлотский проспект, ветер, снег, себя, идущего без шапки, в легкомысленном свитере и цветастом шарфе, — ай, ми амор, нет, так, — ай, миамор, миаморсито, — как страшно и как увлекательно быть чужим в этом странном холодном городе, среди этих «болос», этих русских, таких спонтанных, таких непредсказуемых, темпераментных и флегматичных, таких дружественных и таких опасных, — ай, миамор, помнишь ли ты подворотни с условными фонарями, потому что ни одна зараза не освещает твой путь, и ты на ощупь пробираешься по обледеневшим ступенькам — ещё чуть-чуть, и за змейкой мусоропровода распахнётся обитая рваным дерматином дверь.

Помнишь ли ты «борсч», водку, шерстяные колготы, помнишь ли ты утерянный паспорт? С этого, собственно, все началось. Есть паспорт, есть человек, нет паспорта, поди докажи, что зовут тебя Хорхе, Зое, Габриэль, Энрике, Хесус, — есть только растущая как на дрожжах щетина, раздражающий грудь кашель — тут помогает козий жир, и улыбка от уха до уха, и что ещё, миамор, — да, только она, любовь, которая жарче любой печки и одеяла.

Вожди мирового пролетариата на облупленной стене, чужие девочки, смело отхлёбывающие из грязных стаканов, запах свинины, лаврового листа, душистого перца и жареной чёрной фасоли — *frijoles colados*, — дух родины и дух свободы витает на общей кухне двенадцатого этажа.

И эти необыкновенные, читающие Лорку в оригинале, бегло говорящие по-испански, нет, думающие, живущие, танцующие — удивительные девушки, готовые приютить, оправдать, защитить, прикрыть грудь, наконец...

Мама Лола, огромная, с папильотками в разметавшихся волосах, восседающая, нет, утопающая в глубоком кресле в самом центре города, — разве не настоящей матерью стала она тебе, друг Хесус? Матерью, любовницей, женой, разве не согревала она тебя своим щедрым телом, да, перезревшим, да, совершенно монументальных форм, но разве не головокружительным, не страстным, дьос мио, разве не испепеляющим дотла, не прожигающим насквозь, не...

И маленький мальчик Алёша, уже никто не вспомнит чей сын, общий, общий сын, — мамы Лолы и всей кубинской революции, кубинской, сандинистской, любой, — в сползающих с оттопыренного пупка трусах, носится он по комнатам, льнёт ко всем, обхватывает тёмными ручками, лепечет на новоязе, вставляет терпкие словечки, от которых заливаются краской бородатые пятикурсники и даже один аспирант, то ли боливиец, то ли перуанец, наведывающийся к маме Лоле по старой дружбе и доброй памяти.

И очереди, очереди, за рахитичными куриными тушками, нечистыми синеватыми яйцами, за сахаром, колбасой, кусочком масла и сыра, кусочком масла и белого хлеба, кусочком хлеба и чашкой кофе — да, помнишь ли ты бурый кофейный напиток и добрую Валечку, сметающую крошки с поверхности пластикового стола? Добрую Валечку в грязноватом фартуке и ярком, слишком ярком утреннем макияже.

Помнишь ли ты это удивительное ощущение единения, братского плеча — там, за бугристыми, иступлённо отвоёвывающими место под солнцем взмокшими тётками — чудо чудное, девочка в меховой шапке-ушанке улыбается тебе сквозь заснеженные ресницы — девочка любит Лорку и Маркеса, это не подлежит сомнению, — мне яйца, десяток и ещё десяток, пожалуйста, — и этот взгляд из-под мокрых ресниц, и жёсткий толчок в ребро от жабоподобной мегеры в сбившемся на сторону пуховом платке.

...Verte desnuda es recordar la tierra.

La tierra lisa, limpia de caballos...

Federico Garcia Lorca

## ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ

Если исчислять счастье в сахарных крупицах...

Когда страну накрыла Великая сахарная депрессия, мне было не до того. Человеку, живущему в предчувствии вселенской любви, вообще не до народных волнений.

Интересно, каким выглядел город с высоты птичьего полёта? Бесконечные очереди — от Подола до Воскресенки, с Крецатика до Никольской слободы.

Если вы встречали знакомого, то в одном можно было не сомневаться — он шёл за сахаром. Все говорили о сахаре, исключительно о нём. И всё же, всё же...

Никогда так не мечталось, как в эти убогие дни. Тоска по сладкому струилась по тёмным улицам, хлюпала под ногами.

Это была страстная, горькая, полная надежд весна. Накрывшись одеялом, мы слушали «Аквариум», «Чикаго», «Женщину в красном». Мы пили дешёвые вина и закусывали холодным горошком из банки. Вспоротая впопыхах, она напоминала разодранную акулю пасть.

— Рок-н-ролл жив! — её знали на Политехнической, на Университетской, — господи, — её знал кожно-венерологический диспансер на Большой Васильковской и на Саксаганского, — кто не знал Наташку-выпь из Политеха, тот не видел ничего, — таски! таски! (от слова «тащусь») — вопила она, воздевая два растопыренных коротких пальца, — пухлая, горячая, мягкая, с горящими, никогда не унывающими глазами, она была сладка, как южная ночь в Кентукки.

Сладка и безотказна, — любой подтвердит, — ах, где вы — дети разных народов, кочующие племена, — дети Исмаила и Юсуфа, — вспоминаете ли вы о маленькой, охочей до сладкого Наташке?

Сахарный песок был в цене. Излишки его огромными глыбами томились в неизвестных товарняках, на безымянных станциях, — таяли под хмурым мартовским небом, оставляли липкие потёки на снегу.

Кому-то всё это было нужно.

— Рок-н-ролл жив! — в последний раз взлохмаченная шевелюра мелькнула в распахнутом окошке третьего этажа, — с зажатым в ладони сникерсом она улыбалась в проёме окна — совсем как-то по-детски, — ничего порочного не было в её улыбке, обнажающей чуть скошенные передние зубы, — ветер перемен смыл даже память о ней, отчаянной девчонке из какой-нибудь смешной Коноплянки или Бердичева.

Пока сахарные магнаты подсчитывали барыши, страна томилась в предчувствиях.

Предчувствие весны, я вам скажу, ничуть не меньше, чем сама весна, и предчувствие перемен на подступах к счастью — не было ли оно тем самым, возжеленным, строго по пачке в руки, — женщина, больше не занимать, — я вон за той дамой в махровом берете.

## ЖАЖДА

— Опять эта, арабка, и ходит, и ходит, будто ей мёдом намазано.

Головы на вытянутых шеях все как одна клонятся, разворачиваются в её сторону. Лёгкий шелест — ни ветерка даже, а так, дуновения, сквознячка — оттуда, из дальних времён, из окраинных, исподних жизней, набитых, будто гороховые стручки, десятками, сотнями судеб, событий, следствий и причин.

И там, в тёмных гулких шкафах, за надёжными дверьми и засовами, таятся стопки ненадёванного, неизжитого, чьи-то сложенные вчетверо квитанции, справки, удостоверения с фиолетовыми оттисками на них.

— И ходит и ходит, стрекочет и стрекочет, глаза, глянь, шальные, пьяные, будто под гипнозом.

— Так гипноз и есть, самый что ни на есть гипноз. Глянь, как бежит, будто на верёвке кто тянет. Эх, добегается девчонка, допрыгается — сколько уж таких бегало...

И всё мимо.

Сколько себя помнила, всегда задыхалась. Чёрт его знает, воздуху, что ли, не хватало. Что-то огромное распирало грудь, рвалось наружу. Названия этому не было. Не было определения. Ну да, определения, они ведь снаружи даются, другими.

У этих, на лавочках, своё. В поле их зрения она, бегущая от трамвайной остановки (невидимая им часть пути — сам, собственно, трамвай, идущий издалека...).

В поле их зрения только она, идущая торопливо по бетонной пролегающей между пятиэтажками дорожке, — ничего до, ничего после.

Бежит опять. Чужая, не наша. Точно арабка, брови чо-орныи, глазищами сверкает — сверк-сверк.

Последнее ударяет в спину, исчезающую в подъезде. На минуту оказавшись в поле её рассеянного взгляда, силуэты (вместе с лавочками) уходят со сцены. Вместе с догорающим августовским светилом. Это сейчас она провожает его глазами, это угасание дня, нежится в его лучах, предчувствуя долгую, полную лишений зиму. Тогда — ну светит, да, солнце. Ну солнце. Его ещё много будет, солнца этого. До отвращения. Непереносимого, обесцвечивающего, обесценивающего всё.

Ну да, лифт не работает. Ерунда. Сколько там бежать. Всего пять пролётов, мимо смердящих мусоросборников, вдоль тускло-зелёных стен. Сейчас в поле зрения — босоножки, припорошенные пылью пальцы ног, круглые загорелые колени, точно поршни, — вверх-вниз — и куда, собственно, торопиться ей, когда всё заключено внутри её тела — стремительного, ясно очерченного, со всей его жаждой, тоской, энергией.

Но она, тем не менее, торопится. Потом, уже издалека, будто в линзах театрального бинокля, она увидит эту часть собственной жизни — и часть эта окажется столь короткой, столь ничтожной, если говорить о протяжённости её.

Каких-то несколько встреч. Куда больше (по времени) занимает дорога на трамвае, подхлестывающее нетерпение, — ну сколько можно трястись в этом убогом тарантасе, когда жизнь несётся столь стреми-



тельно, столь жадно, — когда ток её крови толкает вперёд, подчиняясь вполне объяснимым (с тривиальной точки зрения) законам. Но ведь на самом деле удивительным — лунным, космическим. Будто стрела, выпущенная в цель, — она летит, обходя и преодолевая препятствия, всё и вся ради этой самой цели.

Неважно, что позже, много позже цель, оказываясь позади, оставляла после себя сгусток либо лёгкую тень воспоминаний. Любые попытки оживить, реанимировать эту жажду «по памяти» терпели поражение.

В последний раз они встретились при других обстоятельствах, уже изменивших их. Её, идущую упругой походкой по жаркой полуденной улице (под пальмами, вдоль серых невыразительных домишек). Его, сидящего в салоне нового автомобиля.

Их встреча была спланированной, казалось бы, после долгого перерыва (судьбоносного, конечно же) она должна была быть яркой, запоминающейся, эмоциональной.

Но в эти полгода та самая центростремительная сила, которая привела её сюда, произвела значительное разрушение и опустошение в ней самой. Ничто не прошло даром. Ни долгая разлука, ни перемещение (вместе со всем, что составляло её жизнь) в пыльный ближневосточный городок, в заброшенный дом на окраине. Новая жизнь изменила её гораздо более, чем она могла предположить. Нужно было прикрепиться к этой самой жизни, а значит, стать другой, и эта женщина, идущая вдоль шоссе, — внешне уверенная в себе, на самом деле — испытывавшая обрыв пуповины, отчуждение, отчаянье, несовместимое с выживанием (той, прежней), — но всё же вопреки всему выжившая, живущая, более того, внешне — даже лучше прежней, ярче, очерченной, — совсем не ровня той, задыхающейся от нетерпения, бегущей вдоль трамвайной линии, взлетающей на пятый этаж.

Ток крови не то чтобы замедлился. Он изменил траекторию. Жажда никуда не ушла. Она, ведомая (как и тогда) внезапно обозначенной где-то там, за поворотом, целью, летела, будто одержимая, лишь краем глаза успевая отметить чуждое поле стремительно отодвигающейся и проносющейся мимо жизни. Какие-то силуэты, тени, обстоятельства.

Всякий раз иные. Сорок шестой автобус, медленно ползущий (через весь город) в далёкий Бат-Ям. Араб, сидящий неподалёку от автобусной остановки. Его пустынные глаза, отороченные густыми девичьими ресницами, проникают сквозь все преграды. Сквозь все слои, цивилизационные, социальные, межличностные, межвидовые.

Она успевает отпрянуть, не выдержав чужого взгляда. Этот взгляд, лишённый какого-то понятного подтекста, в избытке наделён иным, пугающе конкретным. Холодной силой и цепкостью. Глаза следуют за отъезжающим автобусом, и внезапное это вторжение кажется ей знаком.

Лишённая привычных суеверий, она всё же привержена каким-то собственным (не обманывающим в наивысшем) ощущениям. Которые здесь, на новом месте, претерпевают некую трансформацию, тем самым обнажая её суть. Обнаруживая за ворохом наносного, ненужных знаний и умений, её собственное, холодное (и горячее в то же время) пустынное, безудержное — настоящее.

Возможно, все эти цели, за которыми, задыхаясь, следовала она, только для этого. Ради этого взгляда, вторжения из-за пыльной занавески, — случайного взгляда сидящего на корточках человека.

Он был неуловим, вездесущ. Принимал различные образы, формы. Назывался разными именами. Например, этот низкорослый таймани в вязаной белой тубетейке. Взгляд будто лезвие, горячее, вспарывающее любые условности. Выхватывающий из десятка идущих мимо, безошибочно определяя цыганскую (пугающую её самой) суть.

Будто соприкасаясь взглядом, он успевал (за некую условную единицу времени) прожить, пережить, перебыть с ней — в каких-то иных временных потоках и пространствах — долгую жизнь.

Та самая жажда, узнаваемая, определяемая в другом. Та самая жажда, уводящая от привычного, насиженного, внешне безопасного, обустроенного, от книжных представлений и формальностей — в мир жестокого подчинения и горького, изматывающего, единственно верного (потом, уже восстановленным рассудком, принимаемого за ошибочное) — путешествия.

\* \* \*

И всё же, однажды испытанная, она не умерла окончательно. Будто стая аквариумных рыбок силится проникнуть сквозь толстое стекло аквариума. Либо ты сам, с любопытством наблюдающий таинственное свечение в толще вод.

Иногда мы встречаемся глазами, припоминая что-то. Пустынное, волчье, звериное. Но, разделённые толстым стеклом, ведомые целью (каждый — своей), отталкиваемся, плывём.

## ГУАНТАНАМЕРА

Прошлое — чужая страна. Там всё было иначе.

*Хартли*

Город был наводнён голодными ордами кубинцев, разбавленными сотней-другой низкорослых и деликатных перуанцев, задиристых никарагуанцев, приверженцев легендарного генерала Аугусто Сесара Сандино, — благополучных на общем фоне костариканцев и вкрадчивых боливийцев. Раздаривая улыбки, эту сиюминутную готовность к празднику, освещая гранитные проспекты белками глаз, розовыми дёснами, — казалось, в ритме меренге и сальсы, кумбии и румбы срываются с места забитые до отказа автобусы, а приторно-сладкое поило в липких стаканах превращается в благородный напиток, напоминающий густой нефтяной мазок в крошечном напёрстке. — Yo soy un hombre sincero<sup>1</sup>. — В то лето, едва оправившись от варварского аборта, я стала истинной женщиной — несостоявшееся материнство прошлось плавным резцом по бёдрам и груди, — я ощущала себя ненасытной

---

<sup>1</sup> Я честный человек (*исп.*).

амфорой, блистающей отполированными округлостями, — блеск глаз не удавалось замаскировать даже тёмными стёклами очков, — сменив солёную от слёз наволочку на флаг кубинской революции и портрет Че Гевары на стене, покачивая бёдрами, я неслась навстречу ошеломительному лету, — срывая запретные флажки, я торопилась жить, на ходу заглатывая Маркеса и выстраивая собственную модель поведения по Кортасару, упиваясь Рубеном Дарио, заучивая наизусть Далию Мендосу, я успевала поднять голову от порхающих страниц и проделать несколько па в истинно карибском духе, я успевала очаровываться, — навсегда, Господи, навеки! — а разве один упоительный летний день, нестерпимо-жаркий в полдень и ветрено-греховный ближе к ночи, не может приравняться к вечности?

В свингующие ритмы, в острые синкопы укладывалось предвкушение чего-то судьбоносного. Маленький легковоспламеняющийся кубинец Хорхе, рассыпаясь фейерверками и взрываясь петардами, был забыт довольно скоро. Там не было необходимых компонентов драмы — только моё жадное приятие иного мира и его не менее жадное стремление иметь свою женщину, свою руссу, которая, — о дьос, ну совсем не похожа на этих руссо, — клацанье совершенных белых зубов и редкая поросль на впалой груди, а ещё жалобно-детские рассказы о любимой мамите там, на далёком острове Свободы.

Юная мулатка с редким именем Таня-Ласара поделилась секретом — в сумочке её, между конспектами по научному коммунизму и экономической истории, крошечные кружевные трусики — запасные. — Зачем? — растерянно спросила я. — Бельё должно быть свежим. — Зачем? — На всякий случай! — И это — узкий флакон с пахучей маслянистой жидкостью. Несколько капель Таня втирала в ладони. — Хочешь? Попробуй — все будут твои! — В походке её было столько достоинства, лёгкого,пряного, животного магнетизма — и ничего вульгарного, — я влюбилась вмиг и безоговорочно, впрочем, кто не был влюблён в Таню-Ласару в злополучном 1986 году?

Минут пять я любовалась худосочным пылким юношей с фотографии. Вздохнув, Таня отправила пылкоглазого обратно в сумочку. — Жених, —

прошептала она, и глаза её чуть увлажнились. — Он хранит мне верность. — А ты? — всполошилась я. — А что я? Я — женщина, меня любят многие. — А ты? — А я — только его. — Таня ещё раз вынула снимок и наградила его (в смысле жениха с карточкой) долгим влажным поцелуем.

Чужой материк стучался в моё сердце, врезаясь рифами островов, взрываясь вулканической лавой. Я просыпалась в чьих-то жарких объятиях, а в подземке сонно повторяла испанские глаголы, мешая толерантную испанскую грамматику с вульгарным кубинским сленгом. Слова были не вполне приличными, но как вкусно они звучали.

Свою «роковую любовь» я встретила вопреки всяким «не» — с необъяснимым упорством отказываясь от свидания в первый раз, испугавшись почти тропического ливня во второй, и в третий — перескакивая бесконечные ступеньки эскалатора, носом к носу я столкнулась с ним, смущённо пытаюсь «не узнать», но не тут-то было — в его братских объятиях растаяли мои смешные попытки юлить и оправдываться.

Весь день и остаток вечера мы провели вместе, празднично шатаясь по многолюдным летним улицам, по всей видимости напоминая окружающим городских сумасшедших.

— Маркес? — вопрошал он. — Борхес, — взволнованно отвечала я. — Хулио, — сощуривал он дымчато-карий глаз. — Кортасар, — возбуждённо выкрикивала я. — Фуэнтес, — рука его ложилась на мои плечи. — Неруда, — таяла я. — Касарес, — его губы приближались к моим. — Карпен...тье...р, — едва успевала прошептать я.

Воркование продолжалось на следующий день с тем же энтузиазмом. Бум латиноамериканской прозы сослужил добрую службу влюблённым в неё бродягам — покончив с перечислением, мы приступили к более серьёзным формам.

«Любовь во время холеры» была прочитана на языке оригинала, — бестолково курлычущие вокруг скамеек голуби с тревогой всматривались в пылающие вдохновением лица, наверняка их смущали звуки чужой речи, однако к концу месяца они уже вили премилые гнёздышки на наших курчавых головах и, клянусь всеми святыми, в их курлыкание слышалось характерное раскатистое «р».

Более всего на свете мне хотелось танцевать, — жарко, жарко, — от кубинской до арабской дискотеки было метров сто, я успевала, — que calor! — огромный негр, раскручивая свободной рукой крошечную мулатку, сдирал с себя цветастую рубаху, от его блестящего шоколадного тела исходил густой аромат. Мне было уютно и легко в этой разношёрстной толпе. Ради минуты яркого, ничем не омрачаемого праздника я готова была отказаться от всего прочего мира, который оставался там, в скучной блочно-панельной плоскости, и цвета имел блёклые, веселье натужное, без аромата гвоздики и ванили, без поступательно-вкрадчивого, с хрипотцой «Гуантанамера» и яркозубой улыбки Фиделя с плаката, купленного в подземном переходе у продрогшего кубинца в вязаной будёновке.

## ЛЁГКОЕ ДЫХАНИЕ

*Маме*

Парижа больше нет.

Всё вроде бы на месте — Нотр-Дам, Монпарнас с Монмартром, и Елисейские, и Булонский лес, и прононс, и витрины, в них отражаются живые лица настоящих парижан.

Я узнаю их по твоим рассказам — по сказанному и невысказанному, по твоим мечтам о нескончаемом путешествии, имя которому — Париж.

Париж чёрно-белый, сошедший с экранов и старых снимков, — я вёз его с собой — очень бережно, боясь повредить в дороге, — точно хрупкий предмет, требующий особого, трепетного обращения, — обёрнутую в ватный кокон стеклянную игрушку.

Словно древний книжный лист, он рассыпался, облетал, испарялся, оставляя после себя тонкий, горьковатый шлейф. Шкатулка из комода, на дне которой — несколько пожелтевших открыток и пузырёк духов, —

настоящих, из Парижа, — скажешь ты, вдыхая терпкий аромат — вернее, то, что от него осталось.

Духи, открытки, а ещё песенка уличной девчонки — смешная, страстная, трагичная: трам, парам, парам...

Парижа давно нет.

Может, он остался там, на дне комода? Или в бороздках, исцарапанных иглой?

Я знаю, они ещё живы, все эти прекрасные Мужчины и Женщины, — встречаясь глазами, они всё ещё ведут свой бесконечный диалог — на прекрасном французском с прекрасным прононсом, — пожалуй, его стоит внести в Красную книгу, как и всю добрую старую Европу вместе с круассанами к утренней чашке кофе, — круассаны есть, мама, и кофе, представь себе, тоже.

Le Monde в руках пожилого господина в плаще и берете — того самого, с морщинками вокруг водянисто-голубых глаз, — я сразу узнал его, — он долго выбирал круассан, и лицо его было детским, поглощённым важностью момента, беззащитным каким-то, — он окунал булочку в чашку с шоколадом и осторожно пережёвывал сладкое тесто — вместе с новостями, улицей, воркующими голубями — вместе с гарсоном-китайцем и гарсоном-алжирцем и ещё каким-то человеком в бурнусе и золотых шлёпанцах.

\* \* \*

Человек, побывавший в Париже, остаётся бесконечно очарованным и навеки влюблённым.

Даже если Париж он видел мельком, краем глаза... Даже если он видел его в проёме иллюминатора — все эти полукружья, ромбы, квадраты и прямоугольники, в которых затерялись и Елисейские поля, и Эйфелева башня, и Нотр-Дам де Пари, и Монмартр, и, конечно же, Пляс-Пигаль и Мулен Руж.

Вот он, мир Азнавура, Дассена, Пиаф. Где-то там, за магистралями и плавными лентами шоссе, существует он, живёт своей обыденной жизнью, картавит, грассирует, заказывает горячие круассаны, выходит

из супермаркетов и мелких лавчонок, похрустывая на ходу свежим багетом. Серое небо над Парижем. Серое, сырое, весеннее. Небо над Парижем — это уже кое-что. Стоит пересечь границу, как из гражданки и гражданина вы превращаетесь в мадам, мадемуазель, мсье. И представьте, вам это нравится.

Мерси, мадам, оревуар, мадам.

Позвольте, это мне он улыбнулся такой тонкой, лукавой улыбкой — это всё мне? Вся эта бездна непринуждённого очарования, игры ума, манер, изящества — мне? Мне? Как равной, возможно даже своей, близкой, способной понять и оценить французский прищур и сарказм и такую милую, совершенно обезоруживающую иронию.

Пролетая над Парижем, вы успеваете влюбиться на всю жизнь. Влюблённость — это дуновение, сладчайшая из иллюзий, предчувствие возможного и невозможного одновременно. Жизнь, которую вы бы прожили иначе.

Ах, если б только... Когда-нибудь...

Закрыв глаза, раскачиваетесь в такт французской песенке, разученной на уроках французского. Очень легкомысленной, но полной того самого шарма. Французский язык нам преподавала настоящая французенка. Возможно, всего лишь наполовину, но и этого было достаточно для торопливых до задыхания шажков, горячих глаз, не томно- и не дымчато-карих, а живых, полных нездешнего огня и смеха, — и непременно яркого платка на смуглой шее.

Лидия Мартыновна была прекрасна. Её можно было только обожать, обожать страстно, с замиранием и нежной тоской.

Отец её был членом французской компартии — и это единственное, что мы знали о ней.

У французенки была астма. Астма, внезапные приступы гнева и сложный аромат духов, в котором не последнюю роль играл её собственный немного душный, терпкий запах.

Увы, французский так и не стал моим вторым языком.

Впрочем, как и прочие языки, в которые я влюблялась безответно, страстно, но непоследовательно.



В моих отношениях с языками хватало первоначальной очарованности, не доходящей до постоянства. Французский был и остался мечтой, светящейся точкой, маяком, но уж никак не стойкой привязанностью.

Думаю, самым главным на занятиях Лидии Мартыновны был урок настоящего шарма. Этот кокетливый платочек, эта вздымающаяся грудь, этот быстрый и взволнованный, с придыханием говор, этот головокружительный прононс. Согласитесь, нечастое явление в советской школе — мрачноватом трёхэтажном учреждении, в котором властвовали истеричные, закомплексованные и чаще всего не особо счастливые женщины.

Кстати, с прононсом у меня как раз всё хорошо.

В прононсе равных мне мало.

На прононсе, и только на нём, держался мой школьный авторитет. Правда, недолго. Пока не обнаруживалась (а она обнаруживалась всегда!) огромная зияющая пропасть, в которую бесследно проваливались все эти проклятые артикли, правильные и неправильные глаголы и обстоятельства места и времени.

\* \* \*

Начать, вероятно, следует с того, что моя мама любила Ива Монтана. Конечно же, она прекрасно понимала, что у Ива Монтана есть Симона Синьоре, но как этот факт мог повлиять на влюблённость юной и неискущённой во всех смыслах девушки?

Не знаю, что явилось раньше — французский язык или Ив Монтан? Безо всякой посторонней помощи мама, отработав год на четвёртой обувной (туда её как раз по знакомству устроила бабушка, которая частенько поминала эту самую фабрику в своих историях — как способ выживания в военное и послевоенное время), — так вот, безо всякого вмешательства извне мама моя, совсем юная и явно влюблённая во все эти несносные падежи и спряжения, штурмом взяла Иняз.

Но всё это было после. Вооружившись калькулятором, я подсчитала — в начале пятьдесят седьмого года (а именно тогда Монтан, после выступления в Москве и Ленинграде, оказался в Киеве) маме моей ис-

полнилось восемнадцать. По всей видимости, она ещё не успела стать студенткой, но уже прилежно штудировала правильные и неправильные глаголы, а что касается прононса, то он был идеальным — с её абсолютным музыкальным слухом.

Я уже говорила, что мама была похожа на француженку? Кстати, она частенько сокрушалась по поводу моего не вполне французского вкуса — называя меня цыганкой в пёстрых тряпках, что вполне, в общем, справедливо, учитывая мою склонность к канте-хондо, булери и солеа.

Ах, я почти уверена, что Ив, находящийся на пике славы, не мог не заметить хрупкую, точно французский воробушек, девушку с копной каштановых волос. Всякий раз, пролистывая эту историю, мама оставалась на полупhrазе, глаза её заволакивались мечтательной дымкой.

Несомненно, прикосновение было. Не только к Иву, такому же большеротому, стройному, пластичному, точно испанский танцор, мальчику из бедной еврейской (итальянской) семьи...

Не только к нему. К чему-то такому, о чём мама, разумеется, в тот момент не думала, не подбирала, как я сейчас, эпитеты и сравнения.

Это было прикосновение к Парижу. К Франции. К другому миру, существующему там, за железным занавесом, за подвальными комнатами, заводским шумом, скандальными соседями, очередями. Это было прикосновение — не только к Иву, но и к Эдит, Эдит Пиаф, которую тот любил (до Симоны) и которого любила она.

Это было посвящение. Любовь на всю жизнь. Восполнение чего-то важного, определяющего.

В мамином детстве не много было ласки. Нет, всё необходимое было, конечно. Платье, перешитое из платья старшей (сводной) сестры. Забота, столь трогательная, столь ценная, особенно если речь идёт о почти удочерённом ребёнке в скудные послевоенные времена.

Всё необходимое, повторюсь, было. Кроме самой малости, смешного пустяка.

Однажды в старый дом на Подоле приехал погостить дальний родственник, дядя Ушер, — ну какой такой дядя — это был молодой и без-

условно обаятельный мужчина с тёплыми живыми глазами. В поле зрения этих глаз оказалась молчаливая худенькая девочка.

«Не знаю, что произошло, — но когда его ладонь оказалась на моей стриженной голове, я разрыдалась. Это было редкое, особенное ощущение отцовской и мужской ласки, которой в моей жизни не было — не было этого внимания, тепла, готовности слушать столько, сколько потребуется».

Подозреваю, что улыбка дяди Ушера была похожа на улыбку Ива Монтана. Мерцающая жёлтым светом люстра с изогнутыми плафонами-лилиями, оплывающие свечи, тени на стене — дом, в котором нежности хватало с избытком. Она, эта нежность, струилась изо всех щелей и углов.

Уверена — бабушка Рива была француженкой. Французом был дед Иосиф. Французами были соседи — тётя Лиза и дядя Даня, — они встречали меня, априори награждая всевозможными лестными эпитетами, уменьшительными и ласкающими слух, — просто так, безо всякого повода. Переступая порог дома на Притисско-Никольской, я начинала дышать иначе.

Подол моего детства — маленький разноцветный Париж, до которого ехать было всего ничего — каких-то несколько остановок трамваем.

\* \* \*

Мечта юной девочки в каком-то смысле сбылась. В начале шестидесятых непроницаемый железный занавес несколько обвис, пообтрепался, и первые настоящие французы (не считая Ива Монтана и Симоны Синьоре) зачастили в тёплый, почти курортный Киев. А там их ждала она — смеющаяся, с запрокинутой головой, в изящных туфлях-лодочках и блузе-апаш, перешитой из блузы её сестры Ляли, — она ждала их, вооружённая до зубов правильными и неправильными глаголами...

\* \* \*

Я часто тоскую по Парижу. Возможно, это мамино наследство — пластинки фирмы «Мелодия», голоса Монтана и Азнавура, Брежля и Гитри,

что-то нежное и необязательное, лёгкое и отточенно-небрежное, столь чуждое всем «надо», «тяжело», «должна».

Эта струящаяся (сквозь все помехи и царапины на пластинке) иная жизнь. Её ускользящий шлейф. Шорох речи, скольжение её. Слепительная улыбка на туго натянутом полотне, выцветший снимок, на котором чёрным по белому: «*Chère Emily... en mémoire... Yves Montand*»<sup>1</sup>.

## ЗЕЛЁНЫЕ ЯБЛОКИ СЕЗАННА

Порой, направляясь к парку, я встречаю его, идущего от метро. В одной руке дипломат, в другой — стопка новых книг. Лицо его светится каким-то особенным удовольствием. Предвкушением.

Он воодушевлён покупкой, ему не терпится поделиться радостью. Листаю, торопливо пробегая глазами названия глав. Философия — это далёкая планета, на которой происходят удивительные явления, — там старик Платон, похожий на господина бога с картинок Жана Эффеля, о чём-то спорит с Аристотелем, а старина Фейербах, по-свойски приобняв Гегеля, удаляется по выложенной серыми плитами дорожке парка.

В несчастной моей голове не умещается обилие определений. Относительность всего повергает в ступор.

«Если взять предмет с этой стороны, а потом взглянуть с той...»

Ну ясное дело — один и тот же предмет можно рассматривать с разных сторон, и всякий раз это будет новый предмет, наделённый новыми характеристиками. Зелёные яблоки Сезанна, вытянутые женщины-амфоры Модильяни, их поющие шеи, их плавные бёдра, их нежные лица, уязвимость, расплывчатость, узнаваемость черт... Это совсем не те яблоки, которые лежали на столе или в корзине, и даже не те, которые усыпали влажную от дождя землю. И совсем не те женщины, которые

---

<sup>1</sup> Дорогой Эмили... на память... Ив Монтан (фр.).

обладали тривиальными характеристиками — возраст, пол, вес, размер ноги, политические убеждения или отсутствие таковых, — женщины Модильяни — это некое слитое воедино женское начало, но без греховной, дьявольской составляющей, — это, если хотите, молитва или мантра, обращённая к Создателю, это исполненный глубинной благодарности гимн, воспевающий хрупкость запястий, изящество лодыжек, медлительную мощь бёдер, но не это даже, а некую спрятанную (точно жемчужина в перламутровой раковине) тайну, которая обитает внутри, но именно от неё свет и упоительная нежность бытия, — совсем не то женщины Пикассо! Вот где торжество демонического, вот где сардоническая усмешка из-за кулис.

О чём это я? О философии, конечно, об относительности любого явления, предмета, его нахождения в провозглашённой системе координат.

Время, говорил Платон, есть подвижный образ вечности, а вечность есть неподвижный образ времени.

Аристотель же считал время каким-то «движением и изменением».

Находиться во времени для движущегося или покоящегося предмета у Аристотеля означает, что движение или покой этого предмета измеряются. Поскольку же измерять может лишь душа, то и время в собственном смысле слова может быть лишь там, где есть душа. Если рассуждать формально и безотносительно, то, по Аристотелю, время есть число движения, или его мера, его порядок.

Душа, закреплённая в образе (либо же воссозданная им?), пригвождённая к полотну, остановила время? Женщины Модильяни и Пикассо существуют вопреки всем физическим законам.

В мире импрессионизма отобразился и застыл целый мир, казалось бы давно ушедший в небытие. Вот Париж Вламинка, вот Париж Шагала, вот дух местечка, неведомо каким образом просочившись из глухой провинции в центр мира, раскрывается, подобно библейскому цветку, — здесь нет нищеты и скученности, нет тоски и косности, нет боли и страха, — вознесясь над крышами, парят в воздухе агнцы, девы и отроки, там Бузя и Шимек, взявшись за руки, взлетают над оврагом, ре-

кой, погостом, над еврейскими могилами, покосившимися домишками, распахнутыми окнами, из которых, подобный первому снегу, разносится по воздуху лебяжий пух.

«...ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы твои — как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими; шея твоя — как столп Давидов, сооружённый для оружий, тысяча щитов висит на нём — всё щиты сильных; два сосца твои — как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями»<sup>1</sup>.

О чём это я. О философии. Об относительности определений. О застывших догмах и изменчивости материи, о яблоках Сезанна и мыслеформах Матисса. Матисс раскладывал мир на формы и цвета. Утрилло видел его подробно прорисованным, нанесённым тончайшей кистью — тающим в городской сиреневой дымке, ему и невдомёк было, что в лавке через дорогу висят распятые освежёванные туши. Их видел Хаим Сутин. Мир освежёванных туш, опровергающих (и подтверждающих одновременно) существование жизни. Вот она, конечная станция. Торжество разложения. Как знать. Предчувствие неминуемой катастрофы либо воспоминание о ней. Бесстрашие отчаянья. Он там был, он это видел. Так Катастрофа, поселяясь внутри, завоёвывает право на существование, вытесняя весь остальной мир — подробную графику улочек, каллиграфию проводов, вокзалов, тусклый свет кофеен. Здесь нет смутной нежности, переполняющей сердце, здесь не звучит слово из Песни песней. Здесь шпалы, расходясь, доставляют в пункт назначения, здесь маленький человек, объятый нечеловеческим ужасом, бежит, понукаемый сворой человекоподобных.

«...когда бежал он от Авшалома, сына своего. Г-споди, как многочисленны враги мои, многочисленны поднявшиеся на меня! Многие

---

<sup>1</sup> Песнь песней, 4:1-5.

говорят о душе моей: нет спасения ему в Б-ге! Сэла! А Ты, Г-споди, щит для меня, слава моя, и возносишь голову мою. Голосом своим к Г-споду взываю, и ответил Он мне с горы святой Своей. Сэла! Я лежу и засыпаю, пробуждаюсь, потому что Г-сподь поддерживает меня. Не боюсь я десятков тысяч народа, которые находятся вокруг меня. Встань, Г-споди, помоги мне, Б-г мой, ибо Ты бил по щеке всех врагов моих, зубы нечестивым расшиб Ты. У Г-спода спасение! (Да будет) на народе Твоём — благословение Твоё! Сэла!»<sup>1</sup>

Знаешь, вчера я наткнулась на целый мир, который ты собирал годами — по кирпичику, по атому, — Конфуций, Плутарх, Кант, Бодрийяр.

Мысль запечатлённая наполняет смыслом, но изнуряет плоть.

Вокруг меня больше зелёных яблок, больше влаги и жара, в моём мире уголь, соперничая с сангиной, воссоздаёт счастливые формы жизни, в которых удивительным образом уживаются хаос и порядок, свет и мрак. Цвет и форма, опережая друг друга, поведают об относительности и изменчивости, об общем и частном, о цельном и подробном, о гармонии и диссонансе, о перспективе, покоряющей пространство, о ритме, идущем вровень со временем.

Зелёные яблоки Сезанна окажутся важней исписанных мудрецами томов, и ты об этом знал, понимая меня (как никто другой), и всё же тешил себя надеждой...

Что однажды, вытирая пыль и перебирая тяжёлые тома, я встречу с тобой, неторопливо идущим по тропинке. В одной руке дипломат. В другой — связка нераспечатанных книг. В глазах — предчувствие встречи.

---

<sup>1</sup> Из псалмов Давида.

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

## СОТВОРЕНИЕ МИРА (О ПРОЗЕ КАРИНЭ АРУТЮНОВОЙ)

Музыка — это запечатлённое течение времени. Оттого даже в самой жизнерадостной музыке скрыта большая печаль, оттого так хорошо под музыку плачется слабонервным натурам.

Замечу, что люди с железными нервами меня не интересуют. Меня интересуют те, которые, слушая прекрасную вдохновенную музыку, чувствуют, что она может оборваться, как серенькая ниточка времени, протянутая сквозь эту музыку, обернутая ею и преображённая.

Ещё больше меня интересуют композиторы. Точнее, я их люблю. Среди милых моему сердцу слабонервных натур они самые уязвимые и самые спасённые.

Каринэ Арутюнова пишет музыку словами и на протяжении всей своей прозы не берёт ни одной фальшивой ноты. Абсолютный слух выражается ещё и в том, с какой безукоризненной точностью в произведение вплетаются мелодии и голоса любимых К. А. авторов, местечковая речь или мощные пассажи в ветхозаветном духе, когда возникает еврейская тема.

Абсолютный слух не обязательная принадлежность композитора, но почему бы не упомянуть об этом, если он есть? Не могу молчать.

У К. А. есть и всё остальное: мысль, воображение, мелодика, музыкальная память, техника... Талант, в конце концов.



Не зря она в прологе книги «Падает снег, летит птица» слышит фортепианную музыку. И весь пролог, по сути, — одна фраза, идущая, как положено, сверху вниз, при том что звуки фортепьяно поднимаются с первого этажа на десятый, где у окна стоит некто, вернувшийся из долгого путешествия. Я не скажу того, что вы ожидаете: из путешествия длиной в жизнь. Всё есть символ, и не мне вам втолковывать прописные истины. Скажу только, что завершённое путешествие и звуки музыкальной пьесы встречаются и сиюминутные звуки принуждают минувшее заговорить. Их встреча — упомянутая книга.

Да, отмечу ещё элегантный завиток речи, который вы могли в спешке не углядеть: «Вот и подходит к завершению импровизированное путешествие, напоминающее эту пьесу, — доносящиеся снизу или же слева, а может быть даже справа, незавершённые, вырванные из контекста фразы...» Завиток — вот это никчёмное «а может быть даже справа», а в этом завитке — никчёмное «даже». Что бы это значило? А то, что музыкальная фраза доносится не только снизу или слева, но, может быть, даже справа. Это непредсказуемая, мимолётная, воздушная, живая улыбка, благоразумно снижающая пафос встречи вернувшегося путника с музыкой его прошлого, звучащей в непререкаемом настоящем. И это нерв того самого «слабонервного».

Вы прозевали этот завиток? А ведь в эпилоге книги К. А. предупреждает с ироническим опозданием (кто же, скажите на милость, в эпилоге — предупреждает?): «Не надо листать книжку, не надо заглядывать в конец, читайте медленно, со вкусом, не спеша».

За прологом следует начало, оно приходится на сентябрь, и это справедливо не только потому, что композитор родился именно в сентябре, но и потому, что это начало сознательной — праздничной и печальнейшей — поры, когда «хочется погладить воротничок и пришить манжеты». «Но их нет, их нет...» — типичный для автора перескок из прошлого в настоящее — какие у взрослого пришивания воротничков и манжет? — и следом возврат в тот сентябрь... — так, в челночном

режиме, создаётся объём времени жизни, и символом его становится чувство, «когда так тянет в области сердца». Тянет туда и тянет в области сердца, поскольку туда не попадёшь в реальности.

Что ж, есть вещи, которые сильнее реальности, — например, вот эта миниатюра «Начало», явившаяся образом начала (или так: его символом, пересозданием и умножением).

Искусство символично по определению. Оно не есть фотографическое воплощение эфемерного переживания семилетнего ребёнка или внятного предметного мира сегодняшнего дня, навевшего это переживание, оно есть нечто третье: постижение того, что непостижимо, путём письма и установление истины.

Непостижимое (бесконечное) требует безотрывного внимания фразы ко всему, что проносится перед взглядом пишущего. Занятие безнадежное для того, кто не владеет искусством монтажа. Но не о безнадежных речь. Речь о К. А., которая — владеет.

У настоящего (времени, мгновения) есть преимущества по сравнению с прошлым и будущим. Оно их вмещает. Вы философски укажете, что и в прошлом содержатся провидческие зёрна будущего и что будущее никак не избежит памятной насыщенности настоящим...

Вы правы, но мне любезна золотая середина, о которой можно сказать «настоящее» в обоих смыслах этого слова: во временном и в качественном (не поддельное, а *настоящее*).

К. А., иронически взглянув на тех, кто живёт, «обесценивая значимость сиюминутного», берётся за дело и вершит его с перелётной зоркостью. Вы наблюдали, как птицы перелетают с ветки на ветку, и наверняка задумывались: какому закону подчинена эта беспорядочность, не вызывающая сомнений в беспрекословной выверенности рисунка?

Сделаем паузу: перелётная зоркость и выверенная беспорядочность.

И двинемся дальше, ответив на заданный вопрос: по ЗАКОНУ ВЕЛИКОГО МОНТАЖА. (Знаете ли, «И был вечер, и было утро: день один», потом второй, третий...)

Но изобразительная мысль К. А. ветвится и перелетает с места на место, у неё, в отличие от Великого Монтажёра, нет в запасе вечности, для неё поступательное движение медленно, она соединяет в себе дерево и птицу, ветвясь и перелетая.

И увидел я, что это хорошо.

А вы увидите, прочитав рассказ «Искусство монтажа». И всё остальное.

Отличительная особенность прозы К. А. — протяжённая, «нескончаемая» фраза, иногда длиной в страницу, и это родственно какой-нибудь музыкальной части симфонии, которая не может прерваться, пока не сыграна целиком. Но дело не только в этом благородном родстве, с указанием на которое я, собственно, начал свою запись.

Дело в том, что это не литературный приём, но естество и сущность пишущего, умеющего вместить в одну фразу — вы убедитесь в этом, едва начнёте читать К. А.! — повесть, а то и роман.

Если вы когда-нибудь в любознательной юности жадно листали журнал «Наука и жизнь», то знаете, что пчела должна облететь полторы тысячи медоносов, чтобы наполнить свою «сумку». Вы знаете также, что преодоление пространства сопровождается тиканьем времени, которое не только тикает, но и утекает, что пространство и время — это единое «пространство-время», что движение пчелы меняется с течением времени, что в присутствии притягательных объектов (цветов в данном случае) возникают всяческие искривления (замедление времени, ускорение движения), что есть, наконец, теория относительности, что создатель теории говорил, что пространство и время являются принципами нашего мышления, а не условиями, в которых мы живём, и — я добавляю от себя — возможно, поэтому ответом на вопрос, почему «объекты притяжения» способны искривлять пространство-время, обладает не учёный, а художник.

Я должен процитировать хотя бы один отрывок из К. А., сколь бы необъятен он ни был. Пусть он будет из опуса «На улице Заколдованной розы».

Рассказчик идёт по улице.

«В жизни всегда есть плюс и минус, видишь ли», — случайный голос за окном способствует отрезвлению и молниеносному переходу из мира беспорядочных сновидений в бодрствующий, но не менее хаотичный».

И затем так:

«...носитель чарующей интонации удаляется вместе с голосом, унося тайну мироздания с собой, — все эти “мы не властны над”, “послушай, дружок, а сейчас я расскажу тебе сказку”, — волшебство начиналось с первых тактов, с внезапного щелчка, с поскрипывания и шипения иглы, протёртой трепетно, допустим, одеколоном “Весна”, — послушай, дружок, сейчас я расскажу тебе сказку, — сверчок, хозяин музыкального магазинчика, пан Такой-то, овладевал вниманием со знанием дела, с вкрадчивой неторопливостью гурмана, — исполнением желаний звучали названия улиц — Заколдованной розы, Миндальной, Клетчатой, Канареечной и даже Полевой мыши, “Пан Теофас носил костюм коричневого цвета, а у пана Боло была розовая жилетка в мелких цветочках”, — стоит ли говорить о том, что в нашей с вами тог-дашней реальности мало кто мог похвастать хипстерскими жилетками и пиджаками *от...* — но интонации всё же были, в них можно было кутаться, точно в клетчатый плед из ангоры, — журчащая с заезженной пластинки доброта вплеталась в уют того самого двора (за аркой), пока ещё пребывающего в блаженном неведении относительно недалёкого будущего, относительно недалёкого — пока ещё не подозревающего о реальности пластиковых окон и беспроводного интернета, — ещё не разлетевшиеся по букинистическим лавкам добротные корешки выстроены вдоль прочных стен, ещё скрипят дверцы — в них нафталиновые шарики перекатываются, охраняя от вторжения вездесущей моли, — у нас хорошие новости, панове, — с молью мы справились, у нас больше нет моли, как нет комода, стен и, собственно, времени — оно не течёт привольно, а нарезается скупой, фрагментами,

особенно ценятся обрезки, в них самый цимес, — украденное у самих себя откладывается про запас, — помните это “однажды”? “когда-нибудь”? — оно преследует смутной тоской, брожением, это отложенное на “когда-нибудь” время, изорванные лоскуты имеют странное свойство — трансформироваться в горсть бесполезного тряпья, кучу хлама, черепки, осколки, труху, пыль, — выигранное в жестокой схватке время уходит на бесконечную борьбу с пылью, — бесконечность — это пыль, усердно сметаемая веничком, дружок мой, — тлен, прах, — загляни под диван, буфет и книжный шкаф — видишь ли, душа моя, в жизни всегда есть место плюсу и, конечно же, минусу, добру и злу, любви и отсутствию её, — банальные сентенции, вползая в форточку, обретают новое измерение, — со временем (о, это пресловутое “со временем”), — с каждым днём мы постигаем обратную сторону бесконечности, хрупкость, изменчивость постоянных, казалось бы, величин, условность обстоятельств, изнанку часов и минут, — но стоит закрыть глаза, и говорящие на странном наречии сверчки распахивают двери, и улица Миндальная перетекает в Канареечную, с неё идёт трамвай, — щелчок, шорох, скрип, — так скрипят дверцы комода, шуршат книжные листы, струится пыль, разматывается время, — я вновь там, на улице Заколдованной розы, вслушиваюсь в неторопливое: “В одном городе, в каком, я вам не скажу...”»

Надо же договориться до «обратной стороны бесконечности»! Кто сказал, что мне не позволены прямые эмоции? Выражаю: блестяще!

В сущности, читатель всегда находится в чудесном поле удвоенной игры.

Проза занимает физическое пространство на странице, а чтение этого «пространства» занимает определённое время, то есть мы находимся в формальной области «пространства-времени», созданной печатным станком.

Но и автор внутри этой внешней области создаёт свои пространства и свои времена, переносясь по воле ассоциаций, иногда необъяснимых

(в которых заключена тайна ремесла), в прошлое, в будущее, в воображаемое реальное или небывалое, то замедляя время там, где требуется черепашьё внимание, то ускоряя его там, где добыча может быть лишь итогом хищного и мгновенного выпада, и читатель неизбежно вовлечён в главную, внутреннюю и уже совсем не формальную, но художественную область игры.

Первая, формальная область, нас приковывает, вторая — раскрепощает и преобразует, погружая в мир автора.

Вы будете смеяться: пространство и время, являясь принципами мышления художника, искривляются по воле всех без исключения органов чувств, по воле интуиций и ассоциаций, притянутых к тому или иному объекту. По воле тайны ремесла.

Сделаем паузу: ответ художника, тот ответ, которым не обладает учёный, заключён в тайне.

Об этом, и не только об этом, в рассказе «Зелёные яблоки Сезанна», о постижении теории относительности через восприятие живописи, о том, что художник видит совсем не так, как видит «непосвящённый», что перед нами не яблоки вовсе, а краска на плоскости, что художник и не притворяется, что это яблоки, что он пишет... Что он пишет? Он пишет своё видение. Он пишет автопортрет.

К. А.: «Душа, закреплённая в образе (либо же воссозданная им?), пригвождённая к полотну, остановила время?»

В самом начале я назвал музыку «запечатлённым течением времени». Может ли течение быть запечатлённым?

Повторяю: ответ художника — в тайне.

Вы смеётесь? На здоровье.

Тем более «на здоровье», что это проза с глубоким и в то же время лёгким и естественным дыханием, которое не нуждается ни в каких

вспомогательных трубочках: ни постмодернистских, ни антиутопических, ни в прочих примочках или припарках.

У К. А. не выдуманный ум и не одолженное у кардиостимулятора сердцебиение. Она здорова. Кто вам сказал, что здоровье — скучное качество? Пушкин или Бунин обладали отменным духовным здоровьем.

К. А. — это природная умная страстность и неистощимая энергия познания, познания себя, потому что её познание «окружающей среды» никогда не туристическое, оно не направлено на предсказуемые достопримечательности, оно устремлено к явлениям, которые «не предугаданы календарём», и этому сопутствуют не «поэтовы затмения», но поэтовы просветленья.

Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус — всё включено, и всё включено всякий раз впервые. «Зима, и всё опять впервые...»

Впрочем, никакой зимы, К. А. — человек Юга, с южным выговором и особенным сочетанием темперамента и певучести. Чувственность и чуткость.

(Справка: киевлянка, уроженка Подола, жила в Израиле, излюбленные направления — Армения, Франция, Италия, Испания, Португалия...)

Зрение? Пожалуйста. «По мере передвижения вслед за проснувшимся светиллом обнаруживается уйма предметов. Упаковки кисточек (про запас), коробки с пастелью, карандашами, засохший растворитель, ретушный лак, свечи, коллекция монет, полная коробка из-под леденцов с турецкими лирами, армянскими драмами, грузинскими лари».

Запах? Сколько угодно. «Вот так пахнет лак, которым покрыли паркет в новой квартире. Вот так пахнет рубашка моей первой любви. А это запах августа, густой, глубокий, насыщенный, с лёгкой горчинкой...», «А это запах нагретого солнцем старого дома...», «А так пахнет выстиранная накануне красная майка — она очень идёт мне, восемнадцатилетней, кроме всего прочего, другой майки у меня нет — как и других джинсов, впрочем, но ничего иного мне и не нужно — майка, джинсы,

ускользающий август, полупустая платформа метро. А это горечь (разрыва, расставания, отъезда, ухода) — двадцати, тридцати — слышишь, как ветви стучат в окно? как ускоряется шаг?»

Вы видите, как автор, с его чутьистостью гончей, идёт на запах и как открывается пространство и включается время.

«Как пахнет жизнь, подаренная... господи, ни за что, просто так, ещё одна. Новая, неизношенная, целая».

Всё включено, поверьте, все пять чувств, и это есть в пределах каждого рассказа.

Но в «Свете далёких окон» есть и нечто совершенно поразительное.

Шестое чувство. Предвидение. Рассказ написан в пору пандемии, незадолго до войны.

«Вот эта женщина, бредущая под раскалёнными лучами с прижатой к уху трубкой (я слышу голос, сорванный отчаяньем, — мне тридцать пять, понимаешь? а я ничего не успела), — я вижу её отсюда, из глубины карантинных (проживаемых один за другим дней) — и слышу запах надвигающейся беды, которую не спутаю с унынием или, допустим, тревогой, — он нарастает, точно снежный ком, и время идущей по пустынной улице (о, гулкость каждого шага в колодце двора) уж никак не сравнить с сегодняшним, лишённым запаха и вкуса, похожим на бессрочное ожидание то ли начала новой жизни, то ли конца предыдущей».

Женщина, идущая в другом времени и пространстве, вестница надвигающейся беды...

Замечательно и начало этого рассказа.

«Если по мановению волшебной палочки можно замедлить темп большинства живущих на этой планете, то почему нереальным кажется возвращение непрожитого отрезка жизни?»

Понимаете — возвращение непрожитого? Это новое неслыханное измерение. Память возвращает то, что утратила. Чудо. Оказывается, человек свободен возродить то, что он прозевал, и прожить непрожи-



тое. Свобода — это быть самим собой, а быть собой — значит быть в непрерывной попытке себя превзойти.

Сделаем паузу: чудо превосходения себя.

И тогда происходит взрыв. Вы помните, как это случилось? Большой взрыв. Цепная реакция слов и расширяющаяся вселенная жизни. Это не разбегающаяся вселенная, обречённая на энтропию, нет — это движение, накапливающее энергию, направленное против энтропии, находящееся в неустанном безостановочном создании новых времён и пространств.

Как это делается?

Например, так. На четыре страницы рассказа — четыре предложения.

Девочка слушает Би-Би-Си, сидя в кабинете своего отца в 1977 году («А сейчас по просьбе Коли из Джекказгана» — голос Севы Новгородцева) — цепная реакция слов — и вот она (или это уже не она?) рождает в страшном советском роддоме («оскоплённый жёлтый свет в коридоре, осклизлый предбанничек же, — на жёсткой кушетке — чужая девочка, — во всём этом могильном ужасе, — всему чужая...») — цепная реакция слов — женщина вспоминает, как доносились из приёмника «голоса» («из Кёльна, Лондона, Вашингтона, Иерусалима — “Коль Исраэль”<sup>1</sup>, — думалось ли мне? воображалось? — сколько беспросветных рабочих часов, скрашенных влюблённостями, я проведу под звучание этого голоса?»), — цепная реакция слов — она уже в Израиле, и там мимолётная встреча в дороге («лицо попутчика было небритым, вусмерть замордованным, по-собачьи добрым, — полчаса мы провели на пустыре за городом, под пение цикад или сверчков, — я старалась не измять юбку...») — цепная реакция слов — и пунктир, пунктир, пунктир человеческого существования...

---

<sup>1</sup> «Голос Израиля».

Этот пунктир, точнее сказать: штриховая линия — пульс, кардиограмма,

по которой вы прочтёте то, о чём умалчивает автор. (Штриховая линия — по-научному — предназначена для невидимых очертаний предмета.) О чём умалчивает автор?

Мой, увы, калечащий эту вещь пересказ не закончен, мне осталось одно предложение. Оно прозвучит в исполнении К. А. после небольшого отступления.

Психология — дурная бесконечность или тупик бесконечности. Холостой ход. Выяснение «курица или яйцо?» в области причинно-следственных связей. У любого этического выбора, всегда осложнённого социально-психологическими проблемами, на словах столько за, сколько и против. Почему бы не опустить эти слова как некую очевидность и не оставить их на попечение читателя?

Но есть и другая бесконечность — эстетическая, к которой стремится проза К. А., оставляя за кадром «выяснения отношений». Условно говоря: нет ни малейшей склоки ни между людьми, ни между словами — нигде. Наоборот, есть гармоническое единство, родственное искусству живописи, и это не случайно, поскольку К. А. — живописец и график не только в переносном смысле (то есть в прозе), но и в прямом, а живопись — та разновидность искусства, где глубина передаётся на плоскости, где кисть берёт ту единственную краску, которую требует предыдущее прикосновение к холсту. Эстетическая бесконечность противоположна дурной, она благодатная.

Женщина перед возвращением в ту страну и в тот дом, где слушала Би-Би-Си, зачем-то встречает в больнице своего мимолётного любовника, давнего, ненужного, безнадёжно больного, разведённого, в пижамных штанах, серые безжизненные губы...

«Мы можем посидеть в кафе, съездить к морю, — взгляд его был тоскливым, как у бездомного пса, но я прекрасно помнила, каким назойливым мог быть он, тогда, обрывая телефон, появляясь под окнами, пугая соседей и подвергая сомнениям мою и без того хлипкую репутацию, — Муса, сказала я как можно более мягко, но твёрдо вместе

с тем, тут важно не промахнуться, не переборщить, — ещё чуть-чуть, и я со своим идиотским характером начну жалеть его, и, проклиная всё на свете, поеду к морю, и буду выслушивать жалобы, и жаловаться сама, мы будем обнажать свои шрамы и щеголять потерями, а потом он попытается, наверное, в машине — он будет трогать меня своими серыми руками, а я буду мужественно бороться с отвращением, — Муса, мы не увидимся больше — скоро я улетаю, — я говорила чистую правду, — дома лежал билет, — куда? — продолжая улыбаться, спросил он — домой, я улетаю домой, Муса, — повторила я, слабо веря самой себе, — называя домом то пространство, то самое пространство, в котором остался коротковолновый приёмник, пропускающий неактуальные теперь голоса, тётки — запахи хлорки и мастики, потных подмышек в метро, болгарских дезодорантов, — длинные и зияющие пустотой прилавки, застывшие в переходах старушки с натянутыми на изувеченные пальцы колготами, — давно чужие, чуждые, — скрип полозьев, сугробы за окном, гололёд, пионерские лагеря, медицинские осмотры, череда сходящих в могилу генсеков, очереди в ОВИР, баулы, книги, поцелуи в подъезде, отдающие холодом, застывающие по пути, — я еду домой, Муса, — в отчаянье повторила я, борясь с желанием обнять его как внезапно близкого мне человека, которого я вряд ли увижу когда-нибудь, — я стояла у пропасти, заглядывая вниз, и мне было страшно, — я понимаю, — тихо сказал Муса, — ты едешь домой, — в лице его проступила тень усталости и спокойствия, — мне знакомо это выражение, он был похож теперь на измождённого нескончаемым путешествием верблюда, полного достоинства и веры в свои незыблемые пустынные устои, — только стоящий на краю пропасти может понять другого, — каждый из нас произнёс целую речь, суть которой было — прощание, — для него — с целым миром, частью которого была я, для меня — с моим вечно-временным домом, наверное, настоящим, — бесшумно отворилась дверь, — когда я обернулась, Мусы уже не было, только жёсткий хамсинный ветер и пресловутый песок на зубах, возможно, всё это мне только показалось».

Рассказ называется «Канун последней субботы». Согласно Торе, суббота была дана Богом в конце шестого дня сотворения мира, когда был сотворён человек.

«Только стоящий на краю пропасти может понять другого». Трагизм этой истории (и многих других, особенно посвящённых народу Торы) у К. А. таков, что в нём легко дышать — он напоён светом и воздухом.

Ясно, откуда эта напоённость (сам неологизм — поёт, не правда ли?) в рассказах о родине отца — об Армении, которую К. А. открывает в четырнадцатилетнем восторженном возрасте, когда это открытие совпадает с открытием самой себя, когда «вдруг всё во мне, вздрогнув, качнулось навстречу самой себе — будто в одночасье я обрела такое важное для меня знание — из какого, собственно, материала я скроена», когда — по прошествии скольких-то лет — «память моя, столь капризно избирательная, сохранит в самых сокровенных закоулках её — горячий ночной ветер, пресный вкус лаваша (прозрачный — воды), и безмятежный детский сон в глубинах старого ереванского дома», когда «слепнем от избытка и остроты. Света и воздуха» (я написал о свете и воздухе до того, как нашёл эти слова у К. А., и убедился в их правоте), когда «я стою босиком на балконе старого ереванского дома, в ладони моей абрикос, мне девятнадцать, но кто думает о счастье, пока оно есть...»

Сделаем восклицательную паузу: прозрачный вкус воды! — и продолжим.

Но откуда берутся свет и воздух в историях о судьбах евреев в Киеве, о тех, кто погиб в Бабьем Яру, или о тех, кому удалось спастись, но ценой немислимых потерь, унижений, нищенства, болезней, возвращения на пепелище?

И в другом цикле рассказов: об Израиле девяностых годов прошлого века и жизни репатриантов со всего мира, о тесном, жарком, орущем,

потном, красочном, кишасщем, ароматном, вонючем, похотливом, жалком, человеческом, зверином, разноязычном и говорящем чёрт знает на каком языке, остервенелом Израиле без полутонов — откуда свет и воздух?

У меня есть немного смешной, но точный ответ: жизнь произвела на К. А. большое впечатление. Очень большое. Жизнь как таковая. В одном из псалмов говорится, что сердце человеческое глубоко, и это значит, что «жизнь как таковая» приобретает непостижимое, избыточное, если можно так сказать, измерение. Глубинное. Божественное. Для того чтобы наделить мир — не только прекрасный, но и убийственно жестокий — светом и воздухом, требуется неистощимое бесстрашие и безошибочная интуиция прикосновения к Живому.

Речь в прозе К. А. прикасается лишь к тому, что требует прикосновения. Ничего лишнего. Пронзительные образы матери и отца, родных, дома. Уникальный дар любви. Вспоминая детство в рассказе «На улице заколдованной розы», она говорит: «Всё радовало». Я бы глагол усилил: счастливило.

В рассказе «До курицы и бульона» бабушка варит на кухне бульон, а в это время внучка, маленькая, но уже умеющая читать, думать и задавать вопросы, находит в ящике отцовского стола любовную переписку родителей в пору их знакомства. Но главное — она находит ответ на вопрос: что было до всего?

«Любовь — именно она — до звёзд, луны, бульона и курицы, — она явилась причиной всему — как начало длинной-предлинной истории, в результате которой на свет появилась я — потное, виноватое, взъерошенное существо со стиснутыми кулаками — ещё минуту назад потрясённое великим открытием, пожалуй, самым значительным в жизни».

То, что пишет К. А., — это не о ком-то и даже не о ней. Это она сама. Насквозь.

Скажем, обаятельно улыбнувшись на прощание, так: автор упивается собой. Своё занятие он определяет где-то как «деятельное безделье».

Человек, преисполненный энергии, — беспредельный эгоист поневоле. некогда отвлекаться. И слава богу, что отвлекаться — незачем. Он ненасытен. Каждая «бесконечная» фраза, а без них не обходится ни одна вещь К. А., — это одиссея, по завершении которой автор с полным правом может сказать о себе: «Возвратился, пространством и временем полный».

Но есть и другая сторона творческого эгоцентризма. Исчерпанность всех художественных ресурсов в каждом случае сотворения музыки и явленная интенсивность жизни в ней таковы, что непонятно, как по окончании сочинения приступить к сотворению нового. То есть: чем ближе поэт-художник-композитор к постижению тайны жизни, тем ближе он к тайне смерти. Это очевидно. Неочевидно другое: проза К. А. при этом остаётся неизменно светлой и даже торжествуяще счастливой.

Сделаем паузу: счастливая ненасытность и деятельное безделье.

Вы открываете конверт с письмом, адресованным лично вам, оно, судя по обратному адресу, написано гением, вашим кумиром, оно о вас, о вашем редком и несравненном даровании. Вспомнили? Что-то подобное было, обязательно было, потому что вы родились когда-то на свет божий, в его краски, запахи и звуки. Вы родились в жизнь, она и есть тот гений, автор письма, с которым вы не расстанётесь, которое проборматываете вновь и вновь, на которое мысленно отвечаете, но не можете найти слов благодарности, равных счастливому потрясению, испытанному при первом прикосновении к нему — к драгоценному письму, которое, как оказалось, пишет вас.

Есть композиторы, создающие клавиры, а затем — последовательно — раскладывающие его на инструменты, и есть другие, моментально слышащие всю симфонию разом. Мне кажется, так слышит Каринэ Арутюнова, пытаюсь совершить прекрасное в своём героизме действие: вместить ежесекундный гениальный диктант жизни в каждую крупницу своего сочинения, — и потому читать её — большая и незабываемая радость.

\*\*\*

Приведённые в эссе цитаты из книг Каринэ Арутюновой:

«Пепел красной коровы». — Москва, «Азбука-Аттикус», 2011

«Скажи красный». — Санкт-Петербург, Астрель-СПб., 2012

«Падает снег, летит птица». — Киев, «Каяла», 2017

«Свет Боннара: Эскизы на полях». — Литературное бюро Натальи Рубановой (издано независимой платформой «Ридеро»), 2021

# СОДЕРЖАНИЕ

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ.....	5
БЛАЖЕННЫЕ.....	111
ЛИМПОПО.....	193
КАНУН ПОСЛЕДНЕЙ СУББОТЫ .....	233
ПАТАРАГ.....	299
ЗЕЛЁНЫЕ ЯБЛОКИ СЕЗАННА.....	333
ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН. СОТВОРЕНИЕ МИРА (О ПРОЗЕ КАРИНЭ АРУТЮНОВОЙ) .....	399



Літературно-художнє видання

Каринэ Аругтюнова

# Патараг

избранное

*(російською мовою)*

Автор знімку на форзаці Жанна Василевська  
Дизайн обкладинки Даніель Ріос Соліс  
Коректор Ольга Нечаєва  
Верстка Друкарський двір Олега Федорова  
Формат 60 x 84 1/16. Наклад 300 прим. Зам. № 24,18  
Гарнітура «Arial».  
Підписано до друку 31.08.2022 р.

Видавець Федоров О. М.,  
**«Друкарський двір Олега Федорова»**  
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,  
e-mail: [relaks-oleg@ukr.net](mailto:relaks-oleg@ukr.net)

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,  
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»  
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148  
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,  
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції  
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



*Так хорошо засыпать под шорох дождя. Слышен звук сдвигаемой каретки,  
суховатое покашливание, одинокий голос ребёнка, напуганного сном.  
И чей-то бубнёж за стеной — четверть алоэ, четверть каланхоэ,  
по капле в чайную ложку молока...*



ISBN 978-617-8082-05-5

